

Михаил
Буряев

**КАПИТАН
ДИКШТЕЙН**

Михаил Кураев

КАПИТАН ДИКШТЕЙН

ПОВЕСТИ



Михаил
Гураев

**КАПИТАН
ДИКШТЕЙН**



Москва
ПРОФИЗДАТ · 1990

ББК 84P7
К93

Кураев М. Н.
К93 Капитан Дикштейн: Повести. — М.: Профиздат,
1990. — 240 с.
90 к.

В повести, написанной более десяти лет назад, автор, по его признанию, заглянул в одну из «черных дыр» истории, достоверно и подробно, едва ли не впервые, описал Кронштадтский мятеж 1921 года, представлявший, по словам В. И. Ленина, опасность большую, «чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые». Герой повествования — безымянный матрос-кочегар, участник мятежа — волею обстоятельств вынужден жить под именем случайно расстрелянного старшины боезапаса Дикштейна, но, несмотря на все перипетии судьбы, чувства, соединившие его с подлинным хозяином фамилии, помогает прожить достойно его невероятную и даже фантастическую жизнь.

В книгу также вошли еще два произведения — «Маленькая семейная тайна» и «Ночной дозор», написанные автором в разное время.

К 4702010201—018—66—90
081(02)—90

ББК 84P7

ISBN 5-255-00144-9

© Кураев М. Н. 1990

КАПИТАН ДИКШТЕЙН

Фантастическое повествование

С «Севастополя» стреляют,
Недолет да перелет!..
А курсантики ныряют
Все под лед да все под лед.

Частушка. 1921

Зато какая глушь и какой закоулок!

*Н. В. ГОГОЛЬ.
«Мертвые души»*

Двадцать седьмого января 196... года в городе Гатчине, в доме на углу улиц Чкалова и Социалистической, на втором этаже, в квартире восемь, в угловой комнате, уже заполненной сероватой утренней дымкой, Игоря Ивановича Дикштейна покидал сон.

Он еще не проснулся, но предметы и фигуры, заполнявшие зыбкое марево сна, стали обретать вес, оседаю куда-то, где уже ничего нельзя было ни рассмотреть, ни приблизить... Утро вдвигалось в сон безусловной своей конкретностью.

Еще не открывая глаз, Игорь Иванович понял, что просыпается. И первая мысль была о том, как бы не начать о чем-нибудь думать, иначе все — проснешься... Сон притягивал Игоря Ивановича своим особым, легким мироустройством...

Сам Игорь Иванович навряд ли смог бы сколько-нибудь внятно объяснить эту притягательную силу сна, где жизнь была не менее причудливой, чем та, что досталась ему наяву, но все роковые сплетения людей и событий в отличие от житейских имели только счастливый конец — пробуждение. Он не смог бы объяснить это не по скрытности характера или косноязычию, а скорее от непривычки, свойственной, быть может, и нам с вами, не задаваться вопросом «за что?», когда тебе удача, когда тебе везет и счастье так и валит в руки. Бездна вопросов возникает как раз в ситуациях прямо противоположных.

Но Игорь Иванович в отличие от большинства и под ударами судьбы никогда не бросал неизвестно кому адресованный истертый вопрос: «За что?!» Он как раз знал, за что.

Надо лишь полагать, что в снах совершенно неосознанно Игоря Ивановича привлекала тайная власть над этим непредсказуемым миром, таившаяся в самом дальнем, в самом крохотном закутке недремлющего сознания; и власть эта превращала падения в полет, ужас от приснившейся казни разрешался при пробуждении счастливейшим чувством если не бессмертия, то уж воскрешения, даже любовь всегда была не мучительной, легкой, а стыд, боль, горе — все было подчинено милосердной воле недремлющего ангела-хранителя, сберегающего у последней черты.

Вот и сейчас он стоял у самого края обрыва и старался податься вперед, зная вот тем самым дальним закутком недремлющего сознания, что ничего страшного и непоправимого все равно не случится. Он хотел разглядеть, увидеть дно, но мешали тонкие и живые, поднимавшиеся из непроглядной глубины то ли голые веточки, то ли корешки. Ноги еще касались тверди, но кто-то тянул его вниз все сильней и сильней, он чувствовал, как висит над бездной. Страх все-таки сдавил дыхание. Вдруг в груди стало просторно и холодно, пропасть, открывшаяся под ним, прошла сквозь него, пронзила, екнуло сердце, но пустота обрела плотность, знакомый, как старая уловка, вдох сделал его невесомым, и он уже парил над пропастью и медленно падал, обмирая от ожидания.

Падая, пронзенный этим тягучим падением, он не думал о том, что у пропасти есть дно, а старался разглядеть большую птицу, которая падала рядом с ним, заваливаясь головой вниз, потом падала боком, поворачиваясь самым неожиданным образом, и от этого Игорь Иванович не мог разглядеть, рассмотреть, узнать, хотя ему все время казалось, что птицу эту он знает. И не возникало вопроса, почему птица не расправит крылья и почему эти крылья не держат ее, хотя нет-нет да и разворачиваются широким шуршащим пологом, но тут же подламываются, заставляя птицу так странно переворачиваться...

...Сосна была неподвижна, она стояла на краю обрыва, даже не обрыва, а просто на краю пруда, и пруд этот был знаком.

Игорь Иванович не заметил, как веко на правом глазу само собой чуть приоткрылось, и он сквозь дымку ресниц

стал вглядываться в картину, висевшую в ногах за кроватью. Как только Игорь Иванович догадался об этом, он тотчас зажмурился, и от этого слишком энергичного движения ушел сон.

Он затаился, чтобы ускользнуть туда, к птице, вернуть все как было, но бездна тихо оседала в его груди, и даже закрытые глаза не могли сдержать день, он входил в тело Игоря Ивановича со всех сторон.

Ну что ж, пусть будет как будет.

Ему не нужно было открывать глаза, чтобы увидеть и ощутить светлую утреннюю тишину в остывшей за ночь комнате, увидеть фанерованный двухэтажный буфет классической довоенной постройки, с зеркалом в среднем углублении наподобие прямоугольного грота, где стояли чашка из дворцового павловского сервиза с императорским вензелем и гипсовый раскрашенный матрос с гармошкой, шкаф, стол, шесть разномастных стульев, в том числе два крепких венских, плетенный из цветного лоскута половик, перегоревший двухдиапазонный приемник «Москвич» на почетном месте у окна, цвет в прямоугольной кадучке рядом с приемником, прикрывающий своими широкими полированными листьями Николу-морского в углу.

Все замерло и затихло, как парад за мгновение до сигнала «Слушайте все»...

На кухне тихо — значит, Настя чистит картошку или ушла за керосином.

Игорь Иванович, не открывая глаз, погрузился в созерцание буфета.

Это была вещь. Настоящая вещь. Досталась она от старшей дочери, от Валентины, собиравшейся этот буфет чуть ли не выкинуть, в то время как тридцать рублей, ну на худой конец двадцать пять за такую вещь можно было получить смело. Постоять подольше, на выдержку, и свободно можно было взять тридцатку. Много? Ну, хорошо. С моей доставкой! А хоть и в Колпаны! Возьму у Павла тележку и отвезу за милую душу. Да он же как пух! И на тачке — милое дело... Вот так! Хочешь — три красных и забирай. Кусается? Не по карману? Ах, нравится?! С зеркалом... то-то и оно...

Игорь Иванович уже спал и продавал буфет на морозном базаре.

Для тех, кто не знал Игоря Ивановича лично, для тех, кто и по сегодняшний день слыхом о нем не слыхивал, вот эти грезы о тридцати рублях за этакую дрянь с

двумя потерянными ножками, с темными разводами на фанерованных боках и дверках, оставшимися от давних попыток посредством марганцовки придать буфету вид изделия из красного дерева, не говоря уж о треснувшей задней стенке, впрочем, бог с ней, с задней стенкой, если ее все равно не видно, — так вот, эти алчные мечты могут рекомендовать Игоря Ивановича действительно как героя фантастического, но лишь в самом привычном и невыгодном для него смысле.

Как же далеки эти торопливые предположения от действительного, именно действительного Игоря Ивановича!

Чтобы не запутать читателя, уделившего нам с Игорем Ивановичем частицу своей, увы, тоже не бесконечной жизни, надо сказать, что Игорем Ивановичем в данную минуту является вот этот житель города Гатчины, распластавшийся в свободной позиции под красным ватным одеялом в белом пододеяльнике конвертом на полутораспальной металлической кровати, построенной в самом начале века на известной в Петербурге кроватиной фабрике, перешедшей впоследствии на выпуск аэропланов. Вот он, натуральный, известный едва ли не всей улице Чкалова, ничем не украшенный, если не считать украшением аккуратные бантики из тесемочек у щиколоток, более свидетельствующие о любви к порядку, нежели о былой склонности к щегольству.

Острая мысль о том, что зря все-таки Валентина такую вещь, считай, выкинула, вернула Игоря Ивановича в явь, глаз он по-прежнему не открыл и перехода из сна не заметил.

Мысль, вынесенная из сна, поглотила его целиком. Продать буфет, прийти к Валентине и так, не раздеваясь, бац — тридцать рублей на стол. На, бери и не кидайся такими вещами. Буфет им не нужен! А дрянь эта полированная нужна?! Да хоть и гатчинской фабрики, ну и что! Черта в ней, в полировке, если даже зеркала нет. А здесь — пожалуйста. Хочешь — брейся, хочешь — причешишься, воротник оправь, галстук... Смотреться, правда, не очень удобно, все-таки зеркало в углублении и даже в затемнении, ну и что?! Какому ослу придет в голову перед буфетом бриться?..

Кто не был мужчиной, тот не знает этого высшего блаженства от источника небрежной щедрости и нечаянного милосердия, поднимающих душу и разум до высот истинной свободы и божественной мудрости.

Да, можно и все тридцать отдать за то, чтобы во всей полноте почувствовать себя отцом, знающим жизнь, кое-что в ней понимающим и умеющим жить!..

На кухне лязгнул упавший в раковину нож, фыркнул кран.

Игорь Иванович напрягся. Неужели не полетится? В сильные морозы водопровод прихватывало, а здесь вроде и морозов-то не было еще... Шипенье сменилось утробным урчанием. Трубы зарокотали по всему дому. Трубы дрожали, словно хотели скинуть с себя тягостную оболочку прилепившегося к ним жилья. Напряжение нарастало. Трубы глухо содрогались, то ли подавившись чем-то, то ли споря с чуждой им волей. Игорь Иванович уже видел мысленным взором трехдюймовый подвальный вентиль с сочащимся сальником и знал, как поступить, если опять... Но кран, трижды чихнув, крикнул, плюнул раз, второй и зашипел обнадеживающе.

Как ни в чем не бывало ровной струей побежала вода.

Игорь Иванович открыл глаза легко и быстро.

И тут же увидел часы на стене рядом с картиной. Собственно, увидел даже не сами часы, а стрелки, показывавшие без тринадцати три. Ишь ты, усмехнулся Игорь Иванович лихой гримасе часов и от обозрения стрелок перешел к наблюдению за маятником. Шаг мерный, звук деловой, ничего лишнего, все как надо. Часы шли...

За временем по этим часам Игорь Иванович не смотрел, хотя и прилагал усилия для поддержания их затухающего хода.

Лет шесть назад часы стали останавливаться, и пустить их стоило немало труда. Шли часы в строго определенном положении, причем вовсе не вертикальном, а чуточку смещенном влево. И вот во время завода, хотя процедура эта и происходила раз в неделю, часы смещались в сторону от идеального положения ровно на такую чуточку, чтобы дальше не идти. И здесь требовалось величайшее терпение и уважение к Павлу Буре, и убеждение, что часы будут служить, и, может быть, еще не одному pokлению, чтобы, не жалея времени и сил, в течение суток, а то и двух и трех подталкивать остановившийся маятник, помогать часам найти то единственное удобное для механизма положение, в котором они еще могли продолжать свою работу.

Тогда же, лет пять тому назад, Игорь Иванович отнес часы в мастерскую. Мастер попался серьезный, внимательный и неторопливый. Закончив тщательный осмотр,

он даже отказался взять деньги. «Здесь нечего чинить, — сказал мастер. — Это были хорошие часы. Но всему свой век, свое они отслужили». Если бы он говорил как-нибудь иначе, излишне сочувственно или, напротив, покровительственно или небрежно, Игорь Иванович обязательно стал бы спорить или, на худой конец, поехал бы с часами в Ленинград.

Мастер говорил, положив руку на часы и глядя куда-то мимо Игоря Ивановича, словно говорил про самого себя.

Стар был мастер, немолод Игорь Иванович, состарились и часы.

Вернувшись из мастерской, Игорь Иванович повесил часы на старое место, главным образом чтобы прикрыть пятно на выгоревших обоях, но они пошли и шли великолепно месяца два или три, все это время веселя душу Игоря Ивановича своим бессмертием. Потом они стали останавливаться опять, но Игорь Иванович был неумолим, он не позволял им умирать, и они шли, шли, показывая какое-то свое особое время. И было не важно — правильно они идут или нет, важно было, чтобы они шли.

Впрочем, будем уж до конца откровенны: Игорь Иванович просто не мог уснуть, когда часы стояли, засыпал, конечно, но само погружение в эту остановившуюся, беззвучную темноту было тягостным и печальным. Несколько раз он просыпался, когда часы останавливались ночью, и тут же пытался пустить их снова. «Не сходи с ума», — говорила Настя и засыпала.

В Игоре Ивановиче как-то незаметно сложилась, нет, не мысль и не убеждение, а как бы предчувствие, что смерть — это остановившееся время, отсюда, может быть, и такая забота о часах.

Последние месяца два часы шли отменно. Пропало даже легкое дребезжание пружины, вселявшее в Игоря Ивановича известную тревогу. Маятник наполнял комнату мягким цокотом, будто за окном по каменной мостовой ступал конь, неторопливо, с достоинством следуя своей бесконечной дорогой. Клек-клек, клек-клек...

Перестав проверять время по этим часам, Игорь Иванович перевесил их так, чтобы не очень бросались в глаза и чтобы ночью к ним удобней было вставать, да и зачем на часы пялиться, если и без часов ясно, что сейчас половина десятого, никак не больше.

— Настя! Я встаю! — крикнул Игорь Иванович, повернулся на бок и стал подворачивать для тепла одеяло.

— Коля сегодня должен приехать! — прокричала из кухни Настя.

— А ты думаешь, я забыл! — крикнул Игорь Иванович, действительно забывший о приезде Николая, и откинул одеяло.

Секунду неподвижное длинное тело в кальсонах и нижней рубашке лежало на кровати, примираясь с холодом, и уже в следующую минуту махало руками, переминаясь в движениях, отдаленно напоминавших гимнастику. Среди всей этой сумятицы непродолжительных телодвижений четко обозначились лишь два взмаха руками — в стороны, вместе — и молодцеватое натягивание брюк.

Полагаю, что на каждом из знавших Игоря Ивановича Дикштейна лично лежит нравственная обязанность сохранить от забвения черты человека, которого фактически как бы не было, что, собственно, и составило бы привлекательный фантастический элемент всякого повествования о нем. И сказанное пусть не прозвучит упреком в поразительной слепоте тогдашним литературным и художественным авторитетам, не сохранившим ни одного прижизненного портрета Игоря Ивановича. И, разумеется, это не упрек в догматической приверженности к каноническому типу героя, благодаря которому и существует основная масса литературы и живописи. Игорь Иванович не собирается никого теснить и занимать чье-то место, заняв один-единственный раз в жизни чужое, скажем так, место, он уже никогда больше никого не теснил, ни на что не претендовал и, строго говоря, места вообще не занимал.

Собственно, почему же человек, которого еще, может оказаться, и не было вовсе, вдруг претендует на чье-то внимание? Или жизнь оскудела героями?! Или автор уже совсем...

Нет, не из последних Игорь Иванович! Не из последних!..

Судите сами: кроме одной-единственной тайны, о которой и сам он к концу жизни почти забыл, весь он был поразительно открыт во всей своей страстности, искренности и неподкупности.

Что из того, что страсти его охватывали, прямо скажем, небольшие пространства, искренность касалась предметов, как правило, мало задевающих чужие интересы, а подкупать его никто за всю жизнь не пытался, что из того? Разве искренность, страстность и неподкупность от этого упали в цене или нам станет проще найти чело-

века, в котором бы еще так же счастливо три этих качества были бы соединены вместе? Не покрывив душой, добавлю к этому честность, доброту, прямоту и обостренное чувство справедливости. Может быть, и этого мало, чтобы привлечь внимание к герою неканонического типа?

Но более всего подвигает к труду память о *тихих летописцах* — тех самых, что молчат, выжидая, а после, убежденные в беспечной забывчивости, начинают сочинять судьбу покойника, сообщают о нем сомнительные слухи и сведения или, хуже того, вычеркивают его из истории вовсе.

— Я, Настя, думаю, надо сегодня кроля забить, того, который с ухом, — с поразительной легкостью, за которой едва угадывалось значительное напряжение души, проговорил Игорь Иванович, непринужденно оглядывая кухню. Как известно, кролей у него было шесть, а не десять.

Пока Настя собирается с ответом, можно заметить, что Игорь Иванович очень неплохо знал весь кроличий обиход, и только отсутствие помещения не позволяло ему поставить дело на широкую ногу; звери у него почти не болели, хорошо сохранялся приплод, и снять и выделывать шкурку он тоже умел лучше многих, только лишь один момент кролиководства, обозначенный словечком «забить», был для него непреодолим. Помнится, когда еще в самый первый раз Настя сказала как-то: «Ты забил бы того, серого, старый уже...» — Игорь Иванович на мгновение замер и, строго глядя Насте в глаза, четко ответил: «Мне это не свойственно». «Того серого» и всех последующих — и серых и белых — забивал сосед Ефимов или кто случится.

Настя внимательно посмотрела на Игоря Ивановича, стоявшего руки в брюки, и отнесла его внезапное предложение на счет шероховатости характера. Если бы все глаза смотрели так, как глаза Анастасии Петровны, то человеческой доброты и правды в нашей жизни было бы гораздо больше!..

Все помнят, как в сорок втором в Череповце на ее двенадцатиметровую жилплощадь, где уже и без того ютились пятеро, обрушилась чудом вывезенная из Ленинграда двоюродная сестра с двумя дышавшими на ладан детьми. Гости почти на два года заняли не только целую кровать, но и три места за столом. И тогда молодые, жаждущие жить, вечно голодные Валентина и Евгения восстали. И тогда прозвучали исторические слова,

сказанные Анастасией Петровной просто и непреклонно: «Если кому-то в моем доме плохо — я никого не держу».

Плохо было ее детям, и не держала она своих детей.

— А может, он и обедать у нас не будет.

— Как не будет? — встрепенулся Игорь Иванович. — В суд ему к часу. Ну сколько его там продержат? Как раз к обеду и придет. Я тебе просто удивляюсь...

Настя привыкла к тому, что житейскую свою правоту Игорь Иванович в зависимости от настроения утверждал или удивлением, или обидой.

— Я суп грибной сделаю. Он любит. Тушенки баночку откроем на второе. Худой он, пусть еще погуляет, — без перехода добавила Настя, имея в виду уже того, с ухом.

На тушенку Игорь Иванович никак не рассчитывал, поэтому решил ответить такой же щедростью:

— У нас есть сдать бутылки? Я бы пивка ввял к обеду, к тушенке особенно. Это будет красиво.

— Сам же знаешь, что нет, — спокойно сказала Настя, наливая воду в кастрюльку. — От олифы отмоешь — сдавай.

— Говорю же, что их не примут, — продолжил давний спор Игорь Иванович.

— Не пори ерунду, нормальные поллитровки, как от портвейна, почему это не примут?.. Этикетки сдери, и все.

— А керосин есть?

— Я сходила.

— Меня почему не разбудила?

— Ты так хорошо спал. А я как в семь проснулась, так и не смогла уснуть... Что-то цвет лица у тебя нехороший.

— Надо эти сидения до ночи кончать, — фырча над раковиной, говорил Игорь Иванович. — Давай за правило: десять часов — отбой. А то все утро пропадает, самое золотое время.

Настя, уже привыкшая к этим порывам наведения порядка в жизни, только вздохнула; вытираясь жестким вафельным полотенцем, Игорь Иванович вдоха не услышал.

Пять запыленных бутылок заняли место под раковиной.

Раковина была из тех допотопных, что вселились в неказистые петербургские кухни, но не с первым водопроводом, а как бы со вторым, в ту самую пору, когда увлечение лилиями, осокой, водорослями, болотной и мор-

ской растительностью и тощими обнаженными женщинами с распущенными волосами стало среди художников повальным и повсеместным. Как именовалась лохань под водопроводным краном до появления этих чугунных чаш волнистого литья, расширяющихся кверху и сужающихся вниз, сказать трудно. Скорее всего именно эти раковины и дали родовое имя всем последующим приспособлениям аналогичного назначения. Раковина эта напоминала большую воронку, была не очень удобна, но заметить ее не представлялось возможным, так как расположена она была близко ко входу, а поставить на ее место нынешнее прямоугольное эмалированное корытце (Настя мечтала) значит и без того стеснить узкий вход на треугольную кухню, неведомо как образовавшуюся в процессе множества генеральных реконструкций этого довольно-таки несуразного дома.

Понятно, что читателю в высшей степени неинтересно наблюдать за Игорем Ивановичем, размышляющим над тем, как извлечь остатки подсохшей олифы из непрозрачных и липких бутылок. Читатель, напротив, ждет незамедлительных объяснений того, как Настя, старшая дочь своего отца, проживавшая, как известно, вместе с сестрами и родителями в прекрасной квартире на Старопетергофском близ Обводного канала, в двух шагах от «Треугольника» и в трех шагах от знаменитых Нарвских ворот, оказалась в несуразной гатчинской квартирке, состоявшей из трех небольших кособедренных прямоугольничков. Собственно, прямоугольничков было два: прихожая с туалетом и кухня, а вот жилая комната скорее всего напоминала слегка перекошенную трапецию.

Лучше всех об этом переселении мог бы рассказать начальник тринадцатого отделения милиции бывшей Коломенской части Гришка Бушуев, только погиб он чуть ли не в первые дни войны, что дало повод острой на язык младшей дочери Евгении при посещении своей бывшей квартиры детства после войны так прямо и сказать Люське Бушуевой: «Это бог его наказал!» «Женечка, я-то здесь совсем не знаю. Уж не держи зла на покойника», — только и нашла что сказать Люська Бушуева, вдова при троих детях.

Гришка, став начальником тринадцатого отделения, продолжал жить где-то в скверных условиях возле Московского вокзала, на Лиговке, точнее даже — на Курской

улице. Квартиру же на Старопетергофском он запомнил с тех пор, когда еще был опером и ходил на реквизиции, ну а в тридцать пятом, утвердившись в новых правах и полномочиях, открывавших очень большие возможности, он остался верен мечте и с легкостью покончил с эксплуататором, пнездившимся у самого порога Нарвской заставы.

Вместе с Гришкой поселился изумительный кобель породы ирландский сеттер, Гришка называл его, явно с кем-то полемизируя, Нероном. Пес был восхитительно красив и безусловно чистопороден, даже казалось, что он и сам знает и о достоинствах своей масти, и о надежности родословной, и поэтому когда Гришка выводил его во двор выгуливать и, явно работая на жильцов, командовал: «Нерон, пиль назад!» — Нерон только улыбался беспечным и веселым своим лицом и пиль назад не делал. Рассчитанные на сильный психологический эффект с определенным политическим акцентом выгуливания кобеля иногда дискредитировались недалекой все-таки Люськой, свешивавшейся из окна просторной кухни на третьем этаже и на весь двор объявлявшей: «Гриш, а Гриш... Иди картошку со льняным маслом кушать!..»

Гришка свирепел и бранил матерно и жену и Нерона.

По всей вероятности, эстетическое чувство указывало Гришке на определенную дисгармонию: укротителя Нерона нельзя было соблазнять картошкой со льняным маслом. Сколько раз он ясно говорил Люське: «Придержи свою серость! Посмотри, кто над тобой смеется? Над тобой классовый враг смеется!»

Капиталисты и помещики, выметенные из Петрограда — Ленинграда, немало удивились бы, увидев в своих рядах на свалке истории Петра Павловича с женой, двумя взрослыми дочками, зятем Игорем Ивановичем и тремя внуками.

Понятие «ежовщина», надо думать, достаточно освещенное и исчерпывающе описанное в соответствующей литературе, проливает свет на множество сюжетов, лежащих на обочине исторического пути, и если требует какого-то дополнительного исследования, так только «бушувещина», то есть «ежовщина» в рамках одного отделения милиции.

Итак, Настин отец, уважаемый в Коломенской части Петр Павлович, ходил до тридцать пятого года в котелке, носил усы с изумительными стрелками, любил узкие пальто и числил себя фабрикантом, поскольку заведение свое то ли из какой-то непонятной гордости, то ли в угоду своей демократической клиентуре именовал неблагозвучным именем «вошечесная фабрика». Парикмахерская у Обводного канала держалась на хорошем счету и была оставлена за Петром Павловичем как бы в поднаем от отдела Сангигиены, где он даже два года работал сразу после образования Советской власти.

Пострадал Петр Павлович из-за наемной силы. А наемной силой был, как известно, Петька Кудрявкин, племянник няньки Татьяны Яковлевны, тоже Кудрявкиной, взятый «в мальчики» даже не из самого Залучья, откуда родом была Татьяна Яковлевна, а вовсе из мало кому известной деревни Лещин. Взят был давно.

Так что когда в 1934 году в парикмахерской у Обводного канала, накинув белоснежный пеньюар на плечи клиента, Петр Павлович кричал по привычке: «Мальчик, воды!..» — воду выносил уже не Петька. В ту пору «в мальчиках» была бабка... Факт для избранного нами жанра вполне естественный, и, более того, если бы такого факта нигде в истории не оказалось, то его следовало бы выдумать именно в интересах жанра, для большей увлекательности и фантастичности.

Итак, под видом «мальчика» на историческую арену выходит жена Петра Павловича, женщина немолодая, к тому времени уже бабушка, и выход ее был бы вполне удачен, если бы она, к неудовольствию Петра Павловича, державшего марку, не приговаривала постоянно, конфузя мастера: «Иду, Петенька, несу, несу...»

Петька Кудрявкин, работавший к этому времени уже мастером, «мальчика» звать стеснялся и на легкой ноге, сказав клиенту что-нибудь забавное, летел в задние комнаты, где бабушка Оля, вечная труженица, держала на своих сухих, но еще крепких плечах все тыловое обеспечение парикмахерской.

Вот па Петьке-то Кудрявкине и скovyрнул Бушуев Петра Павловича.

...И как было объяснить чрезвычайной тройке в считанные минуты тот факт, что Петька Кудрявкин был Петру Павловичу как бы компенсацией за не посланного богом сына, что Петька был у Петра Павловича баловнем и щеголем, что Петьке многое позволялось, прощалось и

не помнилось, что Петр Павлович, выпустивший из своих рук за долгую жизнь немало классных мастеров, Петькой гордился...

Нет, не было в ту горячую пору у чрезвычайной тройки ни сил, ни времени выслушивать все эти мелкобуржуазные сказочки о классовом мире между кучкой эксплуататоров и эксплуатируемой массой. Карающая десница Бушуева освободила и Петьку, и парикмахерскую у Обводного канала, и квартиру над парикмахерской от враждебного элемента.

Так вот как Настя и Игорь Иванович оказались в Гатчине?!

О нет, столь поспешное предположение может возникнуть лишь на прямолинейных путях исторического сознания — раз или просто при отсутствии фантазии — два.

Не будем подгонять историю, она уже произошла, и ей никогда не стать иной, сколько бы ее ни переписывали. Не будем спешить хотя бы из уважения к тем, у кого не было и не будет иной жизни, кроме той, что досталась...

Впрочем, если спешите — загляните в конец, и простимся.

Но и неспешные истории иногда приобретают изумительный темп.

В двадцать четыре часа, то есть даже несколько поспешно, то есть не успев толком собраться, даже бросив швейную машину «зингер», на которой умевшая все Ольга Алексеевна обшивала семью, успев лишь наскоро и за бесценок продать то, что люди пожелали купить, после множества ссор и взаимных обвинений лишенный голоса Петр Павлович вместе с семейством кое-как погрузился и выехал по месту назначения, в город Череповец. И только лишь после войны поредевшая семья без Петра Павловича и Ольги Алексеевны перебралась в Гатчину вслед за старшей сестрой Валентиной, работавшей всю войну под Череповцом в тыловой воинской части по ремонту военной техники. В конце войны часть эту как бы перебросили поближе к Ленинграду, и Валентина, профорг и ударница, первой зацепилась за Гатчину, потом уже перетащила всех.

А что ж Игорь Иванович?

Почему мы не видели его лица, не слышали его резкого голоса в этих бурных событиях, потрясавших семейство?

Игорь Иванович вел себя предельно разумно и осмот-

рительно, что с ним бывало не так уж часто, но здесь он думал вовсе не о себе, зная, что подожди Бушуев к Петру Павловичу не со стороны Петьки, а со стороны зятя, то есть Игоря Ивановича, то семейство могло бы отправиться значительно дальше Череповца.

Быть может, еще не раз на страницах этого фантастического повествования Игорь Иванович будет исчезать, теряться из виду в событиях и более значительных, но это вовсе не потому, что события эти его не касаются, напротив, он будет исчезать и теряться лишь для того, чтобы занять свое, отведенное ему во всемирной истории место.

Бутылки были вымыты неторопливо и тщательно. Вся процедура, как ни старался Игорь Иванович ее продлить, закончилась быстро, в каких-нибудь полчаса. Не только вера Насти в то, что бутылки будут приняты, передалась Игорю Ивановичу, хотя, надо сказать, поверил он в это глубоко и полно, но главным образом его захватило ни с чем не сравнимое ощущение того, что он, скребя, взбалтывая, промывая, нюхая, рассматривая стекло на свет, делает деньги, небольшие, но безусловные, и чувство это придавало даже возне с керосином и липкой жижей ощущение дела серьезного, стоящего. Работал Игорь Иванович много, он мог шить неплохую кроличью шапку, мог подшить валенки, построить сарай, был кровельщиком, в некотором роде носильщиком, вел кружок мандолины при Разнопромсоюзе, где выполнял и другие работы, обувь чинил, но неохотно, не отказывался и дрова попилить, а колол даже с удовольствием, но всякий раз неопределенность заработка грызла и без того нездоровое сердце и лишала труд полновесной радости. Может быть, именно поэтому он всегда с охотой шел на любую работу по твердой таксе, здесь был важен уже и не барыш, а душевное равновесие и покой от ясного понимания своего будущего. Поэтому и в возне с бутылками не думалось о конкретных двенадцати копейках, думалось о деньгах, думалось о пиве, которое не только с удовольствием можно выпить, но главным образом думалось о пиве, которое станет украшением обеда. Игорь Иванович чуть было не произнес в уме своем изрядную речь о пользе пива как такового и о пользе пива к обеду особенно, но вовремя остановился и направил свое воображение в другую сторону.

«А может, разливного взять? Больше получится...»

И тут же эта предательская мысль была сметена со всей беспощадностью человека, знающего цену малодушию. И дело было вовсе не в бидончике, который надо было найти и отмыть, просто вся идея хорошего обеда как бы подрывалась, извращалась, уродовалась. Лишить себя удовольствия легким жестом скovyрнуть с горлышка шляпку с зубчатыми краями, увидеть пенистую шапку в стакане, почувствовать жгвую остроту напитка легкого и кружащего голову, как весенний, пахнувший льдом и снегом воздух... И стол — одно дело с тремя, пусть даже двумя бутылками, и совсем иное — бидон...

Пожалуй, здесь можно было бы заподозрить Игоря Ивановича в невинном лукавстве. Может быть, нелепую и возмутительную идею о разливном пиве он специально притянул к своим размышлениям, чтобы, разбивая ее в пух и прах, в полноте всех подробностей утвердить единственно верную и, главное, безусловно красивую идею о бутылочном пиве и обеде.

Когда Игорь Иванович наскоро выпил чай с булкой и надел пальто, обнаружилась пропаша сетки, с которой он обычно ходил сдавать посуду, желтой сетки.

— Возьми вот этот мешочек. — Настя протянула хозяйственную торбочку, сшитую, как и многие предметы в доме — скатерть на тумбочке, портьеры над дверью в комнате, покрывало на сундучок, — из отслужившего свой век плюшевого занавеса, полученного Игорем Ивановичем в клубе Разнопромсоюза.

— Ну что ж я, как гошник... Посмотри, где желтая сеточка?

— Бог ее знает, давно не вижу, возьми вот эту.

— Здравствуй! Новое дело... С картофельной сеткой пойду бутылки сдавать?! Вечно порядка нет. Неужели так трудно: принес сетку, выложи из нее все и повесь. Вот специально прибит гвоздик. Неужели трудно?

Легко представить, как моралисты различных направлений обрушатся на Игоря Ивановича, вскрывая нравственную уязвимость его стремления отыскать именно желтую сеточку. Пусть, пусть ищет! Лишь ослепленное самолюбие может помешать увидеть в этом поиске поиск и утверждение порядка, этого высшего блага, высшего господина в мире, коему подчинялись раньше даже боги. И зная, что сеточка лежит в кармане керосиновой куртки, им же самим туда положенная, я не прерву его поиск, ибо философский, онтологический смысл его поступка куда выше житейского!

— Опрятная кухарка дороже повара, — смягчив острое высказывания улыбкой, сказал Игорь Иванович, заглядывая в сокровенные уголки кухни.

Настя спокойно двигалась от керогаза к раковине и от раковины к кухонному столу.

Игорь Иванович приналег:

— Опрятность — это не то чтобы навел порядок, и все. На майские или к пасхе у нас тоже порядок. Опрятность — это не наведение, а поддержание порядка, это когда всегда порядок, вот как...

Под этим афоризмом мог бы подписаться двумя руками и сам Игорь Иванович Дикштейн, не тот, о котором до сих пор шла речь, а тот, что впереди, с кем ненадолго предстоит еще познакомиться; Анастасия же Петровна все эти вариации на темы опрятности и порядка сто раз слышала и потому в сто первый раз пропустила мимо ушей.

— Я боюсь, не управиться мне будет на керогазе. Ты бы принес пару полешков, надо бы плиту растопить.

— Здрасьте!.. Человек уже собрался, а теперь раздевайся, ватник напяливай, в сарай тащись... Где же ты раньше была? Разве я против? А то на дня семь пятниц, новое дело, иди в сарай...

Игорю Ивановичу вовсе даже нетрудно было и переодеться и дров принести, и сознание того, что Настя сама будет носить по два полена, стыдом подползло аж под сердце, он даже видел, как раскачивается ее грузное тело, поднимаясь на второй этаж по этой дурацкой лестнице, по согласиться было еще трудней, даже невозможно. Сегодня дрова, вчера керосин, завтра другое, послезавтра еще что-нибудь... Должен быть наконец какой-то порядок. Игорь Иванович даже не признался себе в том, что отказывается от удовольствия переодевания.

Человек посторонний не понял бы глубокого смысла этих переодеваний, истолковав их как-нибудь поверхностно, да и сам Игорь Иванович ни разу не призадумался над удовольствием, испытанным при замене пальто ватником или керосиновой курткой. Не то чтобы ватник правился больше, чем пальто, но сама возможность переодевания при том, что ни одной новой вещи из верхнего гардероба за всю семейную жизнь для него ни приобретено, ни сшито не было, — сама эта возможность переодевания оказывалась как бы шагом в ту жизнь, где человека окружает множество необходимых предметов, придуманных и сделанных именно для его удобства. Энергия, заложен-

ная природой для отправления положительных эмоций в связи с приобретением обновок или шитьем новых вещей, находила у Игоря Ивановича выход в отыскании и осознании достоинств в каждом отдельном предмете его разнообразного платья.

Ватник, куртка и пальто, каждая вещь по-своему подчеркивала строгую соразмерность худой фигуры и как бы нацеливала ее к определенным свершениям и действиям. Все три предмета верхнего гардероба Игоря Ивановича отличались не только фасоном, материей, но главным образом мерой изношенности и потом уже разными сопутствующими подробностями. В ватнике, например, предмете наиболее добротном в сравнении с курткой и пальто, кроме небольшой дырочки, черт знает как образовавшейся рядом с левым наружным карманом, был еще и внутренний карман, аккуратно нашитый темно-синего сатина лоскут. Пользоваться этим карманом Игорю Ивановичу никогда не приходилось, но существование кармана Игорь Иванович, проходясь в ватнике, ощущал и знал, что карман может всегда пригодиться, вот тут-то он и будет как находка. И еще одна давняя история связывала Игоря Ивановича тонкой симпатией с этим ватником. Однажды он надел его, чтобы пойти во двор помочь Василию Дмитриевичу устроить голубятню по-настоящему; Настя увидела его узкое лицо с глубокими продольными морщинами на впалых щеках, высокий лоб, переходящий в обширную лысину, сосредоточенный взгляд, обращенный в себя, строгую складку узких губ. увидела все это и сказала: «Ты у меня прямо профессор кислых щей».

Он понял, что она шуткой старалась скрыть сильное впечатление, произведенное его видом, и почти всякий раз, надевая ватник, он надеялся услышать еще раз «профессора». И хотя Настя больше так не говорила, он бы голову дал на отсечение, что слышал это, слава богу, не один раз.

Куртка имела иные достоинства. Мало того что она была перешита из черной флотской шинели и напоминала о многом, она была еще и произведением мастерства и напряженной фантазии. Она же, куртка эта, была и ответом маловеерам, Насте и Валентине, твердившим, что из шинели, из этого старья, где и места живого, видите ли, не осталось, не может получиться что-то стоящее. Куртка имела теперь строгое предназначение: походы за керосином и осенние работы на огороде, поскольку ого-

род был рядом с шоссе и нужно было на людях выглядеть поприличней.

Пальто, перешитое в свою очередь много лет назад из демисезонного пальто Владимира Орефьевича, мужа Настинной сестры, поразило два года назад Игоря Ивановича своей изношенностью и невозможностью. После этого он с полгода не мог его надевать, тогда еще куртка, кстати сказать, не была пожалована в керосиновые. Но после того как опрокинутый керогаз дал окончательное название куртке и выйти было не в чем, Игорь Иванович надел пальто и опять удивился, потому что не производило оно уже того удручающего ощущения собственной невозможности, как когда-то. «И что за блажь, почему я его не носил», — долго еще удивлялся Игорь Иванович.

Так вот и сложилась счастливая ситуация, дававшая возможность переодеваний и полное чувство удовлетворения необходимым выбором ко всякому жизненному случаю.

Навряд ли удастся когда-нибудь достоверно объяснить, почему, надевая именно пальто, Игорь Иванович как бы надевал и особое выражение лица, которое и не назовешь иначе как готовностью к отражению оскорбления. Что-то в его лице появлялось почти гордое и даже с оттенком вызова, и наблюдательные люди могли заметить, что именно в этом пальто Игорь Иванович становился как-то особенно немногословен.

Но прежде чем последовать за Игорем Ивановичем на улицу Чкалова и тут же повернуть налево на Горького, наблюдая, как он приветствует знакомых, сдержанно и чуть торжественней, чем обычно, надо все-таки вернуться к его выходу из квартиры, иначе ни сам поход в приемный пункт сдачи стеклянной посуды, ни покупка пива уже не будут поняты в полной мере.

Пока Игорь Иванович искал желтую сетку, ему казалось, что стоит ее найти, и он покажет Насте, как по-настоящему можно без лишних слов, без лишней суеты сделать маленькое, но очень нужное по хозяйству дело. Да, да, сдать бутылки, сходить в магазин — это все очень просто и совсем нетрудно, если не устраивать из этого происшествие. И не надо лишних слов. Взял сетку на месте, там, где ей положено быть, надел пальто — и через двадцать — пятнадцать минут уже дома. И все. Так нет же...

В конце концов сетку Игорь Иванович обнаружил в

кармане керосиновой куртки. Еще минут за десять до того, как он запустил руку в этот карман, скомкал сетку в кулаке и быстро переложил в карман пальто, он уже подозревал, что она может оказаться именно там, хотя и отгонял эту мысль как только мог и искал сетку даже в посудном шкафу в комнате, ворча, что из-за такого пустяка приходится перерывать всю квартиру.

Когда пальто было надето, оказалось, что уйти независимо и деловито не удастся. Надо было спросить у Насти денег. Поэтому уже в пальто он стал чистить ботинки и был изгнан Настей на площадку перед входной дверью. Потом Игорь Иванович взял свою толстую зимнюю кепку, решил ее тоже почистить, но вышел на площадку уже сам.

Эта непонятливость Насти стороннему наблюдателю могла бы показаться даже коварством, даже изощренным коварством, но именно стороннему наблюдателю, а никак не Игорю Ивановичу. Он-то знал, что особенно по утрам Насте приходится вести самый тщательный расчет всех обстоятельств предстоящего дня, и, помешивая в кастрюльке или регулируя высоту пламени в керогазе, она почти не замечает этих своих движений, а напряженно и сосредоточенно просчитывает жизненные комбинации, выстраивая их во временной последовательности, обозначая степень важности каждого дела и меру усилий, необходимых для преодоления осложняющих обстоятельств. Эту умственную работу Игорь Иванович в насмешку называл политической экономикой, но в душе относился к ней с уважением, часто ворчал по поводу предлагаемых решений, но поскольку никогда ничего путного со своей стороны предложить не мог, то в конечном счете принимал Настину программу как на ближайшие часы, так и на последующие годы. Настя была старшей среди сестер, и Петр Павлович за рассудительность и спокойствие нраваласково называл ее «слонюшка». Игорь Иванович если и вспоминал это прозвище, то именно в эти минуты политической экономики, когда она не замечала неотрывно обращенного к ней взгляда, не чувствовала, как нравится Игорю Ивановичу в эту минуту смотреть на нее. Плотные сжатые гребнем седые со стальным отливом волосы лежали не прилизанной гладью, что никогда не нравилось Игорю Ивановичу, а хранили причудливое нескорство кудрей, и теперь все еще густой, даже пышный шлем волос напоминал Игорю Ивановичу вспаханное поле, припорошенное первым чистым снегом. Крупные черты

лица были неподвижны, как бы охраняя покой, необходимый для внутренней сосредоточенности нелегкой умственной работы. Игорь Иванович знал, что в этом состоянии Настя может даже отвечать на вопросы, спрашивать что-нибудь мелкое, житейское, не прерывая нити главных своих размышлений.

— Ты мне дашь что-нибудь? — спросил Игорь Иванович, рассматривая себя в большой косо́й осколок зеркала над раковиной.

Настя вытерла руки и взяла сумочку, пересчитала всю наличность и выдала пятьдесят семь копеек.

Игорь Иванович чмокнул Настю в щеку, заработал за это улыбку, легкий толчок в грудь и «пьяницу», после чего двинулся уже в третий раз за это утро к дверям.

— Что ж ты бутылки в карманы посовал? — спросила Настя.

— Да ничего, здесь недалеко, — легко сказал Игорь Иванович и аккуратно прикрыл дверь.

Площадка второго этажа перед входом в две квартиры была размером с сигнальный мостик какого-нибудь занюханного миноносца. Огороженная перилами, она позволяла обозревать обширнейшее пространство, видимо когда-то использовавшееся более разумно. Лестница вниз наподобие трапа лепилась тремя маршами по стенке и занимала совсем немного места, поскольку была довольно узкой, а над входной дверью с улицы на высоте второго этажа на голой стене были два комнатных окна. Видимо, когда-то к ним примыкала и комната, но как она держалась, не имея опоры под собой, понять было невозможно. Почему в доме с тесными комнатками, десятки раз перекроенными и собравшимися наконец, к великой радости жильцов, в отдельные квартирки с относительными удобствами, оставалось так много лишнего места? Неужто по замыслу человеколюбивого архитектора в этом доме в недалеком будущем предполагалось строительство даже не одного, а двух лифтов — пассажирского и грузового, поскольку места хватило бы на оба? Делать же лестницу чуть пошире не стали из соображений, Игорю Ивановичу неведомых. Когда человек первый раз входил с улицы и видел наверху площадку с входом в две квартиры, он даже не сразу замечал лестницу, ведущую к этой площадке, и испытывал секундное недоумение, поскольку перила лестницы, как и стены вокруг, были выкрашены яркой зеленой краской и для непривычного глаза сливались.

Затем взор гостя натыкался на два вертикальных бруса, устремленных вверх, где открывалась верхняя площадка, которая воспринималась как балкон, озадаченный путник начинал размышлять о назначении этого балкона и о путях в верхние квартиры, и здесь невольно приходило на ум, что в три колена идущая вдоль стены лестница — хоть и неширокий, но единственно реальный путь в верхнее жилье. Но на этом недоумения пытливого странника не заканчивались. Пространство, открывавшееся его взору, было настолько значительным, что невольно возникал вопрос, где же расположено жилье, ведь двухэтажный, обшитый досками дом, углом стоявший на пересечении улиц, не производил впечатления здания, располагающего столь обширным вестибюлем. И то, что в прихожей этой не было не только обычного житейского хлама, но и вообще ничего, лишь усиливало впечатление вежилья.

Выйдя на площадку, Игорь Иванович механическим движением отогнул острые лацканы пальто, клыками нависавшие над двумя рядами почти одинаковых больших черных пуговиц. Когда-то, по моде сороковых годов, острые треугольники лацканов гордо торчали вверх, как уши молодого зайца. По всей вероятности, был допущен какой-то портновско-инженерный просчет — буйные цветы моды быстро вянут, — и острые клыки лацканов сначала отпрянули от груди, потом стали медленно погибаться. Об эту пору пальто и перешло от Владимира Орефьевича к Игорю Ивановичу. В сущности, легкий жест, призванный придать лацканам вертикальное положение, был бесполезен, поскольку клыки через три минуты снова принимали свой боевой вид, но Игорь Иванович уже приучил себя после того, как туалет завершен, не обращать больше внимания на свою внешность, допуская некоторую небрежность, могущую образоваться впоследствии; мужчине вовсе не идет быть прилизанным и, что называется, быть застегнутым на все пуговицы.

Игорь Иванович сам не заметил, как непринужденность эта превратилась в правило, в привычку и даже частенько приводила к маленьким недоразумениям. Нет-нет да и приходилось Насте указывать Игорю Ивановичу на необходимость уделять внимание тем пуговицам, которые даже в самом свободном наряде надо соблюдать строго.

Когда Игорь Иванович уже выходил на крыльцо, дверь наверху открылась, и Настя крикнула вдогонку:

— Гоша, папирсочек возьми!..

Игорь Иванович не обернулся и не подтвердил услышанное, поскольку мог этого уже и не услышать.

На улице Игорь Иванович был сосредоточен и сдержан, деловит и немногословен, собран и целеустремлен, подчеркнута лаконичен в ответах на расспросы о собственном здоровье и здоровье Анастасии Петровны.

Забыв переложить бутылки в сетку на лестнице, он уже решил не возиться с этим делом, благо ходьбы тут пять минут.

Жена Ермолая Павловича, мимо которой не прошло ни одно историческое событие, жительница пятого номера с первого этажа, вывернулась перед Игорем Ивановичем, едва он ступил во двор. Увидев три бутылки в руках и две, торчащие из карманов, жена Ермолая Павловича, зная Игоря Ивановича как человека в высшей степени опрятного, готова была засыпать вопросами, но знала, а вернее, чувствовала она в Игоре Ивановиче еще и что-то такое, что не позволяло ей обращаться с Игорем Ивановичем так же, как со всеми. В связи с этим последним наблюдением и есть смысл несколько задержаться на жене Ермолая Павловича, не ставившей, кстати, ни в грош четвертого своего мужа.

Введение в фантастическое повествование жены Ермолая Павловича, представляющей как модель интерес лишь для монументальной скульптуры или в крайнем случае монументальной живописи, нуждается хоть в каком-нибудь оправдании.

Скажем прямо, умей жена Ермолая Павловича объяснить чувства, управляющие ее немногочисленными житейскими устремлениями, мы получили бы интереснейшее свидетельство той власти над людьми, коей Игорь Иванович обладал, сам об этом не догадываясь.

Жена Ермолая Павловича, женщина громоздкая и немудреная, как известно, глубоко презирала всех своих мужей, и Ермолай Павлович не был счастливым исключением. Слушая его рассуждения, не лишённые, как правило, здравого смысла и простоты их выражения, она неукоснительно хмыкала, поводила плечом, делала какой-то прощальный жест рукой и, отворотив свое довольно крупное лицо, произносила а parte: «Ври толще!..» Однако было замечено, что во время бесед Ермолая Павло-

веча с Игорем Ивановичем о предметах, вовсе не доступных ее ослепленному гордыней уму, она в беседы не встревала, на мужа не цыкала — напротив, как бы пропускала сказанное мужем якобы через свое сознание, согласно кивала. А ведь не было на свете силы, которая была бы способна пересилить жену Ермолая Павловича с ее возгласами, маханием рук, неожиданным для такого крупного человека протяжным повизгиванием, сужением глаз и сведением тощих губ в различные фигуры. Сокрушительную власть ее вздохов, стонов, хмыканья и умения разнообразно презирать людей испытали на себе даже немцы, стоявшие в ее доме на улице Володарского во время оккупации; они не только не позволяли себе лишнего, а, уходя, предупредили, что сейчас будут поджигать дом, и предложили приготовиться тушить; для очистки совести перед великой Германией они плеснули все-таки на угол керосином и ткнули для проформы факелом и, не оглядываясь, потрусили к домам напротив, там теперь стоит новый рынок, и сожгли, надо сказать, их мастерски, просто не замечая, как будущая жена Ермолая Павловича сбивает старым половиком не успевшее разгореться пламя. И вот загадка: лишь в присутствии Игоря Ивановича эта женщина, не знающая в мире преград, больше слушала, чем говорила, жестов и охов не позволяла, а чтобы не выглядеть при умном разговоре душой, умела вовремя вставить словечко, обращаясь исключительно к Игорю Ивановичу с доброй улыбкой: «И кто же ты есть и с чем тебя съест?..»

Эта глуповатая присказка, произносимая регулярно лишь по незнанию других подходящих, всякий раз производила на Игоря Ивановича резкое впечатление: он мгновенно напрягался, вскидывал голову, на впалых щеках отчетливо прорезались глубокие вертикальные линии, отчего в лице проступала затаенная сила, он ждал продолжения, но жена Ермолая Павловича, удовлетворенная вызванным эффектом, лишь улыбалась и игриво грозила мизинчиком. Ермолай Павлович всякий раз осуждающе качал головой и старался тут же свести разговор к кроликам, резать которых за годы дружбы с Игорем Ивановичем стал великим мастером. Фамилия Ермолая Павловича была Ефимов.

— Ермолая я за капустой поставила, — вместо «здрасте» сказала жена Ермолая Павловича, — вам не нужно?

— Благодарю. Николай приезжает. Не могу! — В голосе Игоря Ивановича была даже нотка сочувствия, будто у него помощи попросили, а не предложили услугу.

— Так, может, па вас взять? — крикнула уже почти вдогонку монументальная соседка.

— У Насти спроси! Спешу! — вполборота выкрикнул Игорь Иванович.

Итак, ходьбы было действительно минут пять — десять. Это небольшое время надо использовать двояко: дать читателю минимум сведений, предваряющих фантастическую судьбу Игоря Ивановича, и, разумеется, обозреть сквозь призму истории город Гатчину, куда помещен герой в настоящее время.

Место рождения Игоря Ивановича был Загорск, называвшийся с середины XIV примерно века до нынешнего девятнадцатого года Сергиевым Посадом, по имени своего основателя, с девятнадцатого — городом Сергиевом, а с тридцатого года названный по имени Загорского Владимира Михайловича, известного революционера, чья жизнь оборвалась на посту секретаря Московского комитета партии от рук контрреволюции в девятнадцатом бурном году. Игорь Иванович, узнав о переименовании Сергиева в Загорск, к известию отнесся положительно, как, впрочем, и к переименованию в двадцать девятом году Троцка в Красногвардейск, хотя и не предполагал, что в Красногвардейске, правда еще раз переименованном и обретшем свое изначальное имя, ему предстоит прожить свои окончательные годы и дни. Для полноты изложения надо заметить — будь Игорю Ивановичу известно, что на самом деле фамилия В. М. Загорского была Лубоцкий, то и это обстоятельство было бы воспринято им с удовлетворением.

Детство Игоря Ивановича в семье железнодорожного служащего, совершившего трудный путь от стрелочника на станции Новый Вилейск Либаво-Роменской железной дороги до багажного кассира станции Сергиевск Московско-Ярославской железной дороги, изобиловало событиями чрезвычайно ординарными. От матери, женщины доброй и неграмотной, Игорь Иванович унаследовал музыкальный слух и не без помощи смычка псаломщика, ко-

торым бывал бит за огрехи своей альтовой партии в церковном хоре, достиг тонкого понимания различных музыкальных моментов, что позволило без труда овладеть игрой на мандолине.

Отец Игоря Ивановича тоже не был лишен слуха и, почитая себя уже более москвичом, нежели жителем Сергиева, на большие праздники в отличие от москвичей, искавших благодати в Сергиеве, считал для себя непреложным отстоять службу в одном из именитых московских соборов. Однажды в чистый четверг на страстной неделе, протиснувшись под высокие своды храма Христа Спасителя на Волхонке, исправно постившийся багажный кассир воочию слышал знаменитое трио — Шаляпина, Собинова и Нежданову разом. И то сказать, слушать «Разбойника благоразумного...» съезжалась и сходилась вся Москва. Сподобившись высокого причастия, он в минуты сердечного умиления, не глядя на календарь, затягивал: «Ра-азбо-ойника-а благоразу-у-умного...» «...Во едином часе...» — тут же вступала любившая петь матушка, взором призывая сына. «Ре-е-ек госпо-о-одь...» — пристраивался отроческий альт, и вся семья едино печаловалась сердцем о чужой боли, забывая о своей, и иа недолгие мгновения совсем близко переносилась из собственного дома, размером едва превосходившего иную русскую баньку, к подножию трех крестов, где вершилась жестокая и отчасти несправедливая казнь.

Близкое наблюдение суетности церковного быта лишило Игоря Ивановича поэтического ощущения древних преданий, а великое множество калек и убогих, заполнявших Сергиев чуть не целый год в бесплодной надежде на чудо, лишило Игоря Ивановича и прагматической религиозности; единственным, что связывало его с миром неизвестным и прекрасным, как мечта и надежда, была музыка. Воспоминания о семье, поющей про раскаявшегося разбойника, казались ему много лет спустя теплым лучом, светившим из ускользящей, в общем-то, холодной дали.

Хранитель консервативных начал, батюшка Игоря Ивановича видел в науках и образованности главным образом средство улизнуть от тяжелой и грязной работы. Примеров, подтверждающих верность его точки зрения, жизнь предлагала немало и на заре нашего века, но еще больше в его конце вследствие расцвета научных учреждений, всеобщей грамотности и выхода на историческую арену множества удивительных лиц, сомнительно образованных, тем не менее владеющих главным и несметным

богатством — судьбами великого числа людей. Правда, отец Игоря Ивановича не заносился высоко, примеров хватало и в непосредственной близости, и первым и самым сильным примером был младший брат Василь, достигший всего, о чем мечтал, да к тому же еще получивший место начальника станции Кошары. В стране по преимуществу крестьянской, где прогресс в области облегчения тягчайшего крестьянского труда и производства продуктов питания отстает от семимильных шагов науки, позиция отца Игоря Ивановича, многими умниками признававшаяся глуповатой, к сожалению, должна быть признана заслуживающей внимания хотя бы как объяснение недолгого следования по путям просвещения самого Игоря Ивановича.

В детстве же был один поступок Игоря Ивановича, небольшое происшествие, оставшееся до конца неразгаданным и по сию пору. И хотя все участники этого события умерли прежде Игоря Ивановича, Игорь Иванович пет-нет да и рассказывал снова о происшествии, не исправляя и не прибавляя никаких деталей, как будто бы мог быть кем-то уличенным.

Сестре Вере было в ту пору месяца три-четыре. Мать вышла куда-то с девочкой на руках, а чтобы сын не скучал, дала ему серебряный полтинник. Мальчик играл монетой в передней маленькой комнатке, но больше даже смотрел в окно, чем играл. На полу стояла лохань с помоями для поросенка. Мальчик подбрасывал монету и ловил, пока злополучная игрушка не угодила в лохань. Игорь Иванович отчетливо помнил свой испуг. Пришла мать и спросила, где денежка.

— Не знаю, упала.

И так до прихода отца и после прихода все говорил: не знаю.

Отец, получавший жалованья двенадцать рублей десять копеек, потерю полтинника чувствовал очень остро.

Игорь Иванович видел, как родители обшарили весь пол, отодвинули от стен все, что можно было отодвинуть, и, конечно, ничего не нашли.

Лохань унесли поросенку.

Перед самым сном, когда мать подошла перекрестить его на ночь, он признался.

Пошли в хлев, но лохань уже стояла чистая на своем месте.

Этот эпизод детства Игорь Иванович рассказывал чаще других, только никому не приходило на ум вдуматься в причину этой особой привязанности. Можно было бы и заметить, что случай этот Игорь Иванович вспоминал не только тогда, когда речь заходила о разного рода пропажах и утратах, о том, как люди поступались деньгами ради иного, высокого смысла, но главным образом этот случай выплывал наружу, когда говорилось вдруг о том необъяснимом и загадочном, что окружает человека и даже пребывает в нем самом. По всей вероятности, Игорю Ивановичу приходилось нет-нет да и напомнить самому себе, что, зная, уж судьбой ему уготовано быть человеком, способным на необъяснимые поступки.

...Скрип начищенных ботинок на утоптанном снегу, сопровождавший Игоря Ивановича, придавал не только движению, но и самочувствию категорическую решительность. Была в этом скрипе ясность и четкость посвиста павловской флейты, подтягивавшей и направлявшей шагавших по дворцовому плац-параду. В скорой походке Игоря Ивановича была откровенность человека, ясно сознающего свои цели и возможности, человека, не умеющего представлять себе жизнь иной, нежели она рисуется перед ним в ежедневной своей конкретности. Читавшие Тацита и наблюдавшие походку Игоря Ивановича могут припомнить, что торопливость носит наружность страха, в то время как небольшая медленность имеет вид уверенности. Смею утверждать решительно, что не только страх, да-да, свивший некогда гнездо в душе Игоря Ивановича, как вот, не только страх испарился и улетел безвозвратно, даже гнезда не сохранилось, не сохранилось и места, где в иные времена это самое гнездо занимало довольно обширное пространство от сердца, как говорится, до пятки. Быстрота же передвижения, принимаемая за торопливость, должна быть объяснена только свойствами обуви, не рассчитанной на мороз.

Снег скрипел четко и однообразно под легкими ботинками Игоря Ивановича.

Это была настоящая мужская походка.

И скрип снега был настоящий, решительный, за человеком, умеющим вот так шагать, женщина пойдет очертя голову, забыв и бросив все на свете. Игорь Иванович имел в виду красивую женщину с грустными глазами, немо высказывавшими беззащитность и надежду. Ясно

как дважды два, что красивая женщина, утомленная предложениями всяческих чувств и любви, верит только в то, что найдет сама, и она ищет, ищет, ищет, взгляды-вая по сторонам глазами, полными надежды. Ей нужен человек независимый и решительный. А что лучше походки может сказать о мужчине? Ничто. Сверкнули из-под фиолетовой менингитки голубые глаза-«молнии», обращенные к Игорю Ивановичу, и нежным рокотом благодарности громыхнуло в груди; в своей сосредоточенности Игорь Иванович не заметил, как с ним поздоровалась всего лишь соседкина дочь, старшая дочь Марсельезы Никифоровны, с которой знакомиться не будем, а о самой же Марсельезе Никифоровне речь впереди. Итак, опаленный фиолетовой «молнией», Игорь Иванович тихо усмехнулся: где мои двадцать пять? — забывая, что именно в двадцать пять он был ввергнут в пучину бед, имевших для всей его последующей жизни самые фантастические последствия.

Игорь Иванович шел вдоль одноэтажных домиков на невысоком каменном цоколе. Окна выходили на тротуар и располагались на высоте груди среднего роста человека, и потому отчаявшиеся обитатели вывешивали на стенки самодельные объявления с просьбой у окон не останавливаться и в окна не заглядывать. Быть может, не все авторы этих слезных, а подчас и строгих афиш не подозревали, что *заглядывание в окна* имеет в Гатчине давнюю традицию, отличную от кишиневской традиции, преследовавшей исключительно цели волокитства.

Городок Гатчина расположен как бы на острове, выступающем в середине сырой болотистой низменности. Чуть приподнятая, возвышающаяся его часть занята императорским дворцом и прилегающими к нему кавалергардскими казармами, в то время как обширная северо-восточная часть, мерно переходящая в болото, отведена под устройства горожанам.

Свет и столичная аристократия, не сговариваясь, чуврались этого места, словно над ним висело какое-то недоброе знамение, потому, быть может, в отличие от Царского Села, Павловска и Петергофа имела Гатчина пасмурный лик заштатного уездного городка.

Все здания в Гатчине несходны между собой, в чем почтенные историографы скорее видят не столько богатство фантазии строителей и хозяев, сколько разнообразие

бедности. Куда больше сходства было внутри обиталищ горожан, где мебель, посуда и убранство, состоявшее из рукодельных ковриков, вышивок и домашних цветов, служили знаком житейского благополучия и гражданской положительности.

Государь Николай I, прижав от почившей в бозе матушки Гатчину в собственность, любил ежегодно проживать здесь осенью совершенно патриархально. Летние же его визиты напоминали скорее воинственные набеги, когда исполненный боевого азарта самодержец после успешных маневров под Красным Селом входил в Гатчину, предводительствуя покрытыми пылью и славой кирасирами, устраивал им смотр на плац-арене перед дворцом, располагал сопутствовавшее ему семейство на покой, а сам скакал под Колпино, близ кирхи разбивалась ему палатка, где в одиночестве он вкушал ужин и остывал от военных упражнений. И даже в отсутствие императора Большой стол, устраивавшийся после маневров, и Фамильный, а в особенности Кавалерский, остро чувствовали непреклонный нрав, решительность и волю нового хозяина дворца.

Осенью же, напротив, государь был исполнен миролюбия и благостыни; никого не стесняя, он даже любил, когда местные жители относились к нему с той доверчивостью и любовью, которая характеризует отношение детей к своему отцу.

Простота отношений доходила до того, что жителям не возбранялось смотреть в окна дворца, когда императорская фамилия сидела за обеденным или чайным столом или проводила время в разговорах и увеселениях во вкусе *европейской роскоши*.

В заботах о благоустройстве и внешнем благообразии города государь препроводил в Гатчину тетрадь с чертежами образцовых фасадов для применения к обывательским постройкам и предписание строить на цоколе не ниже полутора аршин. Надо думать, до этого предписания обывательские окна сидели еще ближе к земле. Задачная высота не только не мешала обитателям строений наблюдать улицы и прохожих, но в свою очередь и прохожим позволяла обозревать внутренность жилых помещений, утоляя таким образом чувство, названное ныне информационным голодом.

Хотя Гатчина и служила местопребыванием императора Николая I на весьма короткие промежутки времени, обстановка высочайших посещений была такова, что

город всегда должен был быть готов приять августейших гостей, и это обстоятельство сообщало ему и жизнь и энергию.

Впрочем, как свидетельствуют все те же хроники, время от времени проливавшиеся на город царственные заботы мало способствовали движению города на путях прогрессивного развития.

Ко времени описываемых событий городок уже давным-давно забыл о напряжении, сообщавшемся возможностью высочайших инспекций, отошли в дальнее и недалекое прошлое времена потрясений, пылились в архивах камер-фурьерские журналы и журналы со статьями «Керенский в Гатчине». Народный театр во Дворце культуры еще не открыли, а о спектаклях и дивертисментах французской труппы, о пьесах, сыгранных во дворце высокопоставленными особами и членами императорской фамилии с участием самих государей, мало кто помнил. Кстати, куранты на дворцовых башнях пропали во время войны, а дважды переименованный город, побыв недолгое время Троицком, потом чуть подольше Красногвардейском, вновь обрел свое изначальное имя и, пользуясь преимуществами тихой провинции, утешал себя жизнью «не хуже, чем у других».

Шоссейная дорога от Смоленских ворот на юге до Ингенбургских на севере разделяла Гатчину на две неравные части, и если пространство влево от дороги, ведущей в столицу, можно было бы по праву назвать историческим, где все значительные строения и события замечены и описаны историками, а события мелкие пунктуально внесены в камер-фурьерский журнал, то пространство вправо от дороги, занятое собственно городом, с таким же успехом и правотой следует считать обочиной истории, где господствует по преимуществу страдательное и созерцательное отношение к исторической действительности, никем не описанной.

Сама разрезающая город шоссе́нная дорога несет на себе знаки исторического движения: именованная изначально Киевской, дорога впоследствии стала Большим проспектом, вслед за тем проспектом императора Павла I, а на последнем историческом отрезке окончательно стала проспектом 25 Октября. Слева все было единственным и неповторимым: дворец, напоминавший снаружи военную крепость, строгим своим внешним обликом спорил с изысканной роскошью внутреннего убранства, обширнейший парк с его прудами, озерами, мостами и мос-

тиками, террасами, Сильвией, Зверинцем, собственным флотом и артиллерией не знал себе равных; круглая рига с зубчатой башенкой, Коннетабль, даже казармы, обыкновенные кирасирские казармы и те блистали именами водчих — Баженова, Бренна и Старова. В то же время строения, события и имена правой части города, обширной и унылой, заставляли вспомнить о том классическом русском городе, от которого три года скачи — ни до какой границы не доскачешь. Да и можно ли считать событием, достойным истории, преобразование Съезжей части с каланчой в Отдел внутренних дел и переименование Съезжинской улицы в Революционный переулок? Мало кому и что скажет сегодня имя архитектора Кузьмина, воздвигнувшего собор Петра и Павла на пересечении Малогатчинской и Бульварной, поскольку едва ли не самой памятной страницей в этой биографии был десятисуточный арест по именному государеву повелению за превышение сметы, предусмотренной на изготовление икон и стенных росписей для собора. Предмет гордости горожан — дом знаменитого художника, этнографа и карикатуриста Щербова, в причудливой архитектуре которого навряд ли кто-нибудь узнает руку архитектора Кричинского, прилагавшуюся в ту же пору к строительству Соборной мечети в Петербурге...

Можно еще наскрести коротенький список композиторов и писателей, бежавших в поисках тишины и уединения в это ближайшее к столице захолустье. Но какой из русских городков, простояв и продержавшись на этой зыбкой земле пару сотен лет, не обретет своего Кузьмина, не возгордится своим Щербовым, не помянет с почтением пять-шесть знаменитостей, отдохавших раз-другой под его пыльными липами по пути в бессмертие?..

И все-таки Гатчина несравненна! Где еще найдешь такое место, чтобы вот так рядом, вплотную, по разные стороны неширокого шоссе по-разному шли часы, по-разному показывали время! Слева размеренным царственным шагом ступали куранты истории, а справа сыпался и сыпался мелкий песок судеб в бесшумных часах вечности...

Да была ли история у Гатчины?! Своя история, а не история прихотей ее несчетных владельцев? Что хотел сказать затерявшийся в бездне времен тот первый человек — а ведь был же первый! — кто назвал озерцо почему-то Хотчино? По размышлению? Или бросил в шутку, замерзнув или разомлев от жары, умилась душой или во

гневе, стар он был или молод? Бог весть! Сгинул и оставил нам загадочное словцо словно упрек нашей гордости, нашему умению все понять и объяснить. Что думал и думал ли что-нибудь новгородский грамотей, хозяйственно внесший в писцовую книгу Вотской пятины в завершающем году XV века сельцо Хотчино над озерцом Хотчиным в числе прочих великокняжеских волостей, сел и деревень в погосте Дятлинском? Вроде сельцо и новгородское, а сестра императора Петра Первого получила от брата в подарок мызу Гатчину под видом бедного финского села. С той поры и пошла кочевать Гатчина со всеми душами мужского и женского пола примыкавших двадцати деревень со всеми угодьями, пашнями, перелогами, покосами, лесами, моховыми болотами и выгонами из рук в руки, от лица к лицу. И кто только не считал Гатчину единственно своей, были среди них и мужи именитые, Куракин, например, тайный советник, князь Борис Александрович; был счастливый остзейский пасынок, архиатр Блументрост, усыновленный отечеством, недолюбливавшим своих сыновей; ничейная эта страна шла то в награду гофмейстеру, то за долги вновь возвращалась в казну, чтобы стать подарком тридцатипятилетнему генерал-фельдцейхмейстеру и кавалеру Григорию Орлову, большому любителю охоты. И нередко, облачив себя в мундир гвардейского пехотного полка, императрица, влекомая чувством дружбы, изволила предпринять отсутствие из Царского Села в мызу Гатчину к «гатчинскому помещику» в малой свите. Утомленная дорогой государыня откушивала обед с гостеприимным хозяином и по окончании стола изволила несколько прогуливаться по озеру, забавляться в галерейке с кавалерами в карты, не забывая в обыкновенное время откусать вечером с пребывающими в свите персонами.

Предлагалась Гатчина в подарок и великому поборнику добра и справедливости Жан-Жаку Руссо. Трудно сказать, что отвратило французского просветителя от искушения стать гатчинским помещиком и владельцем рабов, но никак уж не описанные щедрой дарительницей здоровый воздух, удивительная вода и пригорки, окружающие озера и образующие уголки, приятные для прогулок и мечтательности. Решающим, надо думать, стало сообщение правдивой императрицы о том, что «местные жители не понимают ни по-английски, ни по-французски, еще менее по-гречески и латыни». Впрочем, с этой стороны за минувшие два века прогресса среди местного

населения почти не наблюдается. По упокоении в бозе императрицына любимца Григория Орлова забывчивая матушка тут же подарила замок и поместье, воздвигнутые убийцей Петра III, сыну убитого, злосчастному наследнику Павлу Петровичу. Практичный и всегда ожидавший худшего, наследник оценил прежде всего удаленность замка от глаз матушки, крепость его стен и возможность устроить наконец-то на этой неверной земле гнездо прочное и основательное, в немецком вкусе. Проворные служители муз по мере сил подвели исторический фундамент под прихоть очередного владельца, найдя возможность само слово «Гатчина» прочитать по-немецки и затвердить открытие в исполненных изящества стихах: «... в тако Гатчина со именем согласна, ея и внутренность и внешность есть прекрасна»¹. И Гатчина по воле императора, талантом грубоватого Бренны и перенемчивого Львова уподобилась маленькому германскому городу. Ратуша, госпиталь, народное училище, почтовая контора, церковь, военный сиротский дом, стеклянный и фарфоровый завод, суконная фабрика, шляпная мастерская, сукновальня и словно сошедший с картинок из немецких сказок Приоратский дворец с острым шпилем над восьмиугольной башней — все придавало пожалованному в ранг города селенью новое устройство и обличье; куда же делось обличье прежнее и печалился ли кто-нибудь о его утрате — неизвестно. Поразительное убранство дворца, способное ответить самому чуткому вкусу любителя истинного искусства, прекрасно устроенный и украшенный парк самым неожиданным образом сочетались с пренебрежением к повседневным удобствам жизни. Чего стоит хотя бы узкая и крутая винтовая лестница, соединявшая во дворце комнаты Павла с внутренними покоями Марии Федоровны. Историки до сих пор удивляются, «как могли по этой лестнице взбираться в парадных русских платьях императрица с дочерьми, великие княгини и свитские дамы в те дни, когда зачем-то «выход» происходил из нижнего этажа наверх и далее из Тропой в парадные покои».

Пора расцвета, благоустройства и военного могущества пришлось для Гатчины на тяжкие тринадцать лет «упражнения в терпении» ее порывистого владельца, обреченного долгие годы носить маску покорного и облагодетельствованного сына, непрестанно предававшегося тер-

¹ Попытка читать «Гатчина» производным от немецкого *hat schön* — иметь красоту.

завшим душу размышлениям о похищенной матерью короне и находившего опору своим надеждам и выход страстям в бесконечных военных упражнениях и забавах. Всесильный и всевластный хозяин престола, чей минутный каприз и любая прихоть могли стать судьбой множества людей, томился невозможностью жить своей жизнью, метался между тремя *своими* дворцами в Павловске, Гатчине и на Каменном острове в Петербурге, нигде не чувствуя себя самим собой, то есть благодетелем, миротворцем, просвещенным и справедливейшим отцом народов... Где уж там народов, если даже собственных детей всемилостивейшая государыня мать незамедлительно изымала от родителя под свою опеку и воспитание...

Сгинул и он, придушенный с молчаливого согласия сына на походной кровати рядом с ботфортами, будто и в последнем дворце, самом крепком, самом надежном и богатом, он лишь разбил бивак при неустанном своем движении неизвестно куда.

Так и остался в Гатчине замечательный замок прекрасной декорацией бессмысленного спектакля, сыгранного неведомо для кого и неведомо зачем.

Гатчина, Гатчина — чья ты боль? чье ты счастье?..

Словно крутые, отвесные берега реки Славянки, открывшие для всех спрессованную историю земли, ты лежишь предо всеми распахнутой и забытой на обочине книгой, «безуездный город» дворцового ведомства, где городничим сам император! Где как не здесь великая империя обнаруживает свое сокровенное существо, где как не здесь видны незримые из других мест нити, прямо соединившие самую верхнюю точку, расположенную, быть может, на вершине креста, венчающего корону, с неразличимой точкой где-нибудь на прохудившихся подметках распоследнего подданного империи? Где как не здесь разыгрывались, а быть может, и по сей день разыгрываются фантастические по своей невозможности истории, способные изумить людей, еще не разучившихся, не утративших способность изумляться до боли в сердце, несмотря на многолетнюю привычку к жизни, объясненной во всех ее проявлениях и подробностях?

Даже беглый исторический портрет Гатчины должен включить в себя ближние окрестности, и вовсе не для того, чтобы напомнить прежнее название Мариенбурга — Цильпия, что должно указывать на происхождение пустынных пространств вокруг города, некогда славившегося охотничьими угодьями и окруженного лесами, не для

того, чтобы озадачить современного человека необходимостью объяснять, почему местность на юго-западе именуется Ремиз, а для того, чтобы задуматься над двумя деревеньками, разместившимися по обе стороны Варшавской железной дороги, стального пути, устремленного в Европу. Кто едет в Гатчину или выезжает из нее, никак не минует ни Малую, ни тем более Большую Загвоздку, деревни, поминаемые в писцовых книгах неразрывно с Гатчиной аж с XV века. Кстати сказать, улица Чкалова, где в соответствии с исторической действительностью размещен наш герой, еще в сравнительно недавние времена именовалась Загвоздкинской.

Вот и висят две деревеньки со своими лукавыми названиями словно отечественные подковки на заморской блохе, печать тонкого таланта, которому показать свое искусство и насмешку куда важней, чем сохранить возможность для железной нимфазории прыгать по путям прогресса.

Итак, портрет Гатчины украшен двумя Загвоздками, готовыми уже вот-вот раствориться в размытых чертах расплывающегося предместья, что лишает возможности рассмотреть Загвоздки как таковые и попытаться найти ответ на историческую загадку, на давний вопрос — какого рода мудреную задачку или препятствие считали наши предки непременной частью гатчинского края?..

Во времени описываемых событий город переживал в своей истории, быть может, самый благоприятный этап многообразного и разностороннего развития сети пунктов приема посуды. Стоит напомнить, что в ту пору даже в головах наших отечественных жюльвернов не могло возникнуть словосочетание «салон по приему стеклотары». Напротив, запрет приема пустой там, где торговали ею наполненной, заставил приемщиков посуды искать приют в самых невероятных строениях, частях строений и без пяти минут руинах.

Исключенный из списков интуристовских маршрутов, город с величайшим трудом выкарабкивался из той отчаянной беды, из той бездны, в которую был низвергнут фашистским нашествием.

Кстати, одним из первых был восстановлен и открыт для посетителей «Павильон Венеры» на Острове Любви в гатчинском парке. Оккупанты, с риском для жизни притащившиеся в Гатчину в начале сороковых годов нынешнего столетия, не пощадили трудов своего бывшего соотечественника Меттенлейтера, ставшего в России акаде-

миком живописи «кабинетных картин во фламандском вкусе» и расписавшего 80-метровый плафон «Триумф Венеры» в одноименном павильоне. Земляки придворного живописца прицельно расстреляли из своих шумных парабеллумов шаловливых амуров на потолке, еще не пресыщенные удовольствиями холостой военно-полевой жизни, изрешетили Юнону, покровительницу брака, не утолив желания видеть Венеру во всей ее наготе, расстреляли нежных Ор, служанок богини, придерживающих ее покрывало, а демонстрируя мужество и бесстрашие, избили меткими пулями кролика, символизирующего, как известно, робость... Зеркала в проемах между огромными невесомыми окнами они украли, а вделанные в пол мраморные вазы-фонтаны украсть не сумели и поэтому просто разбили, по-видимому, прикладами винтовок... Все эти подробности стали достоянием истории лишь потому, что сам «Павильон Венеры», совершенно деревянный, да еще обшитый легкой трельяжной плетенкой, способный вспыхнуть разом от неаккуратно прижатого в углу окурка, уцелел в отличие от множества каменных дворцов, десятков павильонов и особняков, сотен памятников и обелисков, воздвигнутых из куда более крепкого материала.

Раны, хотя наскоро и в меру сил и средств и подлеченные, оставались ранами. Разрушенные здания, впрочем, как и дворец, были не столько восстановлены, сколько приспособлены для гражданских нужд, для нужд обитания людей и учреждений. Характернейшим элементом зданий, не представлявших художественной и исторической ценности, стали пристройки, надстройки и достройки — причудливый симбиоз каменно-деревянных строений, где к бывшей гостинице, построенной с претензией на итальянство, лепился бревенчатый сруб и где трудно было подчас отличить жилье от хозяйственной постройки и хозяйственную постройку от жилья.

Печальные памятники послевоенной, наскоро сколоченной жизни к середине шестидесятых годов стали ветшать, требовать новых решительных усилий для поддержания жизненного минимума, а потому, представляя угрозу для обитателей, расселялись, открывая для арендаторов пунктов приема стеклотары богатейший и разнообразнейший выбор. Помнится, какой-то пункт просуществовал два года даже в *гаденьком кинематографе*, описанном в свое время Куприным, а в наше время закрытом и подлежавшем немедленному сносу.

Дом, к которому направился Игорь Иванович, производил впечатление недостроенного. Его гладкие двухэтажные стены с безбровыми глазницами окон, казалось, еще ждут небольших последних штрихов, чтобы обрести свое лицо. Но иметь лицо дому не предусматривалось, по какой причине, судить трудно. Скорее всего потому, что оказался он сдвинут с улицы на задворки, на пустырь, в окружение приземистых, хорошей кирпичной кладки амбаров, двухэтажных дощатых сараев и сараев поменьше, построенных из самых неожиданных материалов: автомобильных дверок и кузовов, деталей грузовых вагонов, металлических листов и главным образом горбыля и толя.

Гладь стены с двумя рядами окон, будто вырезанных бритвой в сероватом картопе, нарушалась приступочкой из двух ступенек, шедших к третьему от правого угла окну, превращенному по временной надобности в дверь. Прямо с улицы человек попадал в комнату, а уже через нее мог пройти на кухню — между кухней и комнатой раньше было что-то вроде тамбура, но для удобства одну перегородку сняли совсем, а другую сдвинули почти к самому входу с улицы. Надорванные обои на стенах хранили следы истребленного жилья, напоминавшего о себе пятнами от картинок и фотографий на выгоревших обоях, картонкой оборванного календаря, замусоленной круглой печкой, ветхим амбирным креслом без одной ножки, зато с ковровой обивкой, правда, изодранной.

Решительная перепланировка образовала небольшую прихожую, способную вместить человек пять-шесть с посудой, и обширное пространство, заставленное деревянными ящиками.

Дом был расселен еще в позапрошлом году, но, как потом выяснилось, все-таки поспешно, поэтому уже осенью прошлого года было получено согласие на аренду части его помещений под временные нужды.

Игорь Иванович подошел к приступочке, где переминаясь на морозе человек десять, не больше. Прочитав листок, прикрепленный к дверям, он обратился к обществу кивком головы и невнятным звуком, напоминавшим «день добрый». Услышав в ответ что-то такое же невнятное, четко спросил:

— Давно?

— С Витькой ушла, — визгливо сказала какая-то дама.

Игорь Иванович быстро просчитал: подсобников звали Шурка и Костя, завмага звали Виктор Павлович, но

его никогда не называли бы Витькой, значит, ушла с сыном. Уйти могла или в поликлинику, или вызвали в школу. Анька — человек известный, ни там, ни там томить не станут, долго не задержат.

— Кто крайний? — Игорь Иванович занял свое место в очереди, терпеливо перетаптывавшейся на морозе и вжимавшейся в одежду для наилучшего сохранения тепла. — Давно она ушла? — поинтересовался Игорь Иванович, но вопрос растворился в морозном воздухе, в тишине, нарушаемой лишь поскрипыванием снега под переступавшими с ноги на ногу сдавальщиками.

— Такие молодые — и уже пьяные, — сказала бабенка с тремя бутылками, заметив на подходе двоих парней.

Один был в распахнутом ватном бушлате армейского образца, свалывшемся замусоленном шарфике, не прикрывавшем голую красную шею, и огромных валенках, в которые, казалось, можно было бы влезть даже в сапогах. Парень остановился, счастливой улыбкой приветствуя общество.

Второй направился прямо к объявлению на двери. Его красные от мороза пальцы цепко держали за толстое горлышко по паре бутылок в каждой руке, глянцево поблескивавших, как заледенелые головешки с зимнего пожара.

— Прокол? — все еще улыбаясь, то ли спросил, то ли констатировал тот, что в бушлате. Неожиданное препятствие рушило планы, по еще не испортило настроения.

Тот, что читал объявление, стал дергать дверь.

Парень был здоровущий, и дверь опасно задрожала, грозя целиком, вместе с дверной рамой вывалиться наружу. «А тогда, — мелькнуло у Игоря Ивановича, — Анька закроется самое малое на неделю».

— Вы, ребята, нечего здесь мешать. Или стойте, как положено, или нечего балаганить. Вот так вот! — не глядя на парней, а скорее ища поддержки у очереди, объявил Игорь Иванович.

— Батя, — сказал счастливый парень, убежденный в возможности найти общий язык с любым человеком на свете, так как любому на свете понятно их положение, — нам же на «фаустпатрон» не хватает! — И потряс тяжелыми бутылками.

— А мы что, на хлеб сдаем, что ли? — высунулся мужичок из поднятого воротника.

Все рассмеялись, парни тоже, только Игорь Иванович, приготовившийся к серьезному, смеяться не стал.

— Мамаша.— сказал счастливый,— вы будете стоять?

— А как же!..

— Сдайте наши... Вам же все равно!

— Что я вам, приемный пункт? — сказала женщина с тремя бутылками в сетке. — Все стоят, и вы стойте.

— Мы не можем, нас люди ждут, — поспешил на помощь другой.

— Вас пьяницы такие же ждут, а у меня дети дома оставлены, — сказала общительная тетка.

Счастливый помрачнел, обвел очередь взглядом, словно перебирал, с кем бы заговорить. Все смотрели куда-то мимо.

— Лю-юди... — выдавил парень злую усмешку, посмотрел на бутылки и, коротко размахнувшись, жажнул о стену сначала одну, потом вторую.

— А ну не хулиганить! — грозно сказал Игорь Иванович.

— Все в порядке, батя, держи, — сказал парень и поставил рядом с его ботинками четыре больших бутылки.— Алик, давай твои! — И поставил еще две. — Держи, папаша, сдашь, как положено, купишь, как положено... Нос не отморозь!

Парни размашисто зашагали прочь.

«В таких валенках, в бушлате ватном, — подумал Игорь Иванович, — и полдня простоять можно».

— Бери бутылки-то, бери... Ишь, раскидались, — сказала общительная женщина.

— Вот напьются, а потом нервы треплют и себе и людям, — сказала женщина с тремя бутылками.

— Посуду берешь? — снова высунулся из воротника мужичок.

В душе Игоря Ивановича клубились змеи.

«Шесть штук по семнадцать... Больше рубля... Я их на место поставил, к порядку призвал, а теперь подбирать... Взять надо, но так, чтобы не уронить себя... Надо сетку достать... Больше рубля, это еще три пива. Три да три — шесть бутылок пива, куда его столько, тут можно что-нибудь и посущественней...»

Если бы Игорь Иванович вот так еще минут десять—пятнадцать постоял около этих злосчастных бутылок, свыкся бы с ними, свыкся бы с мыслями о них, то скорее всего каким-нибудь естественным, неторопливым жестом и переставил бы эти законные трофеи в свою сетку, но тут опять вывернулся тот, из воротника.

— Берешь, нет? -- И взял одну бутылку в руки словно для того, чтобы разглядеть, не обито ли горлышко, нет ли чего внутри. — А чего, нормальная бутылка. — И положил к себе в торбочку, специально для этого извлеченную из кармана. — Мне так очень даже сойдется.

Потом взял вторую бутылку и тоже для приличия стал ее изучать.

Игорь Иванович пнул бутылку, стоявшую рядом, и та завертелась на утоптанном снегу.

— Наставят тут! — Игорь Иванович отступил в сторону.

— А мне в самый раз, — сказал мужичок и, уже не разглядывая каждую, собрал остальные и побежал за откинутой Игорем Ивановичем.

— Ишь, шустрый какой. — сказала женщина с тремя бутылками. — Тебе их дали, что ли?!

— Я товарища спросил, он не хочет, а мне в самый раз... Нормальные бутылки, — буркнул и утонул в поднятом воротнике.

Женщинам ничего не оставалось как обменяться осуждающими усмешками по поводу пронырливого мужичка.

На улице по-утреннему было холодно и пусто.

Игорь Иванович не только боялся холода, но и как бы даже опасался, что кто-нибудь эту боязнь заметит.

— Хорош морозец, — неожиданно и даже к общему удивлению произнес он, ни к кому не обращаясь, и замер, энергично перебирая пальцами ног в ботинках.

Знаменитый полярный исследователь, скорее всего Амундсен, утверждал, что холод, мороз — это единственное, к чему не может привыкнуть человек, и случись ему сейчас стоять рядом с Игорем Ивановичем и понимать по-русски, он непременно бы заинтересовался в высшей степени неожиданным для человека в кепке и легких ботиночках заявлением. В этой связи необходимо сделать еще одно отступление, чтобы окончательно ввести наконец повествование в его фантастическое русло.

Город Кронштадт, разместившийся на плоском и низменном острове Котлипе, следует признать местом благоприятным для разыгрывания фантастических историй наряду с Загорском и Гатчиной. И то сказать, что никто не удивляется, читая в официальных описаниях событий, происходивших на этом острове, загадочные с точки зрения повседневного сознания сведения.

С достоверностью известно, что в сентябрьском вооруженном восстании 1905 года участвовали 3 тысячи матросов и полторы тысячи солдат, а при подавлении стихийного революционного выступления было арестовано 4 тысячи матросов и 800 солдат.

Куда более загадочные и необъяснимые с точки зрения положительной науки следы оставил в официальных изданиях кровавый мятеж 1921 года. Военные историки будущих времен немало удивятся, узнав, что потери среди атаковавших первоклассную морскую крепость с открытых всем ветрам ледяных полей, где и укрыться-то можно только за трупом павшего прежде тебя товарища, потери очень скромные — 527 человек, в то время как защитников крепости в ходе штурма погибло вдвое больше: чувство удовлетворения вызывает и утверждение, что ранены среди атаковавших были лишь один человек из десяти. С точки зрения милосердия и человеколюбия эти сведения весьма утешительны, но тут же возникают совершенно не нужные вопросы. Значит, не потеряла бригада Тюленева за первый час боя ровно половину своего состава? А ведь бригада — это три полка минимум. Значит, и бригада Рейтера, первой ворвавшаяся на Петроградскую пристань Кронштадта, за двадцать минут боя не потеряла на треть? Значит, и у Итальянского пруда не полег 3-й батальон Невельского полка? И бригадная школа, брошенная на прикрытие отхода обескровленных и разбитых невельцев, не погибла целиком? И не докладывал комдив истекающей кровью Сводной дивизии, уцепившейся за восточный край острова, что нет больше человеческих сил держаться и возможен отход во избежание полного истребления? И зачем только питерцы помнят, как 8 марта 3 тысячи беззаветных красных курсантов были брошены юным командармом-7 на штурм тридцатитысячного гарнизона крепости. как по дороге к твердыне брали курсанты штыком и гранатой оледенелые неприступные форты, как вошли-таки, ворвались в город и в городе дрались да там и полегли, не помышляя о славе, не помышляя о том, как боящиеся простуды и служебных неприятностей историки из соображений высшего порядка их смерть и кровь сочтут не имевшими места.

Кронштадтский мятеж в отличие и от октябрьского кронштадтского восстания 1906 года еще терпеливо поджидает своего историка.

Странно отразились события февраля и марта 1921 года в противоречивых и удивительных сведениях о них. А началось все с того, что об этих событиях постарались забыть. Пятитомная история в фундаментальном бордовом переплете, украшенная портретами и картинами, любовно прикрытыми тюлевой плащаницей папиросной бумаги, снабженная даже нарукавной повязкой красногвардейца, история, дотошно освещающая всю гражданскую войну по самый ее край в 1922 году, не содержит на своих веленевых страницах ни рассказа, ни упоминания о мятеже, представлявшем, по мнению Владимира Ильича Ленина, для Советской власти опасность большую, «чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые». Даже воспоминания участников событий, частично дошедшие до нас, появлялись на свет то без начала, то без конца, а то и вовсе без середины. Мемуаристы, иногда и в глаза друг друга не видевшие, будто по сговору впадают в немоту и беспомыслие, едва дело коснется выдворенных за пределы истории подробностей. Отдельные исторические лица, возвышавшиеся на авансцене революции и гражданской войны, сыгравшие какую-то роль и в кронштадтских событиях, вдруг исчезали словно подо льдом вместе с сотнями безымянных красноармейцев и курсантов, атаковавших вьюжной ночью неприступную морскую крепость. Даже округленный подсчет жертв с той и с другой стороны, где цифры заканчиваются двумя и тремя полями, не только вызывает печаль от небрежения десятками, не говоря уж о едипицах, но и ставит в укор историкам и статистикам их поспешность в изложении совершенно правильных выводов, минуя частности и подробности...

...Где же еще прикажете искать фантастических героев и фантастические события, как не в черных дырах истории, поглотивших, надо полагать, не одного любопытствующего, нерасчетливо заглянувшего за край! Именно здесь, где жизнь спрессована в сверхплотное вещество, где замерзают в зареве пожаров города, где пламенют отчаянием недра засыпанных снегом линкоров, где в нерасторжимое вместе спеклись бинты и кровь, где висят надо льдом вздыбленные взрывом в небо непривычные к полету лошади и остаются последним видением в глазах ошалевшего от грохота и воя бойца, прикрытого от смерти материнской молитвой да белым халатом, выданным перед атакой; где как не здесь, среди задыхающихся пар-

возов и надменных броневигов, нюхающих весенний воздух тупыми рыльцами пулеметов, где как не здесь, откуда мы родом, собраться нам всем, кто помнит, кто видел, кто знает... бросить горсть земли и разойтись молча...

Если с восстанием 1906 года ясны хотя бы итоги: 1 417 человек осуждены, 36 казнены, — то с мятежом все значительно сложнее, с достоверностью же можно утверждать лишь одно: мятеж 18 марта был подавлен, а Игорь Иванович Дикштейн 21 марта казнен. Читатель ждет непременно разъяснения и уверений, что, дескать, смерть Игоря Ивановича носила случайный характер, совсем не обязательный, и была как бы не совсем смерть, и хотя малые основания для такого суждения, понятное дело, есть, но стоит вспомнить мятеж, яростный и кровавый, жестокость и беспощадность боевых действий с обеих сторон, чтобы не заблуждаться относительно смерти на войне. Уж скорее жизнь на войне можно назвать случайной, а никак не смерть.

Между октябрьскими событиями 1906 и февральскими 1921 нельзя не заметить мятеж мобилизованных матросов 14 октября 1918 года в Петрограде, по социальной и политической сути бывший предвестником Кронштадтского восстания 1921 года. С одной стороны, мобилизованные матросы еще не могли освободиться от деревенских переживаний и несли в себе недовольство кулацкой и середняцкой массы политикой пролетарской диктатуры, а с другой стороны, по меткому замечанию комиссара Балтфлота, из самой матросской массы еще «не были выдавлены все контрреволюционные угри». И лозунги уже были те же, что и через два с половиной года в Кронштадте. — «свободные Советы», «долгой комиссародержавие» и все такое, да и вдохновители те же — левые эсеры, максималисты, анархия. По весеннему опыту ликвидации таких настроений в минной дивизии флота было совершенно ясно, что в обработке мобилизованных матросов придется, вероятно, прибегнуть к революционным репрессиям.

Но обошлось без них. Постоянное несчастье левых эсеров — в неумении рассчитать шансы на победу и в желании побыстрее получить шумный эффект.

Мятеж бряцал оружием, но 14-го вышли на демонст-

рацию, оставив оружие в казармах, а вот без оркестра идти отказались. Как известно, Второй флотский экипаж — в двух шагах от Мариинского оперного театра, туда матросы и зашли за оркестром прямо во время представления «Севильского цирюльника»: спектакли тогда начинались рано. Извинившись и вежливо объяснив публике и дирижеру, для каких целей мобилизуется оркестр, попросили музыкантов выходить строиться с инструментами. Струнных и арфу попросили не беспокоиться, упор был сделан на духовые, а вот с ударными вышел конфуз. Главный большой барабан, краса и гордость всякого оркестра, оказался намертво принабит к оркестровому трюму. Попытались сначала снять по-хорошему, потом стали прикладывать силу, и все это под свист и улюлюканье несознательной публики, по преимуществу мелкой и средней буржуазии. Особенно обидно было слышать матросам выкрики с добавлением «большевики» и «комиссары», но объяснить публике, что как раз против большевиков и комиссаров и собираются они идти с барабаном, не было никакой возможности. В конце концов больше всех переживавший оркестровый ударник пообещал из среднего барабана извлечь звука не меньше, чем из большого. Пришлось пойти на этот компромисс, поскольку оторвать большой барабан от оперного театра без значительных обоюдных повреждений оказалось невозможно.

Уже около Николаевского моста вспугнутая случайным выстрелом демонстрация мятежников смешалась и двинулась обратно в казармы.

Историю эту Игорь Иванович услышал, когда команда линкора «Севастополь» принимала резолюцию, где требовала от комиссаров Балтфлота «строгого разбора с этими элементами» и просила не останавливаться «ни перед чем, хотя бы пришлось вырвать несколько десятков человек из среды мобилизованных».

В 1921-м в Кронштадте начиналось почти так же, только не так пошло да не так и кончилось.

Буза шла весь февраль; для утомленной бездельем и митингами матросни со скованных льдом кораблей не было другого дела как высчитывать полноту и недостачу выдаваемых пайков, наблюдать за нечеткой работой интендантских служб по части обеспечения вещевым довольствием да вести бесконечные разговоры о деревне, о земле, о свободе торговли, о затянувшейся мобилизации,

о заградотрядах, вылавливающих на транспорте любого, кто везет в город продукты на обмен.

С тусклыми лицами слонялись они по заплеванным, гризным кораблям, по неделям не убирая даже снег. На глазах угасало любопытство и к политике, и к литературе, несмотря на обилие лекторов, охотно ехавших на корабли за продуктовым гонораром. На лекции политической тематики ходили неохотно, поэтому их почти не было. В программу политотдела для чтения солдатам и матросам были включены такие темы, как «Происхождение человека», «Итальянская живопись», «Греческая скульптура», «Каменный век». Почему-то особым спросом у военморков пользовалась лекция о сугубо сухопутной стране — «Нравы и быт жителей Австрии». Но, как правило, если и сходились в кают-компаниях по тридцать—сорок человек послушать какого-нибудь лектора, то все опять сводилось к тем же бесконечным вопросам о земле, свободе торговли, опять же о заградотрядах.

Невыполнение приказаний на корабле стало почти обыденным, обнаруживалось и вялое отношение партийцев к своим обязанностям. Среди команды было брожение по поводу отпусков, которое выразилось в самостоятельном созыве ротных собраний, на которых команда отказывалась от пяти процентов отпусков, требовали больше. Матросы желали лично объясниться с командующим флотом и его заместителями и требовали созыва бригадного совещания.

Да, флот был уже не тот и «Севастополь» не тот, что одним дыхом принимал резолюцию против недовольных новобранцев и лихо бил по мятежной Красной Горке осенью 1919-го.

На смену революционным морякам, раскиданным по всем фронтам от Украины до Сибири, пришла сырая крестьянская масса, уставшая от «военного коммунизма», готовая вспыхнуть от любой искры. А тут еще иуда Троцкий, как свидетельствуют историки, «перебросил в Кронштадт много своих лиц из районов, охваченных кулацкими мятежами».

К 1921 году Кронштадт походил на плохо охраняемый и в беспорядке содержащийся пороховой погреб.

28 февраля на «Петропавловске» старший писарь Петриченко протащил резолюцию за «Советы без коммунистов». Пошли на второй линкор, благо оба стояли рядом кормой к стенке в гавани Усть-Рогатка. На «Севастополе» общее собрание к резолюции присоединилось.

Отправили в Петроград делегатов, чтобы ознакомиться с причиной волнений на фабриках и заводах, а заодно пощупать настроение на «Полтаве» и «Гангуте», стоявших охлажденными в городе на Балтийском заводе, но все еще числившихся в 1-й бригаде линейных кораблей.

Многие вообще считали, что вся буза пошла с линкоров, потому и прошли впоследствии частым гребнем по «Петропавловску» и «Севастополю». Но что касается «Гангута» и «Полтавы», пусть скажут спасибо двадцатипятилетнему беспартийному командиру коммунистических отрядов Петроморбазы Мише Кручинскому, поднявшемуся без ремней и оружия на борт вмерзшего в невский лед линкора. На корабле царило страшное возбуждение, подогретое в ту пору успехом кронштадтцев, с легкостью отбивших первый штурм. Что он там говорил злобно оравшей и размахивавшей оружием матросне «Гангута» и подошедшим делегатам с «Полтавы», никто уже не скажет, но после двухчасового митинга оба экипажа сочли за лучшее сдать оружие, снаряды, патроны и с кораблей уйти. На борт опустевших дредноутов поднялась охрана из курсантских частей Петрограда. Видно, немало народу молилось за здоровье Кручинского, если целым прошел он две войны, в 1942-м вступил в партию и дожил до глубокой старости.

Известие о «Гангуте» и «Полтаве» мгновенно облетело всех и сбilo дыхание у кронштадтских агитаторов, уверявших, что матросы на матросов не пойдут, и крепко надеявшихся на приставленные к вискам города двенадцатидюймовые орудия линкоров.

...Все в этой истории состояло как бы из двух половинок, причем совершенно противоположных, как и погода на переломе от зимы к весне — то мороз, то оттепель, то лужи, то пурга. Вот и бригада линкоров — пополам, власти в Кронштадте — две, войска и в петроградском гарнизоне и в крепости колеблются то туда, то сюда, даже партийная ячейка большевиков в Кронштадте и то развалилась на две — одна за мятежников, другая категорически против. А уж о «Севастополе» и говорить нечего, видно, и ему было на роду написано иметь две судьбы: два названия, две войны, два флота, два сердца — угольное и нефтяное... Лишь на склоне долгих отпущенных милостивой судьбой лет, когда при стрельбе главного калибра в низах с треском лопались стеклянные плафоны и электролампочки, осыпалась краска и изоляция, отваливались от переборок проржавевшие, дослужившие

свой век крепления рундуков, линкор, прежде чем быть исключенным из списков уже Черноморского флота и разобраным на металл, вновь обрел свое родовое имя, став из «Парижской коммуны» опять «Севастополем».

И все-таки судьбу одного человека проследить и описать куда трудней, чем историю государства, города или знаменитого корабля.

Несмотря на тьму, покрывающую происхождение Игоря Ивановича и ему подобных, кое-что установить удалось, хотя и с величайшим напряжением сил. Однако в почерпнутых сведениях, по большей части безусловно достоверных, могут оказаться одна-две неточности, просто не поддающиеся проверке. Чтобы свести возможность ошибки к минимуму, приходится прибегнуть к многократно проверенному способу написания обширных биографий древних и не очень древних героев, о ком вообще ничего не известно, ну почти ничего, скажем так. Берутся крупницы достоверных подробностей, сохраненных благодарной памятью человечества и милосердной случайностью, и погружаются в обилие сведений вокруг да около — об эпохе, погоде, модах, слухах, геологических и социологических процессах, — почерпнутых из прошедших проверку изданий, благодаря чему и домысленные подробности, одна-две, в биографии главного героя начинают выглядеть более-менее правдоподобно.

...Прочитав еще в Гельсингфорсе 28 октября 1917 года в газете «Известия Кронштадтского Совета рабочих и солдатских депутатов» выступление председателя Петровета Троцкого об учреждении новой власти, о новой победе низов над верхами, на редкость бескровной и на редкость удачной, приняв к сведению установление диктатуры, поставившей низы выше верхов, Игорь Иванович с отчетливостью увидел свое место в этой борьбе — посередине. Он решительно не нуждался в тех благах, которые несло низвержение Временного правительства. В земле он не нуждался, на фабрики и заводы не претендовал, свободы начиная с 1 марта 1917 года у него было более чем достаточно, даже можно было бы и поубавить, а что касается войны, так она для флота была не такой уж и обременительной, а идея немедленного мира казалась ему настолько нереальной, такой несбыточной, что принималась лишь как тактический лозунг большевиков.

Игорь Иванович Дикштейн был из недоучившихся «черных гардемарин», низкорослый кондуктор из сту-

дентов, попавший на флот во время войны, имел жиденскую и потому казавшуюся неопрятной бородку, очки в серебряной оправе и тихое заведование погребом второй башни главного калибра. Без труда усвоив все правила содержания, ухода и хранения боезапаса, кондуктор с немецкой аккуратностью, не раз поощрявшейся старшим артиллеристом «Севастополя» Гайцуком, смерть которого будет описана ниже, усердно «выхаживал» боезапас. После Брестского мира многие офицеры и мичманы старой армии с флота уволились, получив на руки отпускные билеты, в которых значилось: «...увольняется в отпуск до востребования и обращается в первобытное состояние». Игорь Иванович в первобытное состояние обращаться не спешил, в Петрограде был голод, и, по всем сведениям, так широко обсуждавшимся на бесконечных митингах и спорах в кондукторской кают-компании, наступивший 1921 год никакого облегчения не обещал. Сытный краснофлотский паек заслуживает того, чтобы быть названным по составным частям, поскольку и половины того не получали рабочие в Петрограде: полтора-два фунта хлеба, четверть фунта мяса, четверть фунта рыбы, четверть фунта крупы, 60—80 граммов сахара — и все это на один день. Правда, желание съесть хлеба или других продуктов возникало у многих встававших от стола и после флотского обеда. Хотя база снабжалась регулярно, без перебоев, по нормам зимнего времени, но продукты, поступающие на довольствие, были не всегда хорошего качества. Вместо круп часто шел в пищу мерзлый картофель, не хватало жиров, сахара...

Мать и младший брат умерли в 1919-м от голода в тесной квартирке на пятом этаже старого дома по Петропавловской улице в Петрограде, поэтому задача выжить стала единственной и главной для Игоря Ивановича. Он умел предвидеть, умел рассчитать, но все чаще и чаще и даже вовсе не неожиданный, а какой-то идущий своим путем строй событий все его вроде бы просчитанные конструкции рушил.

Сначала все шло в соответствии с расчетом.

В предвидении мобилизации Игорь Иванович пошел вольноопределяющимся, что давало совершенно очевидные льготы, право выбора рода войск и даже специальности. Одновременно с его уходом на флот облегчалось положение семьи, жившей на небольшую отцовскую пенсию. На корабле он выбрал самое безопасное место — снарядные погреба, и был прав, потому что даже в то

время, когда все службы на корабле разболтались, когда порядка не стало никакого, лишь миппо-артиллерийские содержатели пользовались непререкаемым авторитетом. Наряды назначались на демократической основе, вахты несли из рук вон плохо, снег лежал, лед не скалывался, но артдозоры, наблюдавшие погребов и следившие за состоянием боезапаса и исправностью системы орошения, пожаротушения и затопления погребов, назначались строго и исполнялись по совести. Даже самый темный матросик из деревенских быстро понимал, что значит неисправность патронной беседки и неурядок в кюйт-камерах.

Игорь Иванович не собирался век свой коротать на флоте; нужно было пережить все эти передрыги, закончить образование и жить солидной и обеспеченной жизнью русского инженера. А потому он сторонился всяческой политической активности, называл себя сочувствующим, но не уточнял кому, и в душе своей несколько не осуждал авроровцев, чуть ли не на следующий день после неудачного выступления в июле присягнувших Временному правительству, а потом это же правительство пугнувших холостым выстрелом из-за Николаевского моста в ночь взятия большевиками Зимнего.

Было бы абсолютно неверно предполагать, что, дескать, в то время, когда весь народ готов был сплотиться вокруг одной великой цели, когда жажда свободы была у всех на устах, а сердца переполнены стремлением вперед, один Игорь Иванович Дикштейн в своей средней части подбашенного отделения, где расположен снарядный погреб, среди стеллажей, зарядников и храповых приспособлений, с помощью которых снаряд укладывался на тележки и подавался к подготовительным столам, — один он не испытывал жажды свободы и стремления вперед. Конечно, испытывал, но очень недолго, и после известных событий, последовавших одно за другим буквально через день и оба раза на его глазах, Игорь Иванович замкнулся и ни о жажде своей, ни о стремлении ковать свободу предпочитал вслух не говорить.

В соответствии с боевым расписанием зимой 1917 года обе бригады линейных кораблей стояли в Гельсингфорсе.

2 марта, на следующий день после получения известия о падении самодержавия, был убит контр-адмирал Небольсин. А 4 марта, когда выводили из гельсингфорского порта арестованного адмирала Непенина, отказавшегося сложить полномочия командующего Балтийским

флотом без приказа Временного правительства, уже в ворот в него выстрелили прямо на глазах толпы.

В газетах оба случая называли инцидентом, и, что более всего поразило Игоря Ивановича, никому ничего за это не было.

Игорь Иванович замкнулся под тремя броневыми палубами и с еще большим тщанием следил за состоянием аэроохлаждающей системы «Вестингауз — Леблан», обеспечивающей в погребах в автоматическом режиме температуру пятнадцать — двадцать градусов, с предельным вниманием следил за направляющими латунными поясками и всякими там бронебойными и баллистическими наконечниками трехсот своих подопечных. Как прилежный старшина боезапаса, он строго следил за герметичностью пеналов, хранящих полузаряды нитроглицеринового трубчатого пороха, обшитых великолепным, дотла сгорающим шелком, проверял легкость хода зарядной платформы, вращающейся на шаровом погоне, работу малых подъемников шестидесятикилограммовых полузарядов, придирчиво осматривал резиновые ролики снаряженных лотков, предохраняющие от забивания ведущие пояски четырехсоткилограммовых снарядов.

Оказавшись в феврале 1921 года в Петрограде, Игорь Иванович в первую очередь уловил острое сходство с событиями четырехлетней давности, хотя народу в городе поубавилось, и очень заметно.

...Даже не то что поубавилось, а, можно сказать, обезлюдел город, где против двух с половиной миллионов населения в 1916 году к февралю 1921-го не осталось и одной трети, меньше 800 тысяч. Распылился и рабочий класс, опора революции, набиралось едва 90 тысяч, впятеро меньше, чем в том же 1916-м, да и по составу народ уже был не тот, кто только не прятался на заводах от призыва в армию или в погоне за рабочей карточкой и гайком. Отсутствие рабочей силы восполнялось трудармейцами, то есть воинскими подразделениями, получавшими вместо долгожданной демобилизации направление на работу. Привозились граждане из 37 губерний по трудовым повинностям и мобилизации, только этих никто толком не считал, поскольку разбежались они по мере возможности вроде первых строителей Петербурга, так же скрывая свои профессии, а в общем-то, попросту не желая после победоносного окончания войны жить на казарменном положении, вдали от дома, да еще и на полувоенном регламенте. Трудармейцы эти как жили, так и

работали, а жили плохо — и в смысле обстановки и хозяйственного устройства, и в смысле еды и одежды.

На VIII Всероссийском съезде Советов отвечавший за транспорт Троцкий заверил страну в том, что наступающая зима «не грозит нам гибелью, не грозит нам полным параличом, которого мы могли бы ожидать в середине зимы». Трудно сказать, на что опирался оптимизм вождя, только паралич надвинулся прежде, чем зима подошла к середине.

Впрочем, экономические трудности еще не давали взглянуть политический кризис, уже заявивший о себе на том же VIII съезде Советов в крестьянских речах. «...Все обстоит хорошо, — с привычной мужицкой смиренностью говорил хитрый делегат, — только земля-то наша, да хлебушко ваш; вода-то наша, да рыба-то ваша; леса-то наши, да дрова-то ваши...» Поэтому мужик и в лесозаготовках, и в снабжении города продовольствием участвовал неохотно. Освободив беднейшее крестьянство от продразверстки, власти стали привлекать к ответу за несвоевременные и печеткие выполнения заданий Наркомпрода и по топливу не отдельных крестьян, а всю деревню, что вызывало возражение несознательной массы.

Топлива Питер в январе получил треть от запланированного, а в феврале только четверть. Зима же выдалась тяжелая, морозная, с большими заносами. Каменный центр города стал отапливаться деревянными окраинами, раскатали 175 зданий, и добытые таким путем три тысячи кубических сажень дров поделили справедливо: две тысячи пошли населению, а одна тысяча — на отопление учреждений. В феврале «приговорили» к слому еще 50 сооружений. Понимая, что этот источник, как и все другие, ограничен, Петросовет выступил с обращением, разъясняя гражданам, что слом строений можно производить только по разрешению Совнархоза.

Хотя урожай в 1920 году был неплохой, из-за нехватки топлива, подвижного состава и заносов продовольственные эшелоны ползли к городу со средней скоростью 84 версты в сутки, иногда эта скорость доходила до 32 верст. Продукты портились по дороге. Так, яйца, доставленные из Сибири, пришли наполовину испорченными, картошка тоже мерзла в пути и приходила негодной. 15 февраля в город не пришел ни один вагон с продовольствием. Запаса хлеба не было, то есть был, но на один-два дня, если выдавать по половинной норме. И так весь март.

Специально образованная комиссия по снабжению столиц при СТО сократила в январе на десять дней выдачу хлеба по карточкам на одну треть, выдавая двухдневную норму на три дня; решение это касалось не только Москвы и Петрограда, но и Иваново-Вознесенского района и Кронштадта. Однако и по истечении оговоренного срока Петросовет был вынужден объявить о снижении хлебных норм для некоторых граждан, а для других пришлось пойти на отмену специальных продовольственных пайков.

Без топлива, без еды, без заинтересованных в труде квалифицированных рабочих много не наработаешь, пришлось закрыть 93 предприятия, да не каких-нибудь, а Путиловец, Лесснер, «Треугольник», Франко-Русский завод, завод Барановского, Ленгензипеп. Без работы оказалось 27 тысяч человек, треть из оставшихся в Питере рабочих, власть сохранила за всеми на время вынужденного простоя право на паек и заработок по среднему с учетом сдельных и премиальных. Чтобы хоть как-то сохранить коллективы, рабочую гвардию Питера, издавались приказы о ежедневном выходе на работу для регистрации. «Петроградская правда» рассказывала о находчивости табачников, которые после запрещения пользоваться электроэнергией пустили в ход ручные станки и заняли этим 125 человек, 200 человек занялись доработкой изделий, а еще 428 стали убирать снег и переносить сырье. Попытки пользоваться хотя бы на краткое время током на оставленных предприятиях пресекались в корне, поскольку 150 предприятий продолжали работу с полной нагрузкой, правда, работу лихорадила волюнка. Слово это, не сходявшее с языка, мелькавшее сплошь и рядом в печати и официальных документах, в словари не попало, и приходится лишь догадываться, что в новом обиходе оно заменило отжившие свой век слова «стачка» и «забастовка».

В городе царила тревога и недовольство. Усталость, страшная усталость, нечеловеческая усталость послужила почвой для мрачных настроений у людей, разбивших боеголовки, прогнавших интервентов, сносивших все лишения и невзгоды, изголодавшихся, промерзших, переживших тиф и холеру, три года ждавших мира и надеявшихся на незамедлительное улучшение жизни.

То остановится цех на Балтийском заводе, то откажутся идти на выгрузку дров работницы прачечной № 1... Рабочие, не жалевшие ранее сил для защиты своей вла-

сти, стали теперь предъявлять к ней требования, настроения проявлялись главным образом через требование удовлетворить население продовольствием, но были и выступления иного рода: так, рабочие завода Дюмо требовали выдать им мыло и ордера на баню.

Петроградский губком партии ощущал всю напряженность момента, и на его заседании в конце февраля прозвучали вещие слова: «Мы стоим перед моментом, когда могут быть демонстрации».

Демонстрации начались в конце февраля.

«Петроградская правда» в передовой «Руки прочь!» открыто признавала, что контрреволюционным агитаторам «удалось добиться того, что на заводах волынят». Волынили на «Арсенале», Трубочном, на табачной фабрике Лерфема, на Балтийском заводе, на Невской бумагопрядильной, на 1-й Невской питочной фабрике, всех не упомянешь. Волынщики шли демонстрацией по городу, требовали освобождения арестованных, разоружали караулы, отбирая не только винтовки, но и патроны. Красные курсанты разгоняли толпу, причем оружия не применяли, а из толпы несколько раз выстрелили и одного курсанта ранили.

Так же как в феврале 1917-го, в открытую шла агитация против правительства, так же во всех бедах, в том числе и в отсутствии топлива и продовольствия, обвиняли власть, теперь уже большевиков; так же разношерстная публика толпилась перед казармами и военными училищами, прощупывая настроения тех, у кого было оружие в руках; на фабриках и заводах шли неорганизованные собрания, так же вспыхивали попытки разоружить то один, то другой караул, и если в феврале 1917-го опорой власти были юнкера, то нынче героями дня были красные курсанты, державшиеся стойко и воинственно. Их обращение к петроградским рабочим и работницам было исполнено угрозы самых решительных действий, слова воззвания о том, что «вчера мы не выпустили ни одного боевого патрона, а завтра уже можем не отличить правого от виноватого, честного, но обманутого труженика от бесчестного провокатора и подлеца», напоминали умиротворяющие усилия покачнувшейся власти.

Из уст в уста достоверно сообщалось, что Зиновьев, возглавивший образованный в эти дни Комитет обороны Петрограда, перевел его в Петропавловскую крепость. Мера эта подтверждала извещения о том, что со дня на день в Петрограде вспыхнет восстание.

Комитет обороны сразу же выпустил обращение «Остерегайтесь шпионов! Смерть шпионам!», газеты разъяснили: «Доподлинно известно, что Англия, Франция, Польша и др. имеют своих шпионов в Петрограде... Военный совет предлагает через комиссии по борьбе с контрреволюцией немедленно принять меры к раскрытию всех шпионских организаций и аресту тех, кто распространяет злостные слухи, сеющие панику и смуту».

Петроградский комитет партии со всей определенностью поставил на повестку дня своего бюро вопрос «О мероприятиях завтрашнего дня в связи с мятежом на заводах»; заседание было долгим и бурным, закончилось оно в полной темноте, поскольку подача электроэнергии прекратилась. По постановлению бюро в районах были созданы чрезвычайные тройки, восстановлены отряды особого назначения и проведена партийная мобилизация; хождение по улицам ограничивалось одиннадцатью часами вечера, оно и в любом случае было небезопасным, поскольку уличного освещения ночью не было. Театры «несерьезного характера» подлежали закрытию, а в серьезных театрах начало спектаклей переносилось с семи на шесть вечера.

Разламывая накатанные по льду Невы санные дороги и натоптанные горожанами пешеходные тропинки, несколько раз в день на глазах редких прохожих, забредавших на пустынные набережные, нещадно дымя своими двумя огромными прямыми трубами, самый крупный в мире ледокол «Ермак» разрезал город на две части. На всю ночь разводились мосты, чего зимой никогда не делалось, а по улицам с песнями и оркестром, в полной боевой выкладке маршировали курсанты, вселяя бодрость и уверенность в тех, кто в этом нуждался, и предупреждая врага: не балуй! Зазвеневшие по улицам провода полевых телефонов окончательно придали городу фронтовой вид.

Петроград стоял угрюмый, пустой, на перекрестках главных улиц, *словно забытые*, возвышались броневики. На лицах горожан лежала печать усталости и растерянности.

Отчаянные призывы Петросовета и губкома партии к рабочему классу, вышедшему на улицы: «За работу!.. За работу!..» — тонули в дружном хоре эсеров, меньшевиков и всякой антиправительственной публики, призывавшей лишить большевиков власти, выкинуть их из Сове-

тов. Прокламации анархистов призывали «свергать самодержавие коммунистов».

Появились листовки, напоминая и про Учредительное собрание: «Мы знаем, кто боится Учредительного собрания. Это те, кому грабить нельзя будет, а придется отвечать перед народными избранниками за обман, грабеж, за все преступления. Долой же ненавистных коммунистов! Долой Советскую власть! Да здравствует Учредительное собрание!» Здесь даже руку дьякона из лужского кафедрального собора, развесившего у себя в Луге самодельные плакаты: «Радуйтесь и ликуйте — скоро придут белые освободители!», — уездная ревтройка узнала без труда. Вообще в окрестностях Петрограда было сравнительно спокойно, население привыкало даже к бродившим командами по 20—30 человек дезертирам: крестьяне устанавливали очередность постоя и повинность по приему и дальнейшей отправке этих вооруженных и голодных шаек. В Рождественской и Гатчинской волостях появились плакаты «Да здравствует Учредительное собрание!», но особо выдающихся крестьянских выступлений не было, если не считать недоразумения в Смердовской волости из-за сена.

24 февраля в городе объявили военное положение, через несколько дней положение было введено — осадное.

Петросовет принял решение о демобилизации трудармейцев и граждан, привлеченных в город по трудовинности, всем им был предоставлен двухнедельный заработок и бесплатный билет на родину. Таким образом часть наиболее недовольного, а потому и взрывчатого материала из города была удалена.

Неустойчивые и ненадежные войска, затронутые брожением, особенно морские части, были незамедлительно тремя эшелонами отправлены из Петрограда на Кавказ, на Черное море.

Преданные большевикам курсантские части и части особого назначения несли караул у зданий райсоветов, охраняли партийные комитеты, телефонные станции, вокзалы, мосты, главные магистрали города. Курсантские патрули вылавливали контрреволюционеров и их пособников и отправляли в распоряжение беспощадных революционных троек.

На кораблях и в учреждениях Балтфлота запрещались собрания и присутствие посторонних лиц; замеченные в агитации подлежали аресту, при сопротивлении приказывалось применять силу,

Партийная организация Петрограда до отказа мобилизовалась для отпора мятежникам и поддержания внутреннего порядка.

В Ораниенбауме спокойно и организованно была налажена и прошла подводная (гужевая) повинность, поскольку на побережье все больше и больше стягивалось войск, снаряжения и боеприпасов.

Сверх всякой похвалы держали себя рабочие-железнодорожники, впрочем, быть может, побавивались мобилизации.

Характерно, что «стихийные» собрания и митинги были исключительно беспартийными, именно беспартийные заявляли о том, что во всех наступивших затруднениях виноваты коммунисты, хотя без труда уже тогда можно было понять, «на чью мельницу льют воду эти волки в овечьих шкурах», как метко скажет впоследствии историк.

И снова на устах у многих появилась жажда свободы

Когда Игорь Иванович в начале лета 1916 года впервые поднялся на «Севастополь», он даже робел ступить, сделать первый шаг на его надраенную до янтарной желтизны верхнюю палубу, ровную, как стол, от бака до юта.

Солнце переливалось, играло и слепило, отражаясь в медных, латушных и бронзовых частях механизмов, поручней, гранов, переговорных трубок, иллюминаторов; все это металлическое великолепие, казалось, только что отлито, выковано, а сияющий огнем металл еще не успел остыть.

Потом уже Игорь Иванович стал замечать, что по мере приближения свободы всякий раз тускнела латунь и медь, а палуба как-то незаметно приобретала унылый вид провинциального тротуара. Игорь Иванович был убежден, что грязь эта появлялась на корабле не от делегаций и агитаторов, не от комиссий и представителей, постоянно выяснявших и направлявших настроение команды лижкора, а выползала непосредственно из недр самого корабля. И это было неизбежно, как неизбежен неопрятный вид любого разлаженного или в небрежении содержащегося механизма, где непременно будет сифонить какой-нибудь патрубков, сочиться отработанным черным маслом пробитый сальник, подтекать не дотянутый до нормы фланец.

Неизвестность и обреченность на бездействие угнетали и разлагали.

Острее всего на все волнения отзывались трюмные команды и кочегары, приставленные к двадцати пяти котлам линкора, самые бессловесные, самые невидные, они выползали наверх ковать свободу — шумные, непримиримые, резкие, горластые. Глядя на них, Игорь Иванович думал, что при любой свободе все равно кому-то сидеть в трюмной сырости, а кому-то жариться у огнедышащей тонки и пить тепловатую воду из подвешенного на шнурке чайника.

Запомнился ему чубатый, один из «духов», расписанный и разрисованный, как беседка в городском саду, он сидел в окружении своих приятелей из третьей котельной на солнышке у кормовой трубы и негромко пел, подыгрывая себе на мандолине:

Среди поля ржаного родился
От рабыни тиранов-господ,
Много, много для сердца младого
Уготовано было невзгод.

Игорь Иванович обратил внимание на продолговатое умное лицо кочегара, рослую фигуру и неплохой слух, и облик его как-то не вязался с сиротски-обличительными словами популярной песни.

Наблюдение Игоря Ивановича, хотя и мимолетное, было верным, но откуда ему было знать, что певец родился действительно не среди поля ржаного, а в нормальной семье железнодорожника и тонкий слух унаследовал от матери, женщины неграмотной, но помнившей множество песен и попевок. Зато Игорь Иванович знал твердо, что квадратный метр колосников в котлах системы Ярроу, установленных на линкоре, съедает в час двести килограммов угля, и поэтому смотрел на кочегаров всегда с сочувствием.

Словно подслушав мысли Игоря Ивановича о сиротской песне, чубатый оборвал ее на полуслове и заиграл что-то пронзительно нежное, видимо, импровизируя на ходу.

Синицей, случайно влетевшей в заводской эллинг, метался над палубой среди громоздящихся в небо надстроек, среди сшитых ребрами наружу огромных дымовых труб и орудийных башен тоненький, вибрирующий звук мандолины.

Кочегар, с важностью поджав губы, то поводил головой, не замечая никого рядом, то пригибал ухо, словно

ему не было слышно струн, доверчиво и обнаженно звеневших под его изъеденной углем клешней. И тоненький, незащитный звук наполнял сердце жалостью к самому себе, тоской по женщине и ребенку, по лесу, по полю, по земле, где подобает человеку жить, а не ютиться заточенным в душной железной утробе плавучей крепости.

1 марта на Якорной площади, переименованной к тому времени в площадь Революции, Игорь Иванович и этот, из третьей котельной, оказались рядом.

1 марта оказалось самым шумным днем в истории Кронштадта. На площадь перед собором шли толпами и в одиночку рабочие пароходного завода, электростанции и мастерских, женщины шли и подростки, собралось чуть не десять тысяч человек, половина города и гарнизона.

В отличие от большинства частей и экипажей команды «Петропавловска» и «Севастополя» вышли на митинг организованно, строем, с музыкой, правда, без флагов. Толпившаяся у трибуны разномастная публика уступила место четким колоннам моряков с линкоров. Именно эта четкость и верно занятая позиция и помогли повернуть митинг в задуманном направлении.

Ротные колонны команды «Севастополя» перестроились, и артиллеристы и кочегары оказались рядом; Игорь Иванович еще скользнул глазом по чубатому, припоминая его лицо, но без мандолины, без татуировки, покрывавшей тело даже на спине, он его не узнал да особенно и не напрягался, привыкнув к тому, что встреченные вне корабля лица из команды все кажутся хорошо знакомыми, а кто и откуда, припомнить бывает трудно и даже невозможно.

На трибуне появился председатель ВЦИК товарищ Калинин. Прямо от подъезда политотдела 187-й отдельной стрелковой бригады в Ораниенбауме через залив по льду, на легких саночках, без охраны и проводников он прибыл на площадь.

Приехавшего поговорить с братвой всероссийского старосту встретили аплодисментами, ждали, куда повернет, но когда пошли старые большевистские песни, говорить не дали. Петриченко, грудь нараспашку, взмахнул бескозыркой и перебил Калинина, дескать, послушаем лучше делегатов, ездивших в Петроград для ознакомления с причинами волнений на фабриках и заводах. Дал слово анархисту Шустову, матросу с «Петропавловска». У

того получалось, что в Петрограде только и ждут выступления Кронштадта и вся на него надежда.

Петриченко под это дело вылез с резолюцией: свобода для левых социалистических партий, выборы тайным голосованием «новых Советов», договорился до освобождения арестованных за контрреволюционную деятельность и снятия заградотрядов, ведущих борьбу со спекуляцией и мешочничеством.

Линкоры и здесь сказали решающее слово.

Тогда Калинин не выдержал и сказал резкую речь и предупредил, что история не забудет и не простит этого позорного поступка, что будущие поколения будут проклинать кронштадтцев. Сказал еще, что Петроградский СТО с сегодняшнего дня снимает заградотряды по всей территории губернии и открывает свободный подвоз продовольствия в город... Но было поздно, ему уже не верили.

Чубатый потер зачем-то пальцы о бушлат, не торопясь, не обращая внимания на то, что толпа уже ревели, вложил четыре пальца в рот, закатив глаза, подыскал им соответствующее место и издал звук, хлесткий, как свист бича.

...Доброе здоровье, впитанное от матери, и крепкие предрассудки относительно образования, впитанные от отца, привели рослого чубатого парня по мобилизации на флот, в кочегарку при третьем котельном отделении линкора «Севастополь». Рассчитывая сразу, закусив лепточку бескозырки, пройтись по улицам и проспектам Петрограда «красой и гордостью революции», в твердой надежде на ближайшие голодные годы переложить заботы о собственном пропитании и обмундировании на плечи интендантских служб, замороженный рассказами о Балтфлоте и романтическим образом клешников, чуть валкой и грозной походкой ступающих в фарватере всемирной истории, парень из подмосковного Сергиева Посада, с 1919 года ставшего городом, и не предполагал, что окажется в окружении диковатой деревенщины, переодетой в поношенную морскую форму второго срока. Бесконечные разговоры и в кочегарке, и в жилой палубе, и на толчищах о земле, да **продразверстке**, да о крутых новых порядках никак не **вязались** для новобранца с тем, что он ожидал увидеть и услышать на кораблях революционной Балтики. Поэтому, когда грянула буза, когда пошли митинги,

резолюции, протесты, чубатый будто проснулся. Он не пропускал ни одного шумного собрания и с изумительной силой свистел в четыре пальца.

По приказу штаба бригады линейных кораблей ежедневно в Петроград на разгрузку дров и очистку путей от снега на Николаевский вокзал посылалось сто человек. Охотников не находилось, и штаб бригады предупредил всех командиров и комиссаров, что за неисполнение приказа «будут преданы суду ревтрибунала», а чубатый как раз был не прочь лишний раз побывать в городе и даже рвался. По мере того как остывали котлы «Севастополя» и нарастала зимняя стужа, в душе кочегара разгорался пламенный огонь любви к старшей дочери парикмахера.

Отработав на вокзале, он не спешил с братвой в Рамбов, а переодевшись в голландку первого срока и украсившись разутюженным гюйсом, направлялся к своей невесте слегка загадочный и возбужденный. Он всегда прихватывал с собой вязанку дров, карманы, как правило, приятно оттягивал фунт-другой пшена, и потому в доме будущего тестя он чувствовал себя уверенно. Он ронял слова, по которым можно было понять, что лично он с этой вот жизнью мириться не желает и довольно скоро предпримет решительные шаги. Для большей важности он спрашивал папашу, стоят ли еще на Неве линкоры их бригады «Полтава» и «Гангут». Парикмахер терялся и только покачивал стрелками усов, умная его жена, всегда верившая в лучшее, утешала будущего зятя: «Да куда они до весны теперь денутся... стоят себе, надо думать». А невеста смеялась так, что у чубатого заходило сердце, как тогда, когда он в первый раз увидел ее за огромной, хрустальной чистоты витриной парикмахерского заведения. Подчеркнув, что половина отряда линейных кораблей стоит в городе, а другая половина под нарами в Кронштадте, будущий зять давал понять, что эта расстановка сил отвечает каким-то его, зятя, важным замыслам. Повисала тишина.

Разговор значительно оживлялся, когда речь заходила о новой жизни, о том, как город обезлюдел, о том, что трудармейцы только проедают хлеб да крутят волынку.

Ольга Алексеевна с бесстрашием светского человека, как о новостях с другого полушария, сообщала о том, что фунт хлеба в сентябре стоил всего триста семьдесят рублей, а нынче уже тысяча пятьсот пятнадцать. И действительно, предмет был отвлеченным, поскольку платить

такие деньги семья не имела возможности. В марте за фунт брали уже две тысячи шестьсот двадцать пять рублей, но и это могло питать только любознательность. Чубатый указывал на значительность заработков, но умевший считать копейку Петр Павлович после несложных выкладок многотысячные оклады пролетариев в 1920 году переводил на уровень 1913 года, и тогда суммы месячных заработков выглядели вполне скромно, где-то между шестнадцатью и двадцатью одной копейкой в месяц.

Тогда чубатый заявлял, что деньги — это пережиток, что смысл они уже свой утратили окончательно, и напирал на бесплатные выдачи, и здесь Петру Павловичу крыть было нечем: по карточкам продукты с 1920 года выдавались бесплатно, в конце 1920-го городской транспорт, коммунальные услуги, бани стали тоже бесплатными, а теперь еще и квартплату отменили. Хоть и военный, а коммунизм!

Петр Павлович соглашался и рассудительно отмечал, что прикрепление населения к общественным столовым — мера правильная и, зная наш народец, мудрая, потому что если выдавать все мизерные пайки разом, то товарищи их разом и съедят, а на работу могут все равно не выйти, а так более-менее регулярное питание, по сведениям Петрокоммуны, получают шестьсот тысяч человек, почти все население города.

Настя рассказывала, что в целях экономии топлива расширяются празднества, и поскольку 19 и 22 января красные дни, то будет принято решение с 19 по 23 января, всю пятидневку, объявить выходной.

Настя, как активная участница агитколлектива при отделе Сангигиены, знала программу празднеств, распланную на все пять дней. Тут же она припомнила, как товарищу Агулянскому, секретарю комитета по организации праздника в честь третьей годовщины Февральской революции, совпроф выписал одну пару обуви, четыре пары носков и двенадцать пуговиц, пуговицы были выписаны вместо просимых пальто и шапки. Настя со смехом рассказывала, сколько подписей — и каких! — пришлось товарищу Агулянскому собрать и как в каждой инстанции, в каждом кабинете пальто и шапка претерпевали волшебные превращения, соединившись сначала в бекенцу, потом распавшись на костюм-тройку, костюм затем ужался до жилета, жилет обернулся парой белья, но белья в наличии не оказалось, и пришлось получить двенадцать пуговиц.

Чубатый смотрел на Настю во все глаза и только слышал смех и видел ровные белые зубы и локон, пружинисто плясавший у самого уха. Будущий тесть и теща отнеслись к чубатому внимательно и серьезно, насмотревшись уже, как народ, ранее темный и незаметный, вдруг становился «головкой». Что можно сказать об этом? Да ничего. Ужасно он был нетерпелив, влюбленный кочегар, смешивший невесту своей серьезностью, ему хотелось самым кратким образом проделать путь, начертанный на многих транспарантах. Поскольку он был «ником», то жил все последнее время в волнующем предчувствии того, как станет «все». Неплохой пример в этом смысле давали большевики. Были «ником», а гляди-ка, раз-два — и в дамки. Покомандовали, покомиссарили, баста, дай теперь и другим...

Вот и сейчас душа его парила над клокочущей толпой, хмелевшей то ли от собственной силы, то ли от чувства безнаказанности.

Комиссар Балтфлота Кузьмин, еще накануне чувствовавший резкие настроения, никак не мог поверить, что дело повернется к восстанию, он попробовал рвануть речь о боевых традициях Кронштадта, но говорить не дали. «Забыл, как на Северном фронте через десятого расстреливал?!» — орали из толпы. Впоследствии было доказано, что в «децимациях» Кузьмин не участвовал, только сам он от этих упреков отбивался своеобразно, крича обвинителям, что изменников делу трудящихся расстреливал и будет расстреливать и что на его месте другой бы не десятого, а пятого распылил.

Чубатый, не задумываясь, заорал «долой!», а для убедительности сунул в рот сдвинутые колечком пальцы и выдал пронзительный, как игла, свист. Игорь Иванович, напротив, задумался, ему всегда делалось не по себе, когда он слышал, как похваляются убийством по убеждению. Он видел, как худой длинный Кузьмин в долгой кавалерийской шинели жег толпу мрачным взглядом глубоко посаженных глаз, как вытягивались его впалые щеки, как открывался и закрывался прямой рот, казалось никогда не знавший улыбки, как махал рукой с широким общлагом, видел все, но не слышал и не понимал ни слова.

— Помните, — кричал бесстрашный Кузьмин многотысячной толпе, — помните, что можно говорить о своих пуждах, о том, что там-то нужно исправить, но исправлять — не значит идти на восстание! Помните, что Крон-

штадт со всеми своими кораблями и орудиями, как бы грозен он ни был, только точка на карте Советской России!

«Постреляли, хватит!..», «Нечего нам грозить, не то видали!..», «Гони, гони его!», «Долой!..».

На трибуну поперла уже всякая шваль вроде коменданта тюрьмы с истерическими речами против коммунистов.

Игорь Иванович совершенно не обращал внимания на чубатого из третьей котельной, а тот хватался ладонями за подмерзающие уши, скалился, что-то выкрикивал, свистел так, что звенело в ушах у стоявших рядом. Скалившихся, свистевших и орущих кругом было полно...

Да, здесь бы им и приглядеться друг к другу, может, и познакомиться как-то получше, пока не повязаны еще общей бедой, пока души-то были открыты, у чубатого вся параспашку да и у Игоря Иванович приоткрыта в большей степени, чем в другие моменты его короткой жизни: хотя бы на ногу друг другу наступить, толкнуть, хоть и ненароком, в глаза друг другу взглянуть, запомнить... Только нет глупее занятия, чем подсказывать истории возможные пути ее развития в далеком прошлом, особенно в то время, когда и на сегодняшние ее пути великое множество людей, не только читающих, но и пишущих, не имеют равным счетом никакого влияния.

Здесь самое время указать на то, что хотя чубатый из кочегарки был в отличие от Игоря Ивановича и статным, и рослым, и усы у него не в пример жиденькой поросли хранителя боезапаса росли густо, тем не менее сходства в них было больше, чем могло показаться на первый взгляд.

Сходство состояло в том, что этот, с мандолиной, ничего не понимал, хотя и думал, что понимает все, и был переполнен энтузиазмом. А Игорь Иванович просто ничего не понимал, хотя и чувствовал полутехническим своим умом, что за видимой стороной событий есть какой-то скрытый от него механизм, ход действия которого он никак не мог ни рассчитать, ни вычислить, а потому и был, как всегда, далек от бурных эмоций.

И вообще в третьей кочегарке царила полная ясность относительно дальнейших путей истории под водительством только что образованного кронштадтского «ревкома», выбравшего для прочности местом своего базирования «Севастополь». Такая близость к власти лишала сознание сомнений, а сердце колебаний.

Кронштадт интересовался положением на «Гангуте» и «Полтаве», зимовавших в Петрограде, но и на линкорах интересовались Кронштадтом. 1 марта на Котлин с «Полтавы» ушли два делегата, один так и не вернулся, сгинув неведомо где, а второй событий, потрясших в этот день остров, не заметил, а обиду в сердце принес: «К чертовой матери их собрания, даже не покормили, дьяволы!..»

То, что не удалось узнать от обиженного делегата, стало известно от агитаторов, двинувшихся в Питер. Собственно, двинулось не так уж и много, человек двести, крепость сберегала свои силы, тем более, что никто из агитаторов не вернулся, патрули отрядов особого назначения ловили матросов, пытавшихся пронести в Петроград тысячи листовок с «резолюцией» мятежной крепости. Сами же мятежники, демонстрируя свой демократизм, бесстрашие перед лицом идейно разгромленного противника и полную веру в свою правоту, безо всяких комментариев опубликовали в своих «Известиях» текст листовок, высыпанных в количестве 20 тысяч с аэропланов на остров, где мятежникам гарантировалась жизнь и прощение лишь при условии немедленной и безоговорочной сдачи.

Петроград всерьез готовился к решительным событиям.

Циркуляр политотдела требовал о всех более или менее «выдающихся недоразумениях, возникающих в команде», сообщать в осведомительную часть политотдела.

Донесения в основном сообщали о среднем отношении к Советской власти и плохом к РКП(б). С «Победителя» донесли: «Среди команды есть брожение по поводу событий, но не выливается ни в ту, ни в другую сторону». Чтобы шаткие настроения моряков не повернули в другую сторону, на кораблях, зимовавших в Петрограде, взяли оружие под контроль, отменили коммунистам отпуска и увольнения, коммунистов вооружили, на многих кораблях объявили военное положение. Эти решения были первно встречены на судне «Самоед» и эсминце «Капитан Изыльметьев». Правильно понимали события эсминец «Уссуриец», 1-й дивизион тральщиков, ледокол «Аванс», спокойно было и на портовом судне «Водолей-2», где разговоры, судя по донесениям, велись главным образом о засилье евреев в учреждениях. Интересный лозунг выкинули на посыльном судне «Кречет»: «Да здравствует только власть Советов!» Каждому было понятно,

что за этим коротеньким словечком «только» стоит отмена диктатуры пролетариата и руководящей роли коммунистов, то есть главные пункты кронштадтской программы.

В ледокольно-спасательном отряде, стоявшем в Петрограде, бурную деятельность развил матрос Тан-Фабриан, участник знаменитого митинга 1 марта в Кронштадте. На однотипных ледоколах «Трувор» и «Огонь» ему удалось провести «резолюцию» при подавляющей поддержке коммунистов, правда, на «Огне» трое коммунистов проголосовали «против», а четверо беспартийных воздержались. Чтобы сломить колебания, Тан-Фабриан (как он потом показал на допросе) говорил, что 10 марта «Севастополь» и «Петропавловск» будут громить Смольный из главного калибра. На экипажи ледокола «Аванс» и спасательного судна «Эрей» это не подействовало, и они даже отказались ставить «резолюцию» на голосование.

Как выяснилось позже, из многочисленных экипажей Петроградской базы только два ледокола и одно вспомогательное судно и приняли «кронштадтскую резолюцию». Правда, после успешного отражения первого штурма кронштадтцам удалось почти склонить на свою сторону экипаж «Ермака» в надежде обломать вокруг острова лед и сделать крепость недоступной для пехоты. Экипаж с «Ермака» был снят, котлы погашены, а на борт был выставлен караул надежных партийцев и моряков.

В тот же день сразу после победного митинга на линкорах отстранили от руководства военных комиссаров.

Начались аресты.

В ночь на 2 марта телефонист Кронштадтского района службы связи, член мятежного «ревкома» и заместитель Петриченки, именуемый по старинке «товарищ председателя», разослал во все части и учреждения телефонограмму: «Копия, по линии постов Кронштадта... В Кронштадте в настоящее время партия коммунистов удалена от власти и управляет Временно-революционный комитет. Товарищи беспартийные! Просим вас временно взять управление в свои руки и зорко наблюдать за коммунистами и их действиями, проверять разговоры, чтобы нигде не делались какие-нибудь заговоры... Выборный представитель от команды Кронштадтского района Яковенко». Впоследствии Яковенко был комиссаром «ревкома» при Штабе обороны Кронштадта, где наблюдал за дружной работой офицеров и инженеров.

Только вот многие попытки «ревкома» обуздать анархистов и уголовников не давали успеха, те оказывали даже вооруженное сопротивление, и в крепости не раз возникали беспорядки. Всяческие подонки, размахивая лозунгом свободы, все откровеннее вступали на путь самоуправления и полной анархии.

Власть, захваченная с такой легкостью всего несколько дней назад, тут же мало-помалу стала утекать сквозь пальцы «ревкома».

В заметке с ироническим заголовком «На коммунистических началах» «Известия» кронштадтского «ревкома» сообщали: «Ввиду того, что временно арестованные коммунисты сейчас в обуви не нуждаются, таковая от всех их отобрана в количестве 280 пар и передана частям войск, защищающих подступы к Кронштадту, для распределения. Коммунистам взамен выданы лапти. Так и должно быть».

Действительно, вместо отобранных сапог заключенным пообещали выдать рваные шинели, чтобы они сами сшили себе лапти, но на самом деле шинелей не дали. Хорошо, что у кого-то одного оказались калоши, так в этих калошах и путешествовали по очереди по каменным полам тюрьмы.

На 26 678 человек некомандного и командно-политического состава кронштадтской базы приходилось 1 650 членов и кандидатов в члены партии да в гражданской партийной организации Кронштадта еще человек 600. Цифры, конечно, большие, только со стажем до 1917 года — единицы, а больше половины — крестьянская масса, вступившая в партию в сентябре 1920-го, во время «партийной недели», после того как в сентябре же вычистили из военной парторганизации Кронштадта 27,6 процента. Новые партийцы стали с недовольством говорить про партийные «верха» и «низы». Чтобы разговоры прекратить, Побалт от 11 декабря 1920 года издал приказ всем начальникам политотделов провести немедленную одновременную смену 25 процентов комиссаров, направив их в «низы» и заменив выдвиженцами из партколлективов. Это называлось «перетряхивание» комсостава.

Накануне событий начальник политотдела флота Батис телеграфировал в центр: «Особого недовольства среди военморов нет. Влияние правых эсеров и меньшевиков ничтожное».

Между тем выход из партии и падение партийной дисциплины в январе и феврале достигли высшего уровня. Наблюдались случаи нежелания матросов говорить с политработниками, на все вопросы один ответ: «А тебе какое дело?!» — и весь разговор. Партбилеты вышедших из партии моряков в политотдел приносили даже не ответственные секретари, а рядовые члены партии, пачками, и никто никого не вызывал в партийную комиссию, да и политотдел не задавал вопросов о положении в партячейках. Завураспредотдела с трудом успевал подавать суточные сводки в Побалт. И что совершенно удивительно, все заявления о выходе из партии были с одной мотивировкой — «по религиозным убеждениям»: то ли благодать снизошла на военно-морскую базу, то ли непосредственно просматривалось с линкорных КДП второе пришествие Иоанна Кронштадтского.

С точки зрения современного развития прогресса и науки такой аргумент может показаться лишь наивной уловкой, шитой причем белыми нитками, но стоит на ситуацию бросить исторический взгляд, и картина предстанет несколько иная.

Сочиненные рассказы о совершенных чудесах Иоанном Сергиевым были настолько многочисленны и убедительны, что не только серый люд, но и подвижники веры пришли к необходимости признать в прославленном пастыре божественные свойства, а Порфирия Ивановна Киселева, положившая душу и всю себя к славе Иоанна и иоаннитов, возвысилась и была чествуема как пресвятая Богородица. И хотя по смерти Иоанна Кронштадтского в 1908 году синод постановил учение иоаннитов считать ересью и богохульством, вспомните-ка, сколько еще лет и после той войны и этой ходили отбивать поклоны и целовать камни последователи его секты к подвальному окошечку Научно-мелиоративного института, разместившегося в бывшем женском монастыре во имя Иоанна Сурского, на Карповке, напротив улицы Текстильщиков, бывшей Милосердия, где находился склеп с могилой Кронштадтского чудотворца, особо почитаемого в семье государя Александра III.

В первую очередь мятеж ударил по большевикам, начался террор и репрессии. Активные участники и пособники мятежа захватили особый отдел и ревтрибунал.

В трюм «Петропавловска» бросили 150 арестованных, на «Севастополе» — 60, 300 партийцев было отправлено в кронштадтскую следственную тюрьму.

Как показала перерегистрация Кронштадтской организации РКП(б) после мятежа, 135 человек ушли на нелегальное положение и вели подпольную работу. Не удалось сломить и брошенных в следственную тюрьму, в одной из общих камер узники организовали выпуск газеты, которая энергично разъясняла смысл кронштадтских событий. Несмотря на жестокие угрозы, репрессии, коммунисты, рискуя жизнью, общались с обманутыми моряками, а позднее, уже во время штурма, была сделана попытка установить связь с партийной организацией наступавшей на Кронштадт 7-й армии.

В ответ на арест коммунистов в Кронштадте «Известия ВЦИК» 5 марта сообщили об аресте в Петрограде в качестве заложников взрослых членов семей генералов и офицеров, активно участвовавших в восстании, заложниками объявлялись и арестованные подозрительные личности.

«Ревком» организовывал облавы на рядовых коммунистов.

Под покровом ночи 2 марта многие активные работники во главе с комиссаром Кронкрепости товарищем Громовым и даже вся партийная школа в составе ста человек, с винтовками, пулеметами и патронами, решили покинуть крепость. Вышли организованно, готовые к бою. У 2-го артдивизиона увидели, как ездовые закладывают лошадей, чтобы куда-то ехать. Решение было принято мгновенно: погружены пулеметы, патроны, и все 165 человек через Цитадельные ворота выехали на лед в сторону Ораниенбаума.

Кстати сказать, никаких массовых расстрелов в Ораниенбауме, как хотелось бы мятежникам и о чем они сообщали в своих «Известиях», не было. Например, в 1-м морском воздушном дивизионе, проголосовавшем за кронштадтскую «резолюцию», было арестовано всего 115 человек, около половины личного состава, а ликвидировано из них строго по приговору ревтрибунала только пятеро, во главе с командиром дивизиона Колесовым, а 110 вскоре вернулись обратно в свою часть и хорошо еще потом дрались в составе 7-й армии, громя мятежников с воздуха.

Покачнувшиеся коммунисты, те, что остались в крепости, образовали «временное бюро Кронштадтской организации РКП», выпустившее воззвание, поддерживающее «ревком» и все его мероприятия.

Последними в следственную тюрьму были брошены

матросы с буксира «Тосно», обламывавшего лед вокруг линкоров. Оба дредноута стояли близко, мешая друг другу стрелять, да еще и стенка мешала обоим. Но вывести корабли на свободный рейд не удалось: буксир ломал лед, а лед ломал ему винты, ну а когда лопнул главный вал машины, «ревком» посчитал всю эту демонстрацию чистейшим саботажем, моряков бросили в тюрьму, а линкоры остались на приколе.

Чтобы не уронить себя в глазах страны, в надежде на поддержку мятежники по радио объяснили «пролетариату всех стран», что белогвардейские офицеры ими не командуют и что никаких связей с заграницей восставшие не поддерживают. Но уже в ближайшие дни «пролетариат всех стран» мог увидеть, как все больше и больше забирал власть генерал Козловский, а отсутствие в крепости запасов продовольствия вынудило начать переговоры с американцами о возможности поставок. На американских складах Красного Креста в Финляндии лежало сто тысяч пудов муки, многие тысячи пудов сгущенного молока, сала, сахара, сушеных овощей и даже 150 пудов яичного порошка. Только Финляндия, дорожа своей независимостью, от посредничества воздержалась, и продуктов на остров попало лишь 400 пудов; за два дня до подавления мятежа солдаты, матросы и рабочие Кронштадта по литеру «А» получали по четверти фунта хлеба или полфунта галет и по одной банке мясных консервов на четверых, остальным жителям вместо хлеба и галет выдавали один фунт овса в день.

7 марта, после того как последнее предупреждение рабоче-крестьянского правительства было отклонено, Красная Горка, еще недавно усмиренная пушками «Петропавловска», «Андрея Первозванного» и крейсера «Олег», открыла огонь по мятежникам.

Артиллерийский обстрел Кронштадта фактически никакого результата не дал, так как артиллерия была как-то вообще, не имея плана города и фортов, хотя в штабе армии эти планы имелись.

В ответ ударил «Севастополь».

Кому открывать огонь, решилось как-то само собой, образцовое содержание боезапаса во второй башне первого артдивизиона, то есть главного калибра, было общезвестно. От оглушающих выстрелов лопались стекла в примыкавших к гавани зданиях, порождая житейскую досаду и вселяя уверенность в правоту и несокрушимость крепости.

Игорь Иванович был убежден, что открытие огня, главная работа линкора, начинается именно у него, в нижнем снарядном погребе. Поэтому после объявления боевой тревоги, когда все, разбежавшись по боевым постам и проверив механизмы, сыпали командиру башни «к стрельбе готов», Игорь Иванович всегда замыкал доклад последним, не оставляя и секундной паузы для упрека в задержке доклада.

Кто служил в армии, тот знает цену таким с гражданской точки зрения мелочам, как чуть-чуть суженные или расширенные против нормы клеши, чуть укороченный или опять же удлиненный бушлат или доведение края бескозырки до бритвенной остроты. В этих движениях своей воли, своей инициативы и вкуса, строго ограниченных уставом и глазом начальства, трепещет жаждущая своей отдельной, особой, ни на кого не похожей судьбы личность, ставшая номером боевого расчета, приведенная ко всеобщему знаменателю присягой, уставом и формой. Но что там бушлаты, что бескозырки — люди, завоевавшие себе право иметь собственный голос в боевых докладах, со временем становились легендарными в полках, батареях и на кораблях. Игорь Иванович уже был близок к тому, чтобы стать легендой, ему уже почти позволялась не то чтобы вовсе не уставная, но своя интонация в докладе о готовности погреба к боевой работе. От горизонтального наводчика до замочного (на кораблях именно замочные, это на берегу замковые) докладывали: «К стрельбе готов!» Только Игорь Иванович или в переговорную трубу так, что слышала вся башня, или по телефону, лишь для командира, неизменно докладывал: «Снарядный погреб к открытию огня готов!» После стрельб или тренировок командир башни, как правило, принародно дружески замечал Дикштейну: «Любите вы, Дикштейн, длинные разговоры при докладах... Что это опять — «к откры-ты-ю огня-я-я...». Целая речь, понимаете ли!» Игорь Иванович чуть улыбался и четко бросал: «Винovat!» Но посмей он в следующий раз доложить по-уставному: «К стрельбе готов!» — как неминуемо огорчил бы и командира, и всю башню, эти «длинные речи» из бомбового погреба были как бы особенностью второй башни, ее отличительной красочкой, ее почерком и даже — талисманом. Однажды на стрельбах под надзором представителей штаба флота Игорь Иванович, чтобы не подвести начальство, доложил, как положено. И вторая башня в этот день стреляла хуже всех: три осечки подряд, отказ

в гальванической цепи, замены гальванических зарядных трубок на ударные — словом, хуже некуда. И все до одного были в башне убеждены, что все это оттого, что не прозвучало перед стрельбой неуставное петушиное слово Игоря Ивановича, поэтому ни на гальванеров, ни на замочных никто косо не смотрел, не лаял и не материл, а с Игорем Ивановичем неделю общались сухо, решив, что он просто струсил.

Собственно, и задача самого Игоря Ивановича по службе сводилась к тому, чтобы ни один снаряд в его заведовании ни видом, ни сутью не отличался от того идеального, существующего в инструкции и воображении начальства снаряда, не имеющего никаких своих личных примет и особенностей, пи штрихов, ни царапинок, ни крапинок ни на металле, ни на краске. И все-таки Игорь Иванович даже в интересах службы не только разделял и отличал однотипные снаряды, но некоторым из них присваивал имена собственные, не отличавшиеся, правда, особым разнообразием: Чушка, Кабанчик, Хрюша, Свинка и тому подобные, — в чем он никому никогда не признавался.

Путь снаряда на глазах Игоря Ивановича был недолгим: схваченный храповым приспособлением, на секунду качнувшись в металлическом захвате, полутонная, чуть не в рост человека махина укладывалась на тележку, чтобы встать в питатели нижних зарядников, расположенных в подачной трубе. Работу верхних зарядников Игорь Иванович видеть уже не мог, но мысленно проводил снаряд и в перегрузочное отделение, а оттуда и непосредственно в башню на зарядный лоток перед распахнутым зевом орудия.

Когда стрельба шла одиночными выстрелами да еще и одним стволом, когда работы внизу было мало, Игорь Иванович позволял себе, услышав ревун, уноситься под заданным углом возвышения вместе со снарядом к условной или безусловной цели. При полном заряде снаряд главного калибра пребывает в полете до восьмидесяти секунд, это больше минуты, в эти длительные мгновения Игорь Иванович внутренним воображаемым зрением видел и мельчайшие, одному ему известные штрихи на разгоряченном теле снаряда и одновременно с двухсот-, а то и трехсотметровой высоты (в зависимости от угла возвышения) обозревал море, берега, облака, землю — все, что мог бы увидеть и сам снаряд, будь у него глава и способность восхищаться полетом.

Сейчас, когда из-за невозможности стрелять третьей и четвертой башней вторая била тремя стволами, Игорь Иванович не имел ни секунды времени для совершения своих воздушных прогулок, хотя дорога до Красной Горки была и недалней и знакомой. Вместо воображаемого парения над заливом он в три ручья обливался потом в нижнем зарядном погребе.

С наступлением темноты огонь с обеих сторон прекратился.

В ночь на 8-е, в метель, в основном силами красных курсантов пытались атаковать крепость по льду. Два батальона полка особого назначения даже ворвались в город главным образом благодаря скрытности и внезапности, но были сметены мятежниками, а разящая картечь фортов не дала подойти резервам. Курсантов полегло много и на льду, и подо льдом, и в городе.

Провал первой попытки штурмом взять крепость многие объясняют недостаточной политической подготовленностью атаки, будто с винтовками наперевес и осколочными гранатами Лемона курсанты и солдаты шли на дискуссию.

«Дискуссии» предшествовала двухдневная артиллерийская подготовка.

Прибывший в Петроград с началом мятежа Троцкий нетерпеливо требовал наступления, убежденный в том, что мятежники выкинут белый флаг, стоит только открыть огонь по крепости. 7 марта Северной группой войск было выпущено по крепости и фортам 2 435 снарядов, но и выпущенные 8 марта еще 2 724 так же никого ни в чем не убедили. Шестидюймовых снарядов было мало — только 85, остальные — трехдюймовые...

Артиллерия в условиях плохой видимости работала действительно слабо, лишь раскрывая замысел командования и предупреждая мятежников о возможной атаке.

Конечно, политработу в смысле постановки нельзя было отнести к разряду идеальной, но что ж уповать на моральный дух и политическую твердость, если пополнение того же 501-го Рогожского полка, полученное накануне, было совершенно необучено, и непосредственно перед штурмом им пришлось показывать простейшие приемы владения винтовкой и обучать стрельбе.

Командование довольно туманно представляло себе силу и слабость противостоящей стороны, впрочем, как

и своего воинства, ведь, кроме красных курсантских батальонов, готовых драться беззаветно и до конца, были и такие нестойкие полки, как, к примеру, 561-й из 187-й бригады, состоявшей чуть ли не поголовно из разложившихся элементов, пленных деникинцев да бывших махновцев. О слабой боеспособности полка трибунал Петроградского военного округа предупреждал заранее. Вот и получилось, что в начале операции 2-й батальон отказался идти в наступление. Коммунистическая прослойка, конечно, стала уговаривать бойцов и кое-как уговорила выйти на лед Финзалива. Участок атаки был нарезан полку серьезный: южные номерные батареи, форт «Милютин» и удар по Кронштадту с запада. А связь между батальонами практически отсутствовала, так что 3-й батальон шел по направлению к южным батареям № 1 и № 2 сам по себе. Для надежности управления неустойчивой солдатской массой батальон вели по льду колонной, и только когда были обстреляны с фортов артиллерийским огнем, рассыпались в цепь, подождали сильно подставшую 2-ю роту и пошли левее батареей на форт «Милютин», откуда им махали красными флагами. В сорока шагах от форта увидели выставленные мятежниками пулеметы и услышали предложение сдаться. Сдались все, за исключением комиссара батальона и четырех красноармейцев, которые решили вернуться и по дороге силой завернули 7-ю роту, которая тоже шла сдаваться.

Были случаи отказа идти в наступление и среди курсантских частей.

Освещая положение на Северном участке и настроение войск, комиссар Угланов сообщал в Петрогубком РКП(б) о настроениях гибельности и безнадежности, о том, что колебания настроения продолжались и утром 8 марта, в день атаки, так что сначала в атаку пошли только коммунисты и отважная часть беспартийных.

Личное руководство атакой и подбадривание атакующих ответственными политработниками и высшими военными работниками помогло увлечь курсантов в атаку.

Заняли форт № 7, ближайший от Лисьего Носа, но вскоре вынуждены были его оставить из-за подавленного настроения в результате сосредоточенного по форту № 7 огня двенадцатидюймовой артиллерии с фортов и кораблей. Форт № 7 к тому времени был разоружен, и отвечать было нечем.

Угланов честно доложил Троцкому, Лашевичу и Авро-

ву о том, что «вторичное поднятие войск на атаку фортвов неосуществимо».

Если не было порядка в полку Особого назначения, где вместо четкого исполнения боевого приказа два часа потратили на вдохновенное сочинение воззвания, из-за чего сорвали срок выхода на лед, так чего же было ждать от того же 3-го батальона 12-го стрелкового запасного полка, отказавшегося вовсе выступать в атаку в ночь с 7 на 8 марта. Вместо того чтобы дружно подчиниться приказу, красноармейцы стали хором кричать: «Дайте пицци, хлеба и шинелей!» Оказывается, им 6 марта не привезли ужин, седьмого они просидели целый день голодными, тогда помощник комиссара полка дал твердое обещание доставить продукты к утру 8 марта. Шинелей не было ровно у половины бойцов. В общем, после длительного митингования и уговоров батальон пошел в атаку.

Продукты поступили только 9 марта.

В Мартышкино не подчинилась приказу бригадная школа младшего командного состава 93-й стрелковой бригады 11-й дивизии. Когда школа прибыла на боевой участок 95-го полка и к ним вышел командир, красноармейцы стали выкрикивать: «Зачем нас сюда пригнали?» Поданная команда «смирно» не внесла успокоения. Пришлось применить карательные меры воздействия и удалить особо выделяющихся красноармейцев. Только после этих мер и широко развернутой партийно-воспитательной работы в массах школа была приведена в порядок. И уже при вторичном наступлении на Кронштадт многие красноармейцы вели себя героически и получили боевую награду.

Большое воспитательное воздействие на красноармейцев оказывала работа революционных военных трибуналов. Трибуналы живо реагировали на все нездоровые явления. Злостным смутьянам и провокаторам они воздавали по заслугам. Приговоры быстро доводились до сведения красноармейской массы. Наиболее важные приговоры печатались в типографиях. Политработники собирали красноармейцев, зачитывали вслух приговор и тут же его разбирали по косточкам, разъясняя, что трибунал делит нарушителей на злостных, обманутых и тупых. Красноармейцы обычно с одобрением относились к мерам наказания, которые накладывал трибунал.

Женщины, узнав, что на льду Финзалива после первого штурма остались раненые красноармейцы, умоляли ревтройку дать им возможность убрать раненых из-под

стен Кронштадта; продолжавшая греметь артиллерия их не остановила...

Единственным «трофеем» первого штурма стал захваченный на льду Вершинин, член «ревкома», матрос с «Севастополя», 1916 года призыва.

О трагических боях 8 марта не было сообщений ни в центральной печати, ни в петроградской прессе, лишь 9 марта президиум X съезда РКП(б) счел возможным и нужным дать соответствующее разъяснение только для делегатов съезда. Конкретную обстановку узнали только от Троцкого, прибывшего 10 марта в Москву.

«Кусаются куропатки», — пошучивали хмельные от успеха кронштадтцы, припоминая воззвание председателя Петроградского комитета обороны Зиновьева, обещавшего перестрелять кронштадтцев, «как куропаток».

Уставший от тяжелой работы, Игорь Иванович радоваться не спешил и даже уклонился от благодарности «ревкома». Он хорошо помнил, что в конце лета 1919-го, когда даже ему казалось, что у Ленина не осталось никаких шансов удержаться, события вдруг повернули вспять. И теперь в размышлениях о будущем Игорь Иванович вводил поправку на непонятную, необъяснимую, но совершенно реальную, берущуюся вроде как бы и ниоткуда силу большевиков. Но если система Гейслера, существующая для управления огнем, учитывает и движение цели за время полета снаряда, и колебания корпуса при качке, и ветер, и температуру, а стало быть, и плотность воздуха на разной высоте и позволяет с точностью предвидеть результат, то поправка на необъяснимое лишала Игоря Ивановича какой бы то ни было уверенности в конечных результатах своих дальних расчетов.

Когда на «Севастополь» прибыл из Финляндии бывший командир линкора Вилькен (как доказано было историками — английский шпион) и стал, как Суворов после Измаила, награждать нижних чинов серебряными рублями, Игорь Иванович из подбашенной шахты не поднялся, отговорившись необходимостью безотлагательных работ после проведенной стрельбы. Он отослал всех матросов наверх, а сам остался один и, разложив журналы по боепитанию, ничего не делал.

Личный состав построили поротно. Вилькен обходил строй и с деликатной подсказки старшего артиллериста и командиров рот жал награжденному руку и вручал

рубль. Чубатого из третьей котельной никто к награде не представлял, поскольку энергетику линкора в ту пору обеспечивали только первая и четвертая кочегарки. Но бравый вид и дерзкий взгляд чубатого Вилькену понравились, и в неотмытую руку кочегара легла белая тяжелая монета.

Для полноты картины заметим, что в это самое время мобилизованный из петроградского уголовного розыска Вася Шальдо, оставив на произвол судьбы питерских конокрадов, болтался в Военной гавани, уточняя места стоянки линкоров. «Севастополь» был ошвартован кормой у пирса Усть-Рогатка, а «Петропавловск» на корпус был выдвинут вперед. Вася прикидывал возможные углы обстрела.

Игорь Иванович сидел, уставившись в круглые, как шляпки молоденьких боровиков, заклепки на стойках стеллажей, внутренний взор его не охватывал событий, сотрясавших остров Котлин и прилегающие к нему форты, а уж тем более не простирался до Петрограда, однако для сомнений и неуверенности поводов было достаточно и в пределах своего корабля.

Природу этих сомнений можно было объяснить тем, что Игорь Иванович постоянно находил сходство в приемах и средствах, к которым прибегали противостоящие стороны. Именно в этом духе события развивались до последнего дня.

Оставшиеся после 3 марта на линкоре большевики и коммунисты, еще не лишенные полностью свободы действий в отличие от арестованного комиссара корабля товарища Турки, тут же решили подготовить линкор к взрыву. Игорь Иванович одному ему известными путями узнал, что сильно хлопочут по этой части трюмные специалисты Майданов Аркадий, Яночкин Павел, Иван Осокин и Туро Андрей. Хотели они пристроить подрывные шашки и в его хозяйстве, разумно решив, что линкор лучше всего ликвидировать через погреба главного калибра. Игорь Иванович стал убедительно разъяснять товарищам, что линкор лучше все-таки потопить, отведя куда поглубже и открыв кингстоны, а если взрывать его у стенки, непременно пострадает огромное множество народа, и для примера рассказал о взрыве линкора «Императрица Мария» на севастопольском рейде. Куда, например, отлетит башня и на кого упадет, рассчитать практически невозможно, а что улетит, и улетит далеко, — факт. Рассуждения эти показались Майданову подозрительны-

ми, да и сам Игорь Иванович с его упорной политической глухотой — подозрительным, и трюмные специалисты отправились искать более надежных союзников своему делу.

17-го днем, когда крепость грохотала, отбивая второй штурм, опять всплыла идея насчет того, чтобы взорвать «Севастополь», на этот раз чтобы не достался большевикам. Теперь за дело взялись офицеры. Минный офицер Былин-Колосовский тоже решил приладить взрывные шашки в образцовых погребах второй башни еще и потому, что в то время, когда линкор содрогался от стрельбы по наступавшим, во второй башне вдруг стало обнаруживаться множество неполадок, прямо непосредственно в башне: то вылетела гальваническая цепь, едва ее наладили, заклинило поворот башни, потом сгорел тридцатисильный мотор горизонтальной наводки, пришлось специальными размахами, наваливаясь по десять человек, двигать башню с черепашьей скоростью, в элеваторе что-то заклинило — словом, снаряды не подавались и расхода почти не было.

Неполадок в артиллерийском хозяйстве ко дню второго штурма было больше чем когда бы то ни было; на пятом, седьмом и девятом плутонгах противоминного калибра выходили из строя одно орудие за другим, разумеется, не без помощи комендора девятой роты Алексева Степана. Трюмной команде во время второго штурма был дан приказ сделать крен в семь градусов, чтобы эффективней можно было бить по наступавшему по льду Троцкому, но почему-то именно семь градусов, уже заложенные в автомат стрельбы, никак было не дать, получалось либо больше, либо меньше.

На поверку крена ринулся сам старший артиллерист Гайцук со старшим механиком Козловым.

Все помнят, что Гайцук кончил плохо.

Установив свои семь градусов, изматерив трюмных последними словами, он полетел на мостик носовой боевой рубки к своему шестиметровому дальномеру командовать огнем, где его и достал из винтовки кто-то из военморов: мостик у дальномера со всех сторон открытый.

Первым выстрелом ему прострелили ногу, сделав как бы предупреждение, но, несмотря на рану, Гайцук мостика не покинул и продолжал командовать, убежденный, что и его судьба и судьба России решается сейчас там, где рвутся снаряды «Севастополя». Тогда вторым выстрелом его все-таки убили. Кстати, пуля попала в рот. Командование принял артиллерист Мазуров. Спрятавшись

в бронированном коконе боевой рубки, оставив на мостике только дальномерщика и гальванера, он стрелял до самого вечера, до восемнадцати часов, то есть пока командование крепости не убедилось, что артиллерией натиска не сдержать и надо, вооружив команды винтовками, сводить матросов на лед.

Игорь Иванович видел, слышал и главным образом ощущал, что едва ли не каждая команда, едва ли не каждый приказ и распоряжение или не выполняются вовсе, или выполняются как-то двусмысленно. Хотя бы тот же арест комиссара линкора Турки. Что ж это за арест, если стоило командиру Карпинскому дать приказ сходить на берег, как товарищ Турка, сидевший под арестом, убежал на верхнюю палубу и стал объяснять команде, что они делают и куда идут, и вместе с другими агитаторами удержал матросов на корабле и сделал раскол среди команды. А уже к двадцати двум часам сам товарищ Турка организовал два отряда для подавления мятежников, занятия города и наведения порядка.

Особенно успешно действовал второй отряд под командованием товарища Петрова. Оставшийся на корабле Турка регулярно получал доклады: обстреляны неизвестно кем на стенке, пробрались на Ленинский проспект, обстреляны у Инженерного моста из пулемета, заняли Дом народа, где помещался «революционный комитет», обезоружили рабочие и милицейские караулы, выставленные от «ревкома». В половине двенадцатого ночи была уже создана временная власть и выпущено соответствующее воззвание.

Для полноты описания событий необходимо вернуться на три с половиной часа назад на борт «Севастополя», где от неизвестных причин в третьей кочегарке вспыхнул пожар. Комиссар товарищ Турка сразу же принял энергичные меры, и в первую очередь выпустил из-под ареста старшего механика Козлова для руководства тушением пожара. Отличилась своей энергичной работой трюмная часть, которая и ликвидировала весь пожар, длившийся не более получаса.

Образование, полученное Игорем Ивановичем, позволяло ему обнаружить бьющее в глаза сходство между событиями 9 термидора 1794 года в городе Париже с событиями начала марта в Кронштадте. В заговоре против якобинцев, как более-менее ясно помнил Игорь Иванович, соединились и правые и левые. Забыв Колло д'Эрбуа, он помнил Бийо Варенна, оба, как известно, представляли

левых термидорианцев, к ним присоединились и правые дантонисты, и жирондисты, и шометисты, и эбертисты, и, что характерно, вся эта пестрая коалиция опиралась на беспартийных, то есть на «болото». Именно в беспартийном облике выступили в кронштадтских событиях эсеры и меньшевики (правые), кадеты и максималисты (левые), монархисты (крайние правые) и анархисты (крайне левые). Одни объединились, чтобы свергнуть диктатуру якобинцев, другие — для низвержения диктатуры коммунистов.

На другой день после термидора правые взяли верх над левыми, и началась ликвидация революции. Нечто похожее началось и в Кронштадте, когда выяснилось, что «ревкому» (левые) отведена роль ширмы и придатка при «штабе обороны» (правые).

Впрочем, жалеть о том, что Игорю Ивановичу не пришлось на ум сравнивать эти два события, не приходится, ведь термидорианцы достигли полного успеха, раздавили якобинцев, их коалиция оказалась несокрушимой. А даже иллюзорная вера в победу мятежников могла бы увести Игоря Ивановича ох как далеко, сначала в Финляндию, а потом и еще дальше.

Чубатый из третьей котельной, дважды слушавший в кают-компании кондукторов лекции проголодавшихся историков, теоретически тоже мог бы провести параллель, если бы запомнил названия партий или хотя бы их политическую ориентацию. Но в продолжение и первой и второй лекций по истории Великой французской революции он больше думал об изысканной простоте гильотины. Как человек, в сущности, незлобивый, он думал о том, как повезло в конечном счете Николаю II и его семье, что их расстреляли, а не обезглавили. Дивился дикости французов, услышав, что изобретение сердобольного доктора Гильотена и по сегодняшней день вершит средневековые казни.

Краткие сведения из истории французских революционных потрясений сообщаются здесь не для того, чтобы публика узнала в авторе внимательного читателя старых журналов. Эти отступления необходимы для разъяснения последовавшего после мартовских событий переименования линкора «Петропавловск» в «Марат». В то же время переименование «Севастополя» в «Парижскую коммуну» в пояснениях не нуждается, поскольку штурм мятежной крепости, как всем известно, происходил в дни пятидесятилетия Парижской коммуны, полувековую годовщину ко-

торой кронштадтский «ревком» отмечать отказался, о чем и было сообщено в газете. Подавление мятежа пришлось именно на 18 марта, а потому разумно и назидательно было назвать укрощенный линкор именно «Парижской коммуной», а не как-нибудь иначе.

В сущности же, исторические аналогии мало что проясняют в окружающей нас жизни, служат по большей части для развлечения *жаждущих просвещения красавиц* и являются свидетельством не столько образованности историка, сколько умения себя преподнести; для простых же смертных исторические аналогии не более чем утешение, дескать, не мы первые... Чтобы не брать на себя ответственность за сказанное полностью, можно сослаться на объективнейшего идеалиста Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, умевшего буквально во всем найти что-нибудь разумное; так даже он, изучив всю историю насквозь и с печалью перевернув последнюю страницу, написал: «Опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научались из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее». И объясняется это тревожное положение тем, что при желании всегда без труда можно найти какую-нибудь причину или обстоятельство, которые якобы мешают в сегодняшней действительности воспользоваться умным примером или хорошим уроком истории.

Со времен Иисуса Навина, штурмовавшего надменные башни Иерихона, непреклонно веками возвышавшиеся у входа в Ханаан, известно, что на крепость стен полагаются лишь слабые духом.

С тех же библейских времен известно, что ополчение, идущее в бой под водительством двенадцати разноплеменных шейхов, — лишь зыбкая масса, подверженная анархистским настроениям, и никакой реальной военной силы не представляет.

И три тысячи лет назад и ныне шансы на победу были только у регулярной армии, подчиняющейся приказам одного вождя; в истории не исчерпать примеров того, как авторитет полководца становился источником сплочения нации.

У засевших в Кронштадте не было и не могло быть вождя, способного остановить солнце на небе, а тьма была единственной броней, способной прикрывать солдат, готовых идти по зыбким ледяным полям на штурм фортов, на штурм неприступной крепости.

Впрочем, беспримерный штурм морской крепости пе-

хотой со льда был предпринят и шведским генералом Майделем в январе 1705 года. Шли на штурм в стужу и пургу, но заблудились и в метели свой Рычерт, Риссерт, Ретусари, или, как он именовался на немецких картах, Кетлинген, так и не нашли, иначе, кто знает, сколько бы еще крови впитала в себя земля пустынного и мрачного острова, поименованного Котлином.

Куда с бóльшим успехом предпринял штурм со льда первый адмирал в истории России Федор Матвеевич Апраксин. Шесть дней, вот так же в середине марта, он вел осадный корпус в 13 тысяч человек по льду от Кронштадта на Выборг, прошел 130 километров и крепость, великолепную по тем временам, блокировал и взял, прирезав «с божьей помощью» к топким ижорским землям «наших дедич и оттич», отданным в свое время слабосильным Михаилом Романовым «за себя и за потомство», важнейший приграничный кусок...

Но что за смысл разбирать историю по косточкам, если не найти в ней ответ на самый простой вопрос: почему одним людям или, к примеру, городам выпадает судьба фантастическая, а другим — никакая?

...Решающими в судьбе мятежников стали 16 и 17 марта.

Утро 16-го выдалось ярким, солнечным. Снег мокрел и оседал в безветрии под теплым дневным солнцем. Воздух был по-весеннему пахучим, легким, пропитанным озоном, казалось, если поглубже вдохнуть и задержать дыхание, можно оторваться от земли и чуть-чуть повисеть, не касаясь ногами снега.

В такую погоду не верится, что беспредельное небо, обволакивающее землю, пустынно и мертво, а верующему человеку и вовсе кажется, что, будь глаза позорче да знай, куда смотреть, и увидишь врата царства небесного, ангелов и апостола с ключами.

На самом краю искрящейся снежной равнины, подштрихованной ровными полосками впаянных в лед фортов, призрачно и нереально проступал Котлин с крутым куполом Морского собора, заводскими трубами, портовыми кранами, казармами и мачтами кораблей.

И небо, и необозримые снежные поля, окружающие форты и крепость, были чисты и безлюдны.

Штурм начался с неба.

Самолеты, неуклюжие и трескучие, до этого лишь

безобидно засыпавшие Котлин листовками, с утра 16 марта бомбили корабли и гавань.

Бомбовые удары по крепости и кораблям носили скорее демонстрационный характер, так как несколько десятков пудов бомб не могли нанести сколько-нибудь заметного урона осажденным.

Сверху были отлично видны забитые эшелонами ближайшие станции.

Ораниенбаум, Старый Петергоф, Новый Петергоф, Лигово, Мартышкино были заполнены непрерывно прибывающими войсками, снаряжением и артиллерией. В укрытиях ждали выхода на боевые позиции уже повернувшие жерла своих орудий к морю пять бронепоездов и бронелетучки. Занимали исходные позиции полки и батальоны. На нешироких улицах Ораниенбаума сталкивались движущиеся в разных направлениях колонны войск, люди бранились так, будто им и не предстояло идти через несколько часов плечом к плечу на смерть. Шла заготовка и доставка к берегу, к местам, обозначенным для схода войск на лед, штурмового снаряжения: свозили шести, доски, деревянные лестницы для преодоления трещин и разводьев.

Вновь прибывающим войскам уже некуда было втиснуться на узкой полоске побережья, и доставленную в Гатчину 81-ю бригаду задержали с разгрузкой и вскоре завернули вовсе, направив в низовья Волги на подавление мятежных банд.

Как нельзя было с аэропланов, непрерывно круживших над кораблями и островом, увидеть низовья Волги, так же не видны были и лица истощенных хроническим недоеданием бойцов, не видно было ни оборванного обмундирования, ни расквашенной, непригодной совершенно обуви. Не видно было сверху и того, как бойцы, забывшие, когда сполна имели продуктивное довольствие, к собственному удивлению, получали по два фунта хлеба при полном приварке и жирах, а в результате неразберихи и сутолоки, передвигаясь от одной станции к другой, ухитрялись получить суточный рацион и два и три раза.

Двадцать пять аэропланов, презрев беспорядочную пальбу, испятнавшую ровное белесо-голубое небо белыми бутонами разрывов, поливали корабли и причалы из пулеметов и сбросили триста бомб. Одна угодила прямо в палубу «Петропавловска».

В два часа пополудни отходную мятежникам грянула артиллерия.

Кронштадт яростно грызлся. От каждого залпа линкоров, казалось, вздрагивал весь остров разом.

К вечеру потеплело, и глухие двойные удары трехсот орудийных стволов, сотрясавшие весь день небо и землю, постепенно стали стихать, словно утоая в поплывшем надо льдом тумане.

Лед парил, поднимаясь легким белесым дымком в прохладное светлое небо.

Туман стоял невысокий, и с командного пункта на южном берегу были видны торчавшие островками над зыбкой, сонно клубящейся пеленой верхушки фортов и шлем Морского собора в Кронштадте.

Еще пустовали приготовленные для приема раненых обширные помещения в самых больших зданиях по обоим берегам залива.

Детские учреждения из фронтовой зоны были эвакуированы, а больницу на станции Разлив перевели в подвальное помещение.

Крепкий характером командующий Западным фронтом, ровно два месяца назад отметивший свое двадцативосьмилетие, щуря левый глаз, разглядывал в медную подзорную трубу форты, крепость и очаги пожаров в местах удачных попаданий; труба была получена в 1919-м после взятия Омска в дар от астронома-большевика Павла Карловича Штернберга, преподававшего курс астрономии в Московском университете. Сейчас, лично возглавив заново сформированную 7-ю армию и получив в подчинение «во всех отношениях» все войска Петроградского округа и Балтийский флот, командующий Западным фронтом держал в руках все нити боевых действий против мятежников.

Командарм негодовал: стреляли плохо, эффективность огня оказалась ниже всяких ожиданий, хотя всю артиллерию собрали в один кулак пять тяжелых дивизионов и литеры «Е», «С» и «М» из дивизионов ТАОН¹ резерва главного командования при поддержке ста орудий средних калибров бесплодно молотили Кронштадт, израсходовав половину боезапасов, имевшихся на батареях, а запасы, надо сказать, были огромные. Крепость отвечала сильно и метко.

В Петрограде дребезжали стекла.

К ночи небо подернулось высокими быстрыми облаками, в безветрии набежавшими откуда-то из-за края не-

¹ ТАОН — тяжелая артиллерия особого назначения.

бес то ли для того, чтобы дополнить собой величественные, но уже очень простые декорации, то ли для того, чтобы скрыть от нежных весенних звезд готовую разыграться кровавую трагедию.

В полночь пехотные полки стали сходить на преющий, дышащий под ногами лед.

Пышным костром полыхала спасательная станция, зажженная метким огнем мятежников; обозначенные вешками места спуска на лед 237-го Минского и 235-го Невельского полков славной 27-й Омской дивизии были ярко освещены высоким пламенем жарко и с треском горевшего сухого дерева. Изменить демаскированный участок было уже невозможно в связи со скученностью войск и только что проведенной передислокацией 80-й бригады. Ровно в 4 часа 15 минут, с задержкой всего на 15 минут от установленного боевым приказом времени, оба полка начали сходить на лед.

Живая, колышущаяся щетина штыков над спинами солдат отражала красные всполохи догорающей станции и казалась уже обгаренной кровью.

Ото льда тянуло могильным холодом, ступать на него в хлюпающую под снегом воду было жутковато, но и откладывать было нельзя никак: 12-го, на Василия-капельника, прошел вешняк, обрызгав снег и лед первым дождичком, а впереди был Алексей-теплый, этот уже — с гор-вода.

На лед сходили колоннами, рискуя и перед противником, и перед фактором ненадежности льда, но, учитывая неуверенность в настроении солдатской массы, пришлось считаться с тем, что в колонне боец чувствует себя более спокойно, чем в цепи, да и управлять и маневрировать колонной проще, чем цепью.

В «Красной летописи» будет сказано о том, что «никогда в годы гражданской войны красноармеец не был так хорошо обмундирован и так хорошо не питался, как под Кронштадтом». Это справедливо в отношении питания и обмундирования, а вот с обувью решить вопрос до конца так и не удалось, часть красноармейцев шла по мокрому льду и снегу в набухших валенках, попадались бойцы и в лаптях. Зато у каждого красноармейца на этот раз было по 100—150 патронов, в то время как на первый штурм бойцы шли, имея по 3—4 обоймы патронов да по нескольку гранат Лемона.

Треть делегатов шедшего в эти самые дни в Москве

X съезда РКП(б), покинув зал заседаний, прибыла в Петроград для участия в подавлении мятежа.

Колеблющаяся стихия кронштадтского мятежа в своем пестром многолюдстве несла в себе мало определенности, ясности и оформленности.

Ей противостояла сравнительно малочисленная, но монолитная и несокрушимая организация.

Самые стойкие и негибкие бойцы, цвет партии, ее авангард и вожаки, рядовыми солдатами сошли на лед, став проводниками единой и негибкой воли.

Эта крайняя, невероятная, отчаянная мера могла быть понята лишь теми, кто сознавал всю опасность мелкобуржуазной контрреволюции в стране, где пролетариат составляет меньшинство.

На зыбком, тающем льду, окружившем небольшой низменный остров, замыкающий горло мелководного залива, решалась судьба революции.

Утопая в ночном мраке, колонны все дальше и дальше уходили от берега. Неразличимые в рядах бойцов шли 300 делегатов партийного съезда, вселяя в наступающую армию решимость и твердость примером личного мужества и самопожертвования.

Голубовато-белые спицы корабельных и крепостных прожекторов, метнувшись по высоким облакам, падали вниз и шарили по ледяной поверхности залива, словно руки слепого, отыскивая жертву для еще молчавших орудий и пулеметов.

В затаившейся крепости ждали атаки.

За облаками скользил ослепительный, бегущий против ветра ледяной глаз луны, густое, непроницаемое небо в сумятице летящих облаков было бесстрастным и молчаливым.

Передние шеренги колонн хрустели подтаявшим и успевшим заледенеть настом, а сзади слышался лишь чавкающий звук сотен ног в жидком месиве снега.

За каждой колонной тянулись две-три нитки телефонного кабеля, ни одной из них не суждено уцелеть, как не уцелеют и телефонисты, брошенные на поиски обрывов и восстановление связи.

Пехота падала на лед, подкошенная мутным лучом прожектора, но едва он уходил в сторону, бойцы без команды поднимались и шли в мокрых, липнувших к ногам белых маскировочных халатах, растворяясь в тумане на расстоянии шестисот шагов.

Можно было не падать в мокрый снег, можно было не

падать в воду, проступавшую надо льдом, если бы знать, что для защитников крепости прожектора не могли высветить ничего дальше двухсот — трехсот шагов, потому что ослепительный, отливающий синевой, как сталь хорошего клинка, луч упирался в туман, как в стену.

Лишь под утро атака шестого форта на севере и второго на юге обнаружила наступавших фактически под крепостными стенами.

Уцелевшие свидетели скажут о *глубоком впечатлении*, которое производили рев орудий, грохот разрывов, горы вздыбленной воды со льдом, сыпавшиеся с пеба камни, поднятые взрывами тяжелых снарядов со дна на мелководье, скажут, как становилось во рту кисло и долго звенело в ушах от режущего воя снарядов полегче, тех, что ударялись о лед и рикошетом улетали дальше искать свою кровавую добычу...

Лед вздрагивал, трескался, образуя разводья и полыньи.

Колонны развернулись в цепи, и уже ничто не могло сдержать яростный натиск пехоты, знавшей, что выжить если и удастся, то только там, на острове.

Ни крепостные стены, ни колючая проволока с электрическим током, ни фугасы, вздымавшие атакующих вместе со льдом в воздух, ни испепеляющий огонь двенадцатидюймовых орудий, способных сокрушать дредноуты и города, не смогли удержать пеших бойцов в окровавленных халатах, с черными лицами, оглохших от орудийного грохота и винтовочной пальбы, шедших с примкнутыми штывками прямо в ад.

В десять утра бой громычал во всех гаванях и на улицах Кронштадта.

Поначалу раненых было мало, после орудийных разрывов они уходили под лед вместе с живыми и убитыми; воздушные разрывы «шимозы» давали поражение в голову и укладывали убитых почти правильными концентрическими кругами. Наткнувшись на ружейно-пулеметный огонь, войска стали нести потери и убитыми и ранеными.

Противника, загнанного в каменные казематы, добить не удавалось, ручные гранаты в большинстве своем не рвались, артиллерия, запутавшись в сигнализации из-за нехватки ракет нужных цветов, начинала бить по уже захваченным фортам; штурмовавшие спешно с потерями отходили, чтобы через три часа начать все сначала.

Минцы стремительной атакой выбили противника и овладели фортом «Павел», Невельцы, несмотря на силь-

ный ружейно-пулеметный огонь, особенно с правого фланга, со стен Каботажной гавани, прорвали проволочные заграждения у кромки берега, неся потери, овладели городским валом, ворвались в город и ввязались в затяжной бой на Цитадельной и Сайдашной. Минцы устремились по Александровской улице и Северному бульвару...

Когда в обоих полках убитыми и ранеными выбыло 90 процентов командного состава, управление боем было практически утрачено.

Израненные, в окровавленных халатах полки начали отход.

На прикрытие правого фланга отходивших невелицез были брошены остатки бригадной школы.

Школа дралась великолепно и погибла полностью.

Навстречу отступавшим попадались санные упряжки с продовольствием, боеприпасами и пустые, за ранеными; лошади, спрятанные в огромные балахоны, сшитые из казенных простыней с несмыываемыми штампами госпиталей, больниц и полковых хозяйств, казалось, приделались для участия в каком-то карнавале.

Уцелевших, добравшихся до южного берега невелицез и минцев удалось собрать у дымящихся развалин спасательной станции в два батальона неполного состава и вывести в оперативный резерв командующего Южной группой. Через три часа еще не пришедших в себя, не успевших понять, на каком они свете, их снова бросят в бой спасать от разгрома прижатую контратакой мятежников к Петроградской гавани разбитую Сводную дивизию.

Эхо артиллерийских раскатов кувыркалось между стенами домов, полыхали пожары; очищенные от мятежников здания, словно воскреснув, били в спины наступающим кинжальным пулеметным огнем, и уцелевшая пехота разворачивалась, чтобы снова штурмовать разбитый, прорывленный со всех сторон дом.

Положение частей, ворвавшихся в город, было неустойчивое. Командиры видели, как части из-за убыли людей иссякают и не могут не только развивать успех, но и удерживать занятое.

Громадную услугу наступающим сослужили пулеметы, особенно в уличных боях, то же самое можно сказать и о пулеметах противника, наносивших наступающим огромный урон. Удобные для продольного обстрела улиц позиции мятежники без труда устраивали на балконах. Ликвидировать такие огневые точки при отсутствии у наступающих полевой артиллерии было затруднительно. Не-

даром впоследствии, теоретически осмысливая большой практический опыт, командарм-7 укажет на артиллерию и бронесилы как на главные средства при подавлении мятежей в городах.

Здесь же уличные бои велись еще неумело, войска расплылись на мелкие группы, управлять которыми при нехватке младших командиров было практически невозможно; уничтожались такие группы с легкостью. Рассеянные по незнакомому городу красноармейцы, увидев командира, хватались за кобуру: «Ты, командир, командуй нами!..» Большие потери несли войска от неразберихи, перепутанности частей и, самое главное, от невозможности наладить командование. Потери в командном составе доходили до 50 и более процентов, в отдельных частях до 90.

Под натиском контратакующих мятежников части Сводной дивизии стали беспорядочно откатываться к Петроградской пристани, здесь и наткнулся начдив Сводной товарищ Дыбенко на прибывший неведомо по чьему приказу, находившийся в резерве взвод из 5-й роты овыкузаповцев, слушателей Объединенной высшей школы Западного фронта. Каждый из бойцов тут же получил приказание пробиваться от пристани в город и брать под командование группы красноармейцев, оставшихся без командиров. После этого счастливого случая начдив уже сам подходил к каждому бойцу, похожему на командира, с вопросом, не овыкузаповец ли он...

Телефонная связь, прежде чем прерваться, успевала донести требование командования действовать энергично, занятое удерживать во что бы то ни стало, невзирая на потери. Восстанавливать связь было некому, телефонистов не стало из-за ранений, а резервы и без того были брошены на зыбкий, содрогающийся под ногами атакующих лед.

Мятежники на автомобилях перебрасывали отряды матросов, косивших из пулеметов прорвавшиеся в город группы.

К южному берегу в сторону Маргышкино и Кронштадтской колонии потянулись остатки обескровленных, разбитых частей.

К пяти часам вечера мятежники выбили атакующих из города, те зацепились за укрепления в гаванях, прижались к кромке льда.

Начдив Сводной дивизии, главной атакующей силы Южной группы, доложил командованию о своей неуве-

ренности в успехе и о возможности оставления города. Командование немедленно бросило в огонь два собранных в неполные батальоны полка 79-й бригады и боевым предписанием № 541 отозвало начдива товарища Дыбенко и военкома товарища Ворошилова на отдых в Ораниенбаум. Выполнить предписание оказалось невозможным, так как штаб дивизии находился непосредственно в зоне огня, почти окруженный большой организованной группой мятежников. Товарищ Ворошилов, выбежав из штаба, под свист пуль лично собирал бойцов и организовывал оборону штаба...

Это был час отчаяния и предельного напряжения сил с обеих сторон. И снова, как дружина из-за Вороньего камня на чуждом льду, как Засечный полк на Куликовом поле, на помощь выбитой из крепости пехоте от Мартышкина по льду пошла конница рубить и полосовать клинками опьяненных призраком победы матросов.

Силы наступающих были истощены, некому было брать пленных, занимать заявившие о сдаче линкоры, минную и машинную школы, не было сил и для преследования бежавших мятежников.

Веселый золотой круг уже не слепил, а медленно валился к горизонту, где и увяз одним краем в густой серой пелене отгремевшего побоища.

К концу дня 17-го, узнав, что «вожди» ушли в Финляндию, мятежники начали сдаваться.

Победителей к этому времени на острове было меньше, чем побежденных.

После того как с линкоров дали радио о готовности сложить оружие, на «Севастополе» наступило тягостное и непонятное время, время первой и второй вахты с нуля часов до утра. В городе еще гремел бой, отчаянно сопротивлялся форт «Риф», прикрывавший бегство «вождей», обещавших настоящую свободу, настоящие Советы, амнистии, демобилизации и прочные пайки, а серые громады скованных льдом дредноутов казались уснувшими, безучастными, покинутыми людьми.

Кто чувствовал себя виноватым, двинул в Финляндию, другие на пороге новой судьбы пошли в баню, надевали свежее белье, у кого оно было, кто-то даже попытался чистить палубу, не мытую десять дней.

Поразительное дело, но многим не только оставшимся, но и сбежавшим в Финляндию все происшедшее представлялось делом домашним, семейным, ссорой между своими, если даже главарь мятежа Степан Петриченко после

недолгого пребывания в Чехословакии раскаялся и в середине двадцатых годов вернулся в Советскую Россию.

На следующий день в одиннадцать утра по адмиральскому трапу у кормового среза мимо иллюминаторов командирского салона на борт линкора «Севастополь» стали подниматься изможденные штурмом курсанты.

Все часовые у помещений с арестованными офицерами были заменены курсантами, курсанты встали у боевой рубки, на мостике, в ходовой, у главной машины и закрытых на замок башен главного калибра.

— Ну что, герои!.. — пытаюсь сохранить достоинство, хорохорились военморы, встречая курсантов.

— Герои на льду остались, у фортов лежат. — Победители были сдержанны и суровы.

Жалкие, виноватые, голодные, еще вчера хмелевшие от лести — «краса и гордость революции», «надежда свободы», — а сегодня клешники, жоржики, иванморы, матросы пытались заговаривать, но курсанты, еще не очнувшиеся от ужаса ночного штурма, еще не пережившие смерть товарищей, еще не знавшие толком, кто из друзей уцелел, а кто нет, на разговоры не шли. Странно было видеть солдатские шинели на борту линкора, на палубе и у трапов рядом с сонными и безучастными матросами, слонявшимися кто где в ожидании своей участи, ставшими вдруг пассажирами на собственном корабле. Если еще две недели назад эти же люди, шагавшие стройными колоннами на площадь Революции, казались монолитной, несокрушимой силой, то теперь это были хаотически рассыпанные части переставшего существовать механизма, и лишь по инерции каждая из частиц еще продолжала свое бессмысленное кружение, еще продолжала двигаться в пространстве, ограниченном бронированными бортами корабля.

Вскоре после обеда неподалеку от кормы на льду остановился обоз из двух десятков заложенных в дровни толстых крестьянских лошадок, мобилизованных по указанию начальника штаба тыла Южной группы товарища Штыкгольда. От красноармейцев, сопровождавших обоз, отбежал командир в суконном островерхом шлеме и валенках с галошами. Командир велел часовому у трапа позвать какого-то Распопова. Распопов появился из недр корабля довольно быстро. Командир сделал десяток шагов к борту по расквашенному оттепелью снегу и прокричал Распопову просьбу дать ему человек с полста, чтобы поработали на льду.

Прямо у четвертой башни стали строить первых под-вернувшихся под руку.

— Артиллеристов давай, пусть на работу свою посмотрят! — видя старания Распопова, прокричал командир.

Особисты переписали построившихся, и отряд сошел на лед. В колонне по четыре в сопровождении конвоиров, кативших рядом на дровнях, матросы двинулись по большой дуге в сторону Петроградских ворот.

Тяжелые флотские башмаки через сто шагов стали насквозь мокрыми, санные полозья оставляли за собой колеи, быстро набухавшие водой. Лошади скользили, обоз двигался медленно. Шагавшие по воде матросы с завистью поглядывали на дровни с одним ездовым и одним солдатом с винтовкой и продолжали месить рыхлый и влажный снег.

Сначала объехали несколько огромных черных дыр, в первой же дыре матросы увидели, как медленно кружит, раскинув рукава, белый маскировочный халат, потерявший своего хозяина и теперь будто бы высматривающий его в непроглядной тьме подо льдом. Кое-где над широкими трещинами и полыньями остались лежать доски и дощатые лестницы, с которыми наступавшие шли на штурм; в полынях плавал битый лед, местами окрашенный бурыми пятнами, сено со сгинувших подо льдом саней, какие-то обломки, сор...

В снежной каше, истоптанной тысячей ног, валялись оружие, одежда — шинели, какие-то куртки, рваные окровавленные маскировочные халаты, — снова доски, газеты, подсумки, пулеметные ленты с остатками патронов. Кое-где были видны люди, неторопливо собиравшие и складывавшие в одно место оружие, но даже с прибывшими моряками и обозными живых на этом огромном снежном пространстве от проволочных заграждений у берега и до фортов, призрачно висевших в зыбком влажном воздухе, живых было меньше, чем мертвых.

Севернее Петроградских ворот, как раз на рубеже наступления 32-й бригады 11-й дивизии, старший конвоя скомандовал остановиться.

— Ваша задача, — без обращения сказал старший в буденовке, — собрать наших товарищей, сложивших головы в бою с гидрой контрреволюции! Перенести их в сани — вот ваша задача. Оружие павших бойцов — не ваша задача. В каждого, кто возьмет в руки оружие, конвой стреляет без предупреждения.

Когда стали расходиться по льду, кто-то из матросов, увидев под ногами винтовку, поднял ее. Тут же прогремел выстрел. Матрос даже не понял, что это промахнулись по нему. Он стоял, держа винтовку со скособоченным от удара в лед штыком за ремень, и недоуменно смотрел на выстрелившего солдата. Тот передернул затвор и готов был стрелять снова, но медлил.

— Брось ее на... ведь застрелит с испугу! — крикнул кто-то из своих.

Матрос смачно плюнул и откинул винтовку далеко в сторону.

Во время двух штурмов побито было так много народу, что хоронить каждого в отдельном гробу не было никакой возможности. Только на улицах Кронштадта подобрали пятьсот мертвяков. Весь день по мастерским крепости стучали молотки и топоры, сколачивая вместительные двухметровые в поперечнике братские гробы.

Матросы разбились по двое, поскольку в одиночку и поднимать и тащить было не с руки.

Игорь Иванович и чубатый из третьей котельной в паре не работали и даже не замечали друг друга, как, впрочем, и все остальные, занимались своим печальным делом как бы сами по себе, молча. Молчание более всего подходило к этой работе, даже конвойные переговаривались вполголоса.

Снег и лед, словно хрупкая, непрочная бумага, еще хранили запись недавних событий.

Вот этот лежит один, в откинутой руке шапка с ватным султанчиком, вырванным шальной пулей.

А этих уложила удачная очередь пулемета, лежат четверо, срезанные, как косой, только и разницы — один еще пытался ползти и полз немного, а эти затихли там, где упали.

Здесь удачно жажнула картечь, а вот здесь фугас, видно, не зря проломил лед, если края пятиметровой полыньи так щедро измазаны бурой краской.

У проволочных заграждений, что почти у кромки берега, особенно много убитых, лежат не только на снегу, но и на кольях, на гамаках из колючей проволоки, на камнях и за камнями...

Те, кто хлюпал сейчас по тяжелому мокрому снегу, складывая на дровни оледеневшие в последнем движении жизни, негнущиеся, топорщащиеся друг от друга трупы, те, кто озабочен сейчас был лишь тем, как побольше нагрузить в одни сани (саней было мало, а подбирать вон

сколько), всего несколько часов назад, в пору первой и второй вахты, когда линкор был вне войны и плена, слонялись по всем его палубам, томились в кубриках и на постах, непрерывно и главным образом в одиночку выстраивая оплот своей личной невиновности или самой малой вины в предвидении необходимости в скором времени отвечать на вопросы не стозевым ревом толпы, а каждому в отдельности и за себя.

Никогда люди, даже самые различные, не бывают так похожи друг на друга, как в ту минуту, когда, отъединившись ото всех, от всего мира, они погружаются мысленно, в воображении своем в строительство крепости своей правоты или благополучия. Здесь все законы, управляющие человеческими судьбами, отступают куда-то, теряют свою силу и право, и вперед выходят, соединившись, помогая друг другу, лишь Милосердие, Справедливость и Удача. Так уж устроена душа человеческая: когда надежда не находит опоры и помощи нигде и ни в чем, когда последняя беда, какую и вслух и про себя даже поименовать страшно, надвигается, лишая воли и сил, последним прибежищем души остается вера в чудо. Цена на чудеса на публичных торгах сильно унала, и потому каждый о чуде думает лишь про себя, словно боится, что на всех этой редкой благодати все равно не хватит.

Игорь Иванович Дикштейн на чудо не надеялся и, зная наверняка, что мятежный экипаж на линкоре не оставят, загодя оделся потеплей, распахал по карманам самое необходимое и надел добротные сапоги, ждавшие своего часа.

После того как работа на льду была закончена, командир в островерхом шлеме начал метаться по начальству, не зная, куда ему сдать своих. Ворчали и хозяева тощих лошадеенок, трудившихся из последних сил, шатаясь и скользя, весь долгий мартовский день дотемна. Наконец командиру удалось пристроить своих на допрос как бы без очереди, соблазнив начальство возможностью скорой отправки этой команды на берег в Мартышкино, откуда мобилизовали лошадей по гужевой повинности. Командир заботился о своих до предела измученных бойцах и думал, что одно дело плестись конвоем десят верст по льду вместе с арестованными, другое — ехать рядом в дровенках.

На вопросы Игорь Иванович отвечал толково, без суеты: «Со своего боевого поста не ушел, потому что мог на нем принести пользу революции. Да, стреляла башня.

Только взрыватель донный Разултовского с предохранителя не снимали, ни на первое, ни на второе замедление не ставили. Так что урона от такой стрельбы никакого. Кто подтвердит? Вся башня». Сказал с уверенностью, понимая, что всей башне кидает спасательный конец.

Последний вопрос показался странным: «Деньги есть? Покажи». Показал. Наскоро ощупали, велели деньги забрать, и — «следующий!».

Очередь дошла до чубатого; услышав, что из третьей котельной, переглянулись, первый и последний вопрос: «Деньги есть? Покажи». Показал. Среди бумажек и мелочи сверкнул серебром тяжелый кругляш вилькеновского рубля.

Рубль забрали, и — «следующий!».

И ни одного вопроса больше, а у чубатого, как, впрочем, и у каждого, была наготове история, которую интересно было бы послушать, про то, как, если бы не он... Впрочем, слушать-то не стали...

Промерзшие за день на льду матросы едва отогрелись па недолгом допросе и снова месили рыхлый снег в сопровождении караула на дровнях. Коротче было бы прямо, на Ораниенбаум, но взяли левей, на Мартышкино, видимо, к тому было указание.

В Мартышкино прибыли в середине ночи. Отвели в высокий дощатый сарай неподалеку от станции и сдали под охрану местной комендатуры, а может, какого-нибудь армейского начальства, собственно, пока это никого и не интересовало. Сарай был прочный, сухой, с дощатым полом, стены, стропила и пол были покрыты мучным инеем, видимо, здесь раньше были отруби, может, еще какой фураж, а сейчас помещение пустовало и хранило только сухой сытный запах муки. Сначала показалось, что в нем даже тепло, но это только после улицы, через полчаса уже было понятно, что температура в сарае почти не отличается от уличной.

У кого еще были силы, снимали башмаки и сапоги, отжимали портянки, растирали обмерзшие ноги, матерились для сугрева. Влажные от дневной работы бушлаты за время перехода из Кронштадта на ветерке схватились коркой, не грели. Стали приваливаться по углам, к стенам, друг к дружке, сморенные усталостью, голодом и морозом.

Кто-то невидимый в темноте громко объявил:

— Братва, спать нельзя, ни один утром не разогнется, все на... померзнем! Кто уснет — крышка! Братва, до утра продержаться... больше терпели...

Трудно было представить, откуда у этого невидимки и силы, и здравый смысл, и способность думать за братву. Он ходил, уговаривал, матерился, пинал ногами разлегшихся на полу... Отругивались лениво, каждый понимал, что, уснув, можно и не проснуться, но почему-то казалось, что именно с ним этого произойти не может.

Потом вдруг додумался, затыкнул: «Ревела буря, дождь шумел...» Те, что догадались, зачем песня, что она поможет сломить смертельную дрему, стали подтягивать.

Часовой насторожился, пение среди ночи было подозрительным. С покато́й крыши сарая, шурша, слетел вниз и глухо ударился тяжелый пласт подтаявшего за день снега. В то же мгновение ударил выстрел: часовой бухнул с перенугу. Пение оборвалось, выстрел разбудил даже задремавших.

Прибежал разводящий, размахивая маузером, с ним еще человек пять курсантов с винтовками.

Часовой про снег говорить не стал, а сказал, что поют.

— Раньше петь надо было, — поразмышляя, сказал разводящий, оставил еще одного курсанта и, покурив, ушел.

Около пяти утра свет стал просачиваться в щели у дверей сарая.

Угомонившийся было запевала проснулся первым. Глухо матерясь, пошел встряхивать спящих. Те, кого ему удалось разбудить, узнавали в нем комендора с четвертого плутонга, члена судкома. Он будто и здесь чувствовал себя за старшего, обязанностей не сложил. Двоих так и не добудился, те уснули навсегда, согревшись в воображении последним теплом, что приходит к замерзающему насмерть человеку.

Чубатый сидел, подтянув колени, вжавшись в себя, спрятав руки в сдвинутые рукава мундого бушлата.

В сарае было так холодно, что казалось: выйди на улицу, на снег — и согреешься.

Холод прогрыз все тело. Да и тела, казалось, уже не было, остался только легкий висящий мороз, в котором растворилось все, он уже не чувствовал себя, не мог ни вспомнить, ни думать, ни ждать. Всю ночь и полдня он раскачивался между сном и явью, на секунду, иногда на минуты впадая в забытие, потом снова пробуждаясь от ледяного ожога. Боль в ногах сменилась тупой зудящей тяжестью, руки уже было не разнять, и только острая боль в сердце, словно туда, за бушлат, попал и не тает острый кусочек льда, заставляла чувствовать в себе

жизнь. Как только сердце отпускало, он ускользал куда-то, словно в нем самом уже ничего, кроме морозного воздуха, не было. Он уже не мог бы даже в точности сказать — лежит он, сидит или подвешен.

Если с утра еще пробовали бузить, у кого оставались силы, еще колотили в дверь, требуя хлеба и махорки, то сейчас в сарае стало тихо, будто все в нем уже умерли.

За стенами клокотала жизнь победителей. Распевая «Ермака», прошла рота курсантов, скрипели полозья, кричали возницы, раздавались команды, смех, перекликались, спрашивая о судьбе друзей и знакомых, случайные встречные. Со станции, что была не так далеко, раздавались паровозные гудки и лязг буферов трогавшихся составов.

Стали выкликать. Народ кое-как разгибался и тащился к выходу, где поджидал конвой.

Когда выкрикивали вторую партию из пяти человек, какого-то Семиденко, то ли Семиренко выкрикали раз шесть.

— Спит он, — сказал запевала.

— Разбуди! — скомандовал курсант от двери.

— Сам буди, вон он, — показал запевала.

Курсант оставил винтовку с внешней стороны у входа и шагнул в сарай. Подошел, схватил за бушлат лежащего на полу этого Семиренко или Семиденко и дернул. От пола приподнялось тело, сохранявшее форму свернувшегося калачиком, уснувшего человека. Он отпустил, голова ударилась о деревянный пол с мягким стуком. Тогда схватил за плечо запевалу и подтолкнул к выходу. Тот не сопротивлялся.

В конце дня дали смерзшегося хлеба и тепловатой воды. Еда пробудила надежду, что больше вызывать не будут, с полчаса чубатый пребывал в таком чувстве, будто увидел свет и освобождение, потом снова растворился в морозе.

Утром открыли дверь, назвали пять фамилий.

Он отчетливо слышал свою фамилию, имя, отчество. Эти слова, эти три слова были произнесены, как ему показалось, громче всех, громче, чем прозвучал вчера почной выстрел. Он вздрогнул, сделал движение, чтобы подняться. Тело не двинулось. Он еще раз напрягся, чтобы преодолеть эту ледяющую невесомость, попытался совершить то непонятное усилие души, благодаря которому иногда удавалось оборвать дурной сон, проснуться и, по-

вернувшись на другой бок и покрепче вбив подушку, окутаться в новую явь сновидения. Фамилия прогремела еще и еще раз. Проснувшись сознанием он понимал, что это последнее, что от него требуется, и даже испугался, что не сумеет это последнее выполнить, заторопился, дыхание провалилось. Ледяной воздух был непреодолимо плотен. Он еще раз попробовал подняться, хотел крикнуть, чтобы его обождали, но только повел головой с полуоткрытым ртом под заиндевевшими усами.

— А-а-а!.. — сказал курсант у входа, шагнул в сарай, не выпуская винтовки из рук, огляделся, увидел изрядные сапоги на ногах Игоря Ивановича Дикштейна и дернул его к выходу.

Остаток жизни, те последние часы, что достались из-за какой-то неведомой задержки, Игорь Иванович Дикштейн прожил в невероятном, никогда ранее не изведенном огромном и лихорадочном ощущении жизни. Его сознание, лишенное времени на выстраивание привычных обстоятельных рассуждений, охватывало разом и случившееся, и увиденное, и прожитое. И разом приходил к последнему суждению, к последней сути, чтобы больше уже никогда не возвращаться ни к случившемуся, ни к прожитому, ни к увиденному вокруг.

Тот, кому приглянулись сапоги Игоря Ивановича, куда-то исчез, их долго переводили с места на место, то с кем-то соединяли, то опять отделяли, продержали еще в каком-то сарае, наполовину забитом дровами, и передали наконец новым людям, новому караулу.

Первая мысль, заставившая сразу же сознание Игоря Ивановича пробудиться и заработать на максимальном напряжении, едва рука солдата схватила его за плечо, была — почему?.. откуда известно?.. кто?.. Ответ выпал мгновенно, как вываливается чек из кассового аппарата «Националь», едва кассир повернет рукоятку и аппарат отзовется веселым перезвоном.

Журнал! Журнал... Журнал!!! Он увидел журнал подбашенного отделения, журнал, содержащийся в идеальном порядке, быть может, образцовый не только в бригаде линкоров, но и на всем флоте... журнал, куда своей рукой, испытывая знакомое чувство удовлетворения от хорошо исполненной работы, Игорь Иванович Дикштейн сам вписывал целые две педели свой приговор и скреплял своей подписью.

Он тут же выкинул журнал из своего сознания, не способного жить, упершись в непоправимое. Но жизнь, по

которой он скользнул лихорадочным внутренним взором, так же предстала сплошной чередой роковых, непоправимых ошибок... Ошибкой было все — и то, что не перешел на «Полтаву», не дал себя арестовать тем, которые собирались взрывать линкор, ошибкой казалось и то, что не ушел в Финляндию, а Колосовский предлагал, но самой большой ошибкой вдруг стал сам приход на флот и даже техническое образование, следствием чего стала служба при боезапасе. Какая бы подробность ни вставала в памяти, она тут же обретала обличье страшной и непоправимой ошибки. Но самым ужасным было сознание того, что вся жизнь, вся была, оказывается, дана Игорю Ивановичу для того, чтобы он сделал всего лишь один шаг в сторону, только один шаг, и не было бы ничего *этого*...

Он ступал по заледеневшей дороге в последней партии обреченных, вокруг клокотала и кипела удачей многоголосая и многолюдная жизнь победителей; дома, колесны войск, деревья парка, вдруг мелькнувший у горизонта Кронштадт он видел и ощущал как знакомое и чуждое, там все шло своим чередом, там не было места ни его присутствию, ни участию. Он шел как человек, покидающий наконец чужой город, чужую планету, где все привычно, знакомо до мельчайших подробностей и все бессмысленно и чуждо. Нужно было уходить, уезжать куда-то к себе, в забытые, стершиеся в памяти места, о которых известно... Он пытался взглядеться, вспомнить эту забытую даль, но мешал холод. От холода тело, казалось, стало твердым, жестким, непробиваемым... Копвоиры сначала велели взять руки за спину, но потом уже не обращали внимания на то, как сторбившиеся от холода и печали морячки совали руки в рукава бушлатов и под мышки.

Игорь Иванович поскользнулся. В одну секунду он разъял сцепленные в рукавах ладони, одной рукой по привычке схватил готовые слететь очки, другой, смелно размахивая, старался ухватиться за сырой по-весеннему воздух, чтобы устоять на выскользнувшей из-под ног земле.

— Осторожней, очки разобьешь, — участливо сказал один из провожающих, шагавший рядом.

Это были последние человеческие слова, обращенные в этой жизни непосредственно к Игорю Ивановичу; он не ответил.

Провожавшие отгораживали винтовками с опущенными к земле штыками Игоря Ивановича от всей остальной жизни, отгораживали от всей земли, от огромного, бездон-

ной голубизны неба, золотившегося вокруг нежаркого солнца, от жизни, соединенной и движущейся по правилам и законам, так и не открывшимся ему. Эта непонятая жизнь уносилась теперь в свои бесконечные весны и зимы уже одна, без Игоря Ивановича.

...Три пули разом воткнулись в мягкое тело мятежного кондуктора, одна зачем-то пробила руку, вторая застряла в животе, и только третья сбила влет сердце, трепещущее жаждой чуда, жаждой невозможного. Боли Игорь Иванович не почувствовал и падал на снег уже мертвым.

К Игорю Ивановичу Дикштейну у Советской власти претензий, в сущности, не было, и чубатый, отшагав по весне в архангельские края пешком, теперь катил на поезде, поражая летних пассажиров многообразием голубых рисунков на сильно исхудавшем теле, к сожалению, рисунки смотрелись плохо, как на мятых листах бумаги. Катил чубатый не в Петроград, не к Анастасии Петровне, невенчанной своей жене, а на всякий случай к матери в Москву, куда она переехала после смерти отца из Сергиева, продав дом и поселившись на Шаболовке; работать удалось устроиться неподалеку, на фабрике изготовления государственных бумаг (Гознак), что по тем временам считалось немалой удачей. Туда же была вызвана и Настя, приехавшая с родившейся в первых числах июля Валентиной.

Настя рассудила трезво: в революции многие берут себе разные новые имена и фамилии, сейчас, когда вся жизнь кругом переименовывается, когда Царевококшайск, например, стал Краснококшайском, а Невский в Петрограде проспектом 25 Октября, когда отменили паспорта, этот «гнусный пережиток полицейского режима, инструмент слежки и преследования», многие граждане, хотя бы и у них в Коломенской части, решили начать новую жизнь под новой вывеской. Она привела множество примеров, целых четыре только из агитколлектива «Красный чайник» при городском отделе Сангигиены, где Настя до самого рождения Валыни выступала с младшей сестрой, поливая князюком сатиры грязь во всех ее видах и проявлениях. Кстати, Сава Смолянчиков из агитколлектива стал официально Фердинандом Лассалем. Петяка Говорухин постеснялся именовать себя непосредственно Троцким и скромно переименовался в Льва Брон-

штейна. Ведерников Константин имя оставил, а фамилию придумал своеобразную — Кларацеткин, и ничего, по удивлялись недели две-три и привыкли. Таким образом, получалось, что появление на Старопетергофском неведомого ранее Игоря Ивановича Дикштейна не могло привлечь внимания не только властей, но и немногих знакомых и соседей, знавших о пунктирном романе Насти с морячком с «Севастополя». Для тех же, кто помнил изначальное имя и фамилию Настиного мужа, была предложена совсем не оригинальная и потому очень убедительная версия: сменил наименование для увековечения памяти незабвенного героя, так рано сгоревшего в огне революции, — не уточняя подробностей.

За долгий пеший путь в архангельские края чубатый из третьей кочегарки неплохо сошелся с бывшим писарем из девятой роты противоминного калибра. Тот в свою очередь, замещая иногда писарей из первой роты, то есть главного калибра, хранил в памяти ценные сведения, которыми не без пользы и для себя и для других делился во время утомительной дороги. За хлеб, махорку, сахар, сухой угол в протекающем сарае, если останавливались на ночь, и прочие жизненно важные блага писарь помогал людям, и не только с «Севастополя», подготовиться к серьезным беседам в пункте назначения.

Чубатый усвоил главное: отвечать на все вопросы как можно короче, по возможности односложно, никаких подробностей, напирать на то, что все знают или можно проверить, и призывать в свидетели покойников. Из того немногочисленного, что писарь помнил о старшине боезапаса второй башни, была выстроена простая красивая судьба: родом из эстонских обрусевших немцев, что, кстати, было удивительно верной догадкой, родился и жил на острове Эзель, поди проверь: Эзель после войны уже не Россия; отец — коммерсант, занимался биржевыми сделками, по политическим соображениям с семьей порвал и после Брестского мира даже не переписывался. В башне главного калибра чубатый бывал не раз во время авралов по приему и выгрузке боеприпасов, так что труда вытвердить основные узлы «своего» заведования не составляло.

За три или четыре перехода до Каргополя удалось достать самогона, хорошо принявший писарь, видя, каким почетом и уважением он окружен, как забота и любовь шагающих с ним рядом растет прямо на глазах, так расхрабрился, что сдуру и прихвастнул. «Крестников-то, — говорит, — у меня уже человек сорок, большая награда от

начальства может быть...» Шутка его и погубила. Игорь Иванович был при своем спасителе неотлучно, но однажды после дневки, вернувшись с кухонного наряда с маленьким гостинцем, увидел своего «крестного» прикрытым с головой, уже мертвым. Придушившие его «крестники» были тут же и смотрели, как поведет себя Игорь Иванович.

Игорь Иванович от упрека не удержался. «Шуток не понимаете...» — сказал он, обведя взглядом «крестников», но дальше повел себя правильно.

Об усопшем сказали на вечерней поверке. Случай был не единичный, и конвой никакого особого смысла разгадывать в нем не стал. Все было записано и закопано в соответствии с установленным порядком.

Самое опасное, к чему готовился кочегар из третьей котельной — разговор на месте назначения, — оказалось делом простым и безболезненным.

Собеседователей было трое. Тот, что сидел посередине и больше всех спрашивал, производил впечатление зловещее. Голова, голая, как облупленное вареное яйцо, была неестественно белой и даже мягкой, густые русые брови и черная щеточка усов под носом, видимо, крашенных, узкий безгубый рот-щель и грубый голос при этом не предвещали ничего хорошего. Сидевший слева от него был будто нарочно в гражданском пиджаке и всячески старался показать, что его участие в этих разговорах почти случайность, поскольку не по его чину, званию, весу и положению. Он был ироничен и снисходителен не столько к сменявшимся собеседникам, сколько к своим же коллегам, чем подчеркивал разницу положений. Для того с вопросами обращался больше к этому, с голым черепом, обращаясь на «ты»: «А если врет?», «А как проверишь?», «Слушай, давай следующего, я уже есть хочу» — и все в таком роде.

Третий потел над протоколом и от вопросов воздерживался, так как любой вопрос непроизвольно увеличивал количество писанины.

Беседе предшествовали разные формальности, в том числе и фотографирование, в процессе которого Игорь Иванович Дикштейн приобрел новое лицо. В тощей папке под названием «Дело №...» судьба Игоря Ивановича была отражена в романной версии писаря девятой роты, в самом лаконичном изложении.

Но самым фантастическим в описываемых событиях было то, что, отделившись от своего подлинного носите-

ля, имя и фамилия не перешли революционным псевдонимом к новому владельцу, а, напротив, как бы оторвали его от себя. В соединении нового лица с новым именем возникли черты и характер нового человека, мало похожего и на кочегара из третьей котельной, и на старшину боезапаса второй башни главного калибра.

Подобные истории бытуют с библейских времен. Савл, проименовавший себя Павлом, как известно, стал разительно другим человеком, в сущности, как и все схимники, пустыnnики, послушники и монахи, оставлявшие вместе с прежним своим именем и прежнюю свою жизнь.

Для чубатого изначально лишь мысль о самосохранении дала толчок к раздумьям о соответствии новому своему наименованию, потом он все больше и больше думал о прежнем хозяине своего имени и фамилии, а поскольку единственного человека, с которым он без опасений мог говорить об Игоре Ивановиче, писаря девятой роты, уже не было в живых, ему приходилось довольствоваться собственными фантазиями. Товарищи по бараку вдруг заметили, что Игорь Иванович, столь охотно раньше распевавший злые частушки и жалостливые песни, пользовавшиеся особым успехом у военморов, вдруг стал менять репертуар. Он все реже и реже стал брать в руки мандолину, и все чаще видели его берущим уроки на гитаре у мичмана Вербицкого. Он стал строже к себе и, что самое поразительное, не раз уже делал замечания именно кондукторам и мичманам, позволявшим себе опуститься в предчувствии своей обреченности.

Он с легкостью отказывался от привычек, казалось бы, въевшихся в него с прочностью татуировки. Например, опрокинув стопку, он умел так затейливо, трех-четырехступенчато, с криком выдохнуть, что товарищи легко представляли себе, как мечется, обжигая нутро, бодрящий пламень в поисках единственного предназначенного для него места. Манеру эту чубатый взял у старшины четвертой кочегарки, на которого даже ходили смотреть, когда он «принимал». Уже на поминках «крестного» Игорь Иванович почувствовал, что веселить эту публику нечего, а после и вовсе решил, что человеку из приличных не резон вот этак себя выставлять. Зато теперь он мог строго оборвать дневального за столом: «Чашки-то у тебя, Баркалов, псиной пахнут...» «Надо было кофу заказать», — меланхолично ронял Баркалов, другие отмалчивались или беззлобно огрызались, но никто не решал

ся послать подальше, чувствуя в Игоре Ивановиче постоянно готовую вырваться наружу взрывчатую силу.

Когда Игорю Ивановичу приходилось слышать свою фамилию, вернее фамилию Дикштейна, он отзывался почти мгновенно, словно боялся, что кто-нибудь отзовется на нее раньше его.

Нельзя сказать, чтобы компанейский нрав чубатого сильно изменился. Как и всякий человек, владеющий мандолиной, гитарой, гармонью или балалайкой, он привлекал к себе людей, да и вообще мало в народе малахольных, кто музицирует в одиночку, для себя. И вместе с тем общение его стало не таким открытым, не таким шумным и задиристым, как раньше. В суждениях стал резок, даже категоричен, а оглядывался настороженно.

В первый месяц по прибытии на место он имел изрядный досуг и, взвинчивая свое воображение, производил себя в старшины башенного боезапаса и даже пытался сочинить себе манеры строптивного отпрыска биржевого предпринимателя с острова Эзель. Представления о стиле и манерах такого рода людей были у него настолько неопределенны, что порой он чувствовал себя человеком, которому неожиданно сообщили о его высокородном происхождении, и в меру своего воображения он начинал соответствовать своему высокому назначению.

Впрочем, сначала Игорь Иванович был убежден, что взяту на себя роль он долго не протянет, что это вроде как игра, вроде как отсрочка... Он отчетливо помнил свою природную фамилию, имя и отчество и знал, что прозвучат они для него как приговор. Он не только ждал провала, но и готов был к нему, понимая, что игра эта не может быть слишком долгой...

Но, приглядываясь к мичманской и кондукторской публике, разделившей общую участь, он пришел к неожиданному для себя выводу, с которым, уверен, могли бы поспорить психологи и социологи, если бы к тому времени оказались рядом. Наблюдая, как по пути к месту назначения растерялись признаки, по которым различались люди на кораблях и в крепости, как утратили смысл звания и должности, еще недавно определявшие вес и силу каждого, Игорь Иванович решил, что разными людей делает свобода и одинаковыми — гнет, будь это гнет страха, голода, холода или насилия. А соображение это порождало вполне определенные надежды.

Однажды теплым лучом надежды коснулась сердца Игоря Ивановича весть о том, что разом, шумно и пока-

зательно полетели головы тех, кто возглавлял штурм Кронштадта, кто вел полки и дивизии, расставлял орудия и зажигал сердца полуразутых и полураздетых бойцов. Читая в газетах о конце Путны, Дыбенко, Тухачевского, Рухимовича, Бубнова, Кузьмина, да и не только их, Игорь Иванович вдруг снова начинал чувствовать себя «красой и гордостью...», раздувал грудь и готов был сказать все, что думал и слышал о них раньше. Только слово «Кронштадт» почему-то нигде не проскальзывало, и мудрая Анастасия Петровна, уже ставшая привыкать к новому Игорю Ивановичу, просто и доходчиво сдерживала порывистого кочегара: «Мало тебя таскали, еще хочешь?» Игорь Иванович вспоминал всякий раз почему-то именно голову, мягкую и голую, как облупленное крутое яйцо, и стихал.

И чем непримиримей и беспощадней шла борьба с контрреволюцией, год за годом обретавшей личины то анархо-синдикализма, то правого оппортунизма, то левого, то троцкизма, то рабочей оппозиции, то обнаруживавшейся процессом промпартии или шахтинским делом и еще несчетным множеством вредительских личин и облиций, тем в сознании отчетливей складывалось понимание того, что единственный способ уцелеть самому, выжить, спасти своих близких, семью — это быть неотличимо похожим на Игоря Ивановича Дикштейна, к которому у Советской власти, как известно, претензий не было.

Ах Игорь Иванович! Если бы он мог заподозрить, сколько муки и тяжести берет он в свою жизнь вместе с новым именем и отчеством, вместе с новой звучной фамилией, может быть, он не принял бы и саму жизнь с этим вечно давящим сердце довеском.

Сам того не предполагая, он обрел на всю жизнь непрерывное дело — играть роль человека, которого, в сущности, даже не знал. Воображение рисовало его поразному, но неизменным оставалось только одно — тот неведомый ему Игорь Иванович, может быть, благодаря воспоминаниям о его очках в тонкой оправе всегда был умнее, строже, благороднее и честней чубатого кочегара из третьей котельной.

Испытывая искреннее чувство вины перед доверившимся читателем, следует признаться, что история не сохранила всех, надо полагать, интереснейших подробностей длительного и многотрудного пути создания заново живого образа Игоря Ивановича Дикштейна. Довольно и

так перегружать многострадальную историю вымыслами и фантазиями.

Обреченный искать все силы и средства человеческие в себе самом, чубатый из третьей котельной творил спасительный для себя образ в одиночку; ну что ж, ничто так не возвышает душу, как способность к одиночеству.

...Известно, что уже года через два-три все почувствовали, что отвращение ко лжи стало высокой страстью Игоря Ивановича, именно этот порок он начал считать самым гнусным и непростительным. Видимо, чувствуя, как туго приходится правде в этой жизни, и не забывая о своей вине перед нею, он наделил Игоря Ивановича колебимой верностью новой присяге и неуклонно следовал ей, только дело ему приходилось иметь с правдой маленькой, и сердце готовое служить чести, работало, можно сказать, на холостом ходу.

Замечание Игоря Ивановича насчет «хорош морозец» не осталось незамеченным и послужило началом новой волне беседы в очереди.

— Трусы не забыла? — поинтересовался ничем не примечательный дядечка, оглядывавший все время снег, дома и дорогу с таким видом, будто ожидал все время увидеть что-нибудь смешное; спрошено было с таким простодушием, что заподозрить человека в двусмысленности было бы бестактно.

— Оде-ела, — равнодушно протянула женщина у крыльца, давая понять, что против мороза все ухищрения человеческие — мера лишь относительная.

— А то, гляди, опять дверка к духовке примерзнет! — И победно повел взглядом.

В очереди деликатно заулыбались.

— Ишь, все знает! — похвалила женщина с тремя бутылками.

— Нет такого человека, чтобы все знал, — с достоинством подлинной скромности сказал дядечка.

— Морозик-то давит!

— Двадцать два, передавали, а ночью и все тридцать будут.

— В финскую и сорок и пятьдесят четыре было.

— Не было пятьдесят четыре.

— Было. На заливе было. Лично я участвовал. Мы как раз танки на Куоккалу переправляли, так потом по-

ловину в госпиталь — у кого нос, у кого пальцы, у кого ухо, а больше всего ноги...

— Анна Прокофьевна идет!

К очереди приближалась женщина в валенках и драпом белом халате вроде маскировочного с желтыми застиранными пятнами. Халат, как и полагается, был надет поверх ватника, а ватник, пожалуй, и поверх пальто, что придавало фигуре монументальность и внушало определенный авторитет.

— Ты последний? — спросила Анна Прокофьевна. — Скажи, чтобы больше не занимали. У меня денег нет, может, еще и на тебя не хватит.

Первая половина очереди тут же про себя отметила счастливый поворот фортуны в их сторону.

— Банки не принимаю, — подходя к крыльцу, бросила Анна Прокофьевна не так чтобы пожилому обладателю двух больших сумок, из которых торчали сверкавшие хрустальной чистотой банки.

— А где?

— Где хочешь, там и сдавай, — твердо сказала Анна Прокофьевна, открывая дверь.

Пострадавшего хотели было утешить, предлагая разные адреса, где, кажется, принимают или принимали раньше.

— Это ничего, у меня под банками еще и бутылки есть! — весело крикнул устоявший под ударом судьбы человек.

Навряд ли кто-нибудь в очереди не пережил теплую радость удачи. Пострадавший — потому, что у него и бутылки были, а остальные оттого, что успели занять очередь до строгого предупреждения больше не занимать. И невелико, кажется, право сдать посуду и получить свои двенадцать или девять копеек, а стоит лишить кого-нибудь этого все-таки права или осложнить его осуществление, как тут же к радостному вкушению жизни примешается привкус горечи и досады. Только пресквернейшим образом устроен человек: радость его от ловко сданной посуды, как и многие другие радости, скоронреходяща, не запечатлевается, не освещает другой раз даже час жизни, а вот трудности и тяготы повседневности способны отравить целый день. И вот эта непрестанная игра с судьбой втемную порождает в одних азарт, в других — восхищения достойную предприимчивость, в третьих — тупую покорность и глухую, невысказанную озлобленность.

Разбирая, считая и расставляя бутылки, Анна Прокофьевна не замолкала ни на минуту, продолжая речь, начало которой слышал первый в очереди, а конец, очевидно, предназначался для тех, кто подойдет после возобновления Анной Прокофьевной ее золотого запаса, который сейчас, как она искренне призналась, был на исходе.

— Витька из школы пришел, говорит, из класса выгнали. Говорит, больше не пустят, пока мать не придет. Ну как тут быть?

Деньги — бряк, и — следующий.

— Вы бы не пошли? Да любой бы пошел. Все-таки о ребенке дело... Венгерская, не берем... Хочешь не хочешь, а пойдешь...

Деньги — бряк, и — следующий.

— Какому-то там Ивлиеву циркуль в нос стал пихать. На уроке то ли математики, то ли ботаники... Вот память, уже не помню. Сидит он с этим Ивлиевым вместе, что ли. Это до чего же надо ребенка довести, если он циркулем стал в нос пихать! Значит, учителя сами виноваты, так уроки ведут, если детям неинтересно.

Каждый получал свою порцию истории Витьки, страдающего от безотцовщины, материнской занятости жизнеустройством и работой, недобрых учителей, дурных приятелей и собственной тупости.

— Еще и родителей вызывают, уж постыдились бы лучше.

Игорь Иванович ожидал, пока приемщица составит предыдущие бутылки в ящики.

— А вы его накажите, — сказал Игорь Иванович, выставляя свою олифовую тару.

— Тебя не спросила! — высказалась Анна Прокофьевна, с подозрением приглядываясь к бутылкам.

Игорь Иванович изготовился и напрягся.

На стол брякнула мелочь. Пока он собирал медяки и серебро, пока прятал в карман и отходил, услышал:

— Наказать-наказать... А что он у меня видит? Ничего он у меня не видит.

На улице Игорь Иванович почувствовал себя победителем.

Да, что ни говори, а уж если бы можно было к бутылочкам придрататься, если бы подкопаться к ним можно было, Анька бы завернула, как пить дать завернула. А тут чистая работа, тут ни к чему не прицепишься, ничего не скажешь, сделано как надо, Не менее важной была

и еще одна причина для победительного чувства: те бутылочки, что бойкие ребята оставили, «бомбочки» по семнадцать копеек, те, что шустрый мужичок прямо из-под ног у Игоря Ивановича выхватил, Анька не приняла. Так и сказала: «Бомбы» не принимаю...» Пусть побеждает. Игорь Иванович даже улыбался, хотя улыбка его была обращена не наружу, а скорее внутрь. Вот так-то!

Твердым шагом чуть отогревшихся ног Игорь Иванович направился в гастроном, хотя можно было маленькую купить и поближе, но гастроном есть гастроном.

Людам, внимательно читавшим Шарля Луи Монтескье, выдающегося деятеля Франции, легко было бы заметить характерные черты, сопутствовавшие Игорю Ивановичу на протяжении большей части прожитых лет, не оставлявшие его и во время бутылочного похода, стояния в очереди на морозе да, пожалуй, и шагания к гастрому.

Человек чести, согласимся, — это звание, это высший знак человеческой доблести, которую можно добыть лишь в готовности поступиться даже самой жизнью, а не только ее благами.

Живя как бы одолженной, не принадлежащей ему в полной мере жизнью, пребывая в готовности даже вернуть ее по известному требованию, Игорь Иванович был лишен того главного препятствия, которое большинству мешает быть людьми чести, то есть ставить положенные самим себе правила выше правил, которые предписывает ему деспотизм жизни.

Понятное чувство вины перед тем растворившимся в последних мартовских морозах старшиной боезапаса заставляло Игоря Ивановича даже неосознанно, следуя правилам чести, никогда не опускаться до поступков, под которыми не подписался бы с легкостью благородный отпрыск удачливых коммерсантов с острова Эзель.

В кассе гастронома произошла заминка. Резво заказав маленькую водки, пачку «Севера», Игорь Иванович обнаружил, что, кроме рубля и двадцати четырех копеек медяками, в кармане нет ни гроша. Те тридцать семь копеек, на которые он очень рассчитывал, должно быть, остались в керосиновой куртке. Пришлось твердо объясниться с кассиршей и перебить чек на пиво.

Вышло ли то ни се.

Жигулевского не было, а на московское только на две и хватило. Но отступать было некуда, не шагать же домой за теми, что в керосиновой куртке...

Происшествие изрядно огорчило Игоря Ивановича. Он с утра сжился с мыслью о том, как все будет хорошо, и теперь его уже раздражало и это московское пиво, и пачка «Севера». Дело в том, что, не будь этого Настиного заказа, который, в сущности, он мог бы и не расслышать, вышло бы все-таки три бутылки. В конце концов, можно было бы взять в ларьке у бани и рассыпных папирос, но об этом следовало подумать чуть раньше, а застигнутый необходимостью принимать новое решение прямо у кассы, он инстинктивно оградил себя от всего, что мог бы услышать, потребовав в кассе деньги назад.

Домой идти не хотелось.

Вот и опять все мелкие недоразумения, каждое из которых, в сущности, недостойно даже воспоминания, заставили Игоря Ивановича почувствовать рубеж, отделяющий его жизнь от жизни, почитаемой им за настоящую.

В той, настоящей жизни все правильностью своей, простотой, удобством, а главным образом отсутствием великого множества неожиданных и повсеместно досаждающих подробностей напоминало строгую ясность детской книжки.

Ясная, простая жизнь, она была где-то рядом, иногда ее можно было наблюдать.

Когда в булочной он размышлял над покупкой дорогого батона, который очень любил, вместо двух французских булок при буханке хлеба, рядом, в кондитерском отделе, можно было слышать: «Нет, нет, буше не кладите, это тяжело. Два заварных, пожалуйста, парочку безе и пару александрийских, остальные на свой вкус...» Это была глава из той жизни, где человек приходит на вокзал за полчаса до отхода поезда, подходит к кассе, просит билет: «В мягкий вагон, пожалуйста. Если можно, нижнее место. Благодарю». Потом он пьет горячий крепкий чай прямо в вагоне с сухариками или парой бутербродов, купленных здесь же у разносчицы, засыпает на пахучем хрустящем белье, постланном улыбающимся проводником. Днем он обедает в вагоне-ресторане, а на вокзале в пункте назначения его нетяжелый чемодан и удобную дорожную сумку до такси несет носильщик в белом фартуке и форменной фуражке. По всей вероятности, этот счастливый пассажир мягкого вагона добирался до гостиницы, где тут же получал номер с ванной, но и в мечтах своих Игорь Иванович расставался с этим баловнем жизни на вокзале, оставаясь с носильщиками в белых фартуках, которые уже не в грезах, а в самой что

ни на есть реальной исторической действительности били Игоря Ивановича смертным боем. Били по делу, на всех трех вокзалах — на Московском, Витебском и Варшавском, куда в тяжком сорок девятом и пятидесятом годах выезжал из Гатчины Игорь Иванович для приработка. В этом почти интеллигентном с виду, рослом и крайне худощавом человеке носильщики довольно быстро, в течение двух, самое большее трех дней распознавали конкурента. Игорь Иванович знал, что на их стороне сила коллектива и что такие, как он, обречены, менял вокзалы, работал один-два вечера, но и это не помогало. Единственное, что он мог сделать, ограждая себя от дополнительных унижений, это не пользоваться на вокзалах общественными туалетами, где, как правило, и приводили в исполнение свой приговор носильщики над такими, как Игорь Иванович. Всякий раз его били на свежем воздухе. Пару раз пытались отобрать деньги, но прятать свое на себе он, слава богу, за две сидки научился. Но даже не экзекуции, устраивавшиеся ревнивыми профессионалами, были самым примечательным в этих вокзальных похождениях Дикштейна. Частенько случалось едва ли не худшее — он нес вещи, его благодарили и не платили, и попросить плату он ни разу так и не смог. Самое безопасное было брать клиента на трамвайной остановке. Игорь Иванович сначала ориентировался на людей поприличней, на пожилых людей интеллигентного вида, на женщин с ребятишками. «Вам на поезд? — подходил Игорь Иванович к выгрузившимся из трамвая путешественникам. — Давайте я вам помогу». — «А вы тоже на вокзал? Ах, спасибо!» И, принимая его просто за доброго попутчика, стеснялись предлагать деньги. После нескольких таких эпизодов Игорь Иванович стал ориентироваться на людей попроще, здесь ошибок, как правило, не было. И все-таки приличный вид Игоря Ивановича нет-нет и вводил народ в заблуждение...

Немало забот доставлял Игорю Ивановичу паряд, в котором он отправлялся на вокзальный промысел. Любая из его рубашек, надетая под пиджак, могла, мягко говоря, оттолкнуть клиента, диссонировав с образом интеллигентного и беспечного путешественника без багажа, поэтому, идучи на вокзал, Игорь Иванович надевал под пиджак белоснежное трикотажное кашне, великолепно скрывавшее отсутствие рубашки. Но для того чтобы этот маленький изъян в гардеробе не обнаруживался, Игорю Ивановичу приходилось быть предельно внимательным:

тяжелая и скользкая материя с трудом удерживалась в заданном положении и нет-нет да и обнародовала скрывавшуюся под ней нижнюю рубашку, впрочем, всегда свежую и при всех пуговичках.

Именно там, на вокзалах, он видел, как люди оставляли недопитые рюмки коньяка, оставляли в тарелках по полбутерброда с семгой и даже целых полкурицы: видите ли, жестковата. Но даже готовый упасть от голода, даже один среди неубранной посуды в ночном буфете, он никогда не позволял себе этого последнего шага.

Среди самых неподъемных вещей, которые приходилось таскать Игорю Ивановичу, больше всего он боялся чемоданов с мясом. С виду, как правило, совсем небольшие, чаще всего обыкновенные деревянные чемоданы, перехваченные для страховки веревкой, были свинцово тяжелы. Вот так, подхватив у трамвая один такой чемодан, он в ту же секунду почувствовал, как острый крючок вцепился ему прямо в сердце. Оп тут же достал припрятанный широкий ремень, закинул чемодан за спину, поступившись обликом приличного человека, а крючок в сердце так и остался и при разных обстоятельствах и неловких движениях напоминал о себе когда почаще, иногда и с большими промежутками.

Даже чемоданы с книгами не были так тяжелы, как эти мясные транспорты, вывозившиеся из хорошо снабжавшегося Ленинграда в ненасытные дали.

И надо сказать, что устремленность Игоря Ивановича к жизни лучшей, достойной его звучной фамилии, почти непроизвольно проявлялась в педантичной требовательности к мелочам, в способности в простых житейских обстоятельствах видеть строгую иерархию качеств, всегда отдавая предпочтение лучшему. Вот и сейчас, сообразив, что одиннадцать копеек у него все-таки осталось, даже больше, покинув гастронорм, он не свернул сразу же направо, хотя и мог видеть прямо с крыльца, что у ближайшего пивного ларька очереди почти не было, тем не менее он направился в сторону рынка, в «Утюг».

Приют жаждущих был так затейливо поименован не благодаря изысканной фантазии посетителей, а скорее уж благодаря неисповедимым движениям перманентной архитектуры, придавшей сооружению вид, в точности запечатленный в метко брошенном слове.

Большинство людей, как ни крути, пьют пиво довольно бестолково...

Немец? А что, немец?.. Ну, сидит он, караулит целый вечер свою бутылку и сам себя награждает за прилежание и аккуратность крохотными глоточками, между которыми такое расстояние, что можно подумать, как раз в этом расстоянии, как раз в этом непитье и есть смысл и удовольствие от сидения с бутылкой. Для немца пиво — то ли средство убить время, то ли форма времяпрепровождения... Игорю Ивановичу все это было чуждо.

Не отличаясь ни алчностью, ни любовью к роскоши, Игорь Иванович был способен превратить пиво в тонкое и глубокое наслаждение.

Едва ли не каждый из нас видел в своей жизни людей, пьющих пиво, но далеко не каждому выпало счастье видеть человека, умеющего пить пиво, и те, кому повезло знать Игоря Ивановича, с твердой душой могут сказать, что они знали такого человека...

Кто еще пил пиво так красиво, так умно, так поучительно, так легко, искренне, непринужденно, почти не замечая ни кружки в своей руке, ни медленно убывающего живительного напитка...

Постойте-ка час-другой у пивного ларька, приглядитесь, прислушайтесь... Редко кто умеет сохранить между собой и пивом ту естественную, ненаигранную дистанцию, которая не позволяет превратить поглощение пива в заурядное утоление жажды или, напротив, в какое-то прямо-таки событие; сколько их, заглядывающих непрестанно то сверху, то сбоку в свою кружку, наблюдающих за ниспадающим уровнем, да еще с такой рожей, будто это вовсе не они отглатывают и отглатывают, а отглатывает дядя; а сколько таких, кто, оставив кружку вовсе или чуть ли не прижав ее локтем, копошится над какой-нибудь папирусного цвета рыбешкой, состоящей по преимуществу из шелухи да пересохших ломких костей, успевая при этом, выгнув шею, еще что-то и читать в разостланной старой газете, и, лишь отковырнув какой-то более-менее плотный кусочек рыбьего праха, спешит запить глотком пива, как запивают лекарство; а сколько таких, кто способен выдуть кружку в три глотка и броситься, расталкивая граждан, к окошечку, утверждая свои права на внеочередное счастье не почетными редкостными наградами, не мандатом пивалида, а понятным каждому парольным возгласом: «Повторяю!»

Немногим случалось видеть, как пьют пиво аристократы, нет уверенности в том, что и Игорь Иванович видел такого рода картины... Так где же? Откуда же, черт

возьми, образовалась в нем эта изящная, непринужденная, легкая манера в обращении с пивом?! О, были времена, когда судьба улыбалась Игорю Ивановичу щедрым своим лицом, и он мог позволить себе без страха перед будущим выпить и три, и пять, и сколько душе угодно кружек пива. И откуда он только знал, что пиво не водка и напиваться им не следует, что шесть кружек можно позволить только при содержательной беседе, да еще не во всяком обществе, с Шамилем, например, человеком, близким по летам и понятиям, или, пожалуй, с Ермолаем Павловичем, а с кем еще, так и сказать затруднительно...

Искусство человека, умеющего пить пиво, обнаруживается по первому глотку.

Если человек припал к кружке губами, а широко открытыми глазами поводит окрест и успеваает при этом еще и моргать, уверяю вас, он ничего не понимает в пиве!.. Взгляните в эту минуту на Игоря Ивановича: выдержав подобающий срок кружку у подбородка, как бы даже забыв о ней, он коротким, едва заметным движением подносит ее край к губам, касается этого края, как касается мундштука кларнетист или мастер игры на фаготе, прежде чем замысленные им звуки будут извлечены из поднятого к губам инструмента, и лишь после того, как инструмент готов окончательно...

Вы полагаете, можно приступить к исполнению?..

Нет, конечно, еще надо подготовить себя. Игорь Иванович делает крохотный, мельчайший глоток, это как бы жест знакомства, взаимное приветствие и разведка... И вот пересохшая было в пору стояния в очереди гортань омыта, прохладной свежести вдох заполнил легкие, всем чувством сообщены необходимые сведения о явных достоинствах и остроте напитка, готов инструмент, готов исполнитель — можно начинать...

Игорь Иванович делал первый глоток на полкружки сразу...

...Это — как первый поцелуй, глубокий и длительный, от него остаивается дыхание, от него новый ритм обретает сердце, он кружит голову, он делает мир вокруг чуть-чуть иным, нежели он был до этого, и кажется, что все еще впереди, ведь после первого большого глотка начинается новый отсчет, переворачивается страница испианная и открывается новая, чистая, на которой не будет помарок и порядок нанесенных знаков будет строг и исполнен высокого смысла; этот первый глоток всегда

смывал с души Игоря Ивановича какие-то житейские мелкие досады, и, быть может, оттого, что их всегда было предостаточно, и глоток был таким основательным.

С каким милым бессилием опускал Игорь Иванович руку с полупустой кружкой вниз, совсем вниз, как опускает руку дуэльный боец после выстрела... Многим, видевшим этот жест впервые, даже становилось страшно при мысли, что Игорь Иванович решил уже вылить оставшиеся полкружки наземь, но так только казалось, Игорь Иванович не позволял кружке накрениться, он смотрел на соседа, смотрел на собеседника, на мир душой, исполненной легкости и свободы, душой, возвышенной утолненным желанием, и вот уже рука, обретя силу, медленно поднималась вверх и замирала у груди, рядом с душой, если та действительно расположена между легкими и диафрагмой...

Жизнь Игоря Ивановича, лиши ее глотка пива, была бы намного тусклее и в смысле красок, и в смысле оттенков душевного состояния.

За последние пять-шесть лет особенно в Игоре Ивановиче со всей определенностью обнаруживали себя щепетильность, взыскательная требовательность и даже способность мгновенно утрачивать интерес к предмету, если он не был отмечен каким-либо знаком превосходства над подобными же ему предметами.

В частности, Игорь Иванович был решительным противником тех, кто пьет пиво зимой, хотя бы и подогретое, прямо на улице у ларька. Он был убежден, что только бескультурье и дурацкая спешка заставляют людей прибегать к такой крайности, в «Утюге» же хотя столиков и не было, но перед буфетной стойкой было метров четырнадцать квадратного пространства с досочкой шириной в две ладони вдоль стены.

Не может быть упущено и еще одно обстоятельство, подтверждающее неукоснительное отвращение Игоря Ивановича ко лжи. Его раздражали своим лицемерием вывески «Пиво—воды» на уличных ларьках, где «воды» были только для мытья кружек. В отличие от них «Утюг» именовался с завидной прямоотой — «Пиво—пиво».

Первым, кого заметил Игорь Иванович, был Шамиль; двое шоферов в дышащих мазутом ватниках, запивающие пивом разложенную на газете пищу, в счет не шли.

На неширокой, крашенной зеленой краской доске, при-

бштой вдоль стены на уровне груди Шамиля, стояла чуть начатая большая кружка пива. Сам Шамиль имел вид человека, который забыл о кружке, стоящей рядом, и определенно решал, куда бы ему сейчас двинуться. Не переставая мыслить о главном, Шамиль похлопал себя по карманам, достал пачку «Звездочки». Нина, разливавшая пиво с таким видом, будто зашла сюда на минуту и задержалась здесь лишь потому, что у посетителей не хватает такта заметить, как ей все это надоело, как ей необходимо именно сейчас заниматься чем-то иным, более для нее важным, погрозила Шамилю пальцем.

Шамиль тут же спохватился, кивнул на табличку «У нас не курят», усмехнулся виновато, для наглядности раскаяния хлопнул себя ладонью по лбу, хотел изобразить еще что-то, но на него уже никто не смотрел.

С курением в «Утюге» дело обстояло особо. До половины пятого, пока не появлялись в заведении люди, идущие со смены, Нина строго следила за соблюдением изреченного правила, но начиная с половины пятого уже не Нина, а сами посетители следили за соблюдением этикета при курении: курить нужно было, пряча папиросу в горсть, аккуратно разгоняя выпущенный дым ладонью, и хотя к половине восьмого табачный дым ровной густой ватой зависал от пола до потолка, заполняя все помещение, в разных его углах можно было видеть человека, ритуально помахивающего ладонью на уровне головы.

Игорь Иванович получил свою маленькую кружечку пива и отошел к дальней от Шамиля стене.

— В Тулу со своим самоваром? — крикнул Шамиль, кивнув на бутылки с пивом в сетке Игоря Ивановича.

Игорь Иванович сделал вид, что только что заметил Шамиля, улыбнулся и подошел к нему.

— Я очень спешу, — сказал Игорь Иванович. — День сегодня такой. Дай, думаю, на бегу нивка проглочу.

Шамиль протянул руку, но руки Игоря Ивановича были заняты: в одной сетка, в другой кружка, — ему ничего не оставалось делать, как жестом хирурга, изговинившегося к операции, протянуть для приветствия локоть. Шамиль сдвинул локоть пятерней.

Хотя оба приятеля были скорее всего ровесниками, как-то так установилось, что Игоря Ивановича признавали за старшего, может быть, просто потому, что он вышлся сантиметра на три над папахой Шамиля.

— Все собираюсь к тебе зайти, — сказал Шамиль, — пора папаху менять.

Нужно оценить это высказывание, ведь Шамиль был истинным татаринoм и в душе, конечно, мечтал о мерлушковой.

Папаха Шамиля была в известной степени гордостью Игоря Ивановича. Пять лет назад Игорь Иванович построил ее из собственных кролей. Когда Игорю Ивановичу случалось продавать кролика или шкурку, он непременно напоминал, что особенно хороши они на папаху и может дать адрес человека, который шьет папахи исключительно у него, у Игоря Ивановича.

— У меня есть один, с ухом такой, уверен, тебе понравится, можно даже не красить. — Игорь Иванович сделал маленький глоток и в благодарность за приятное начало разговора добавил: — Только не сегодня, я очень тороплюсь. Племянник из Ленинграда приезжает. Вот пива взял...

Стуча деревянной ногой, в «Утюг» вошел Мишка Бандалетов, величайший плут и пройдоха, способный для вашего удовольствия и за ваш, разумеется, счет выпить маленькую водки через ноздрю. Понимая свое особое положение в городе, он сам первый никогда никого не узнавал и первым не здоровался. И если бы сами обитатели Гатчины его не признавали и не здоровались с ним, он так бы и жил, как транзитный путешественник, впервые попавший в незнакомое место. Эта личина, исполненная гордости и достоинства, позволяла ему к одним и тем же лицам обращаться со словами, то ли вычитанными в какой-нибудь древней книге, а скорее всего услышанными в кино: «Не дайте пропасть благородному человеку...» Не навязываясь в дружбу и даже не напоминая о знакомстве, он демонстрировал истинное благородство души, ограждая собеседника от унижающего равенства, и потому Мишка редкий день не был пьян уже до обеда. Три удара деревяшкой в пол, и Бандалетов стоял перед закусывающими шоферами. Услышав предложение спасти благородного человека, шоферы не от жадности, а из чувства безопасности, от нежелания участвовать в каком-то непонятном представлении сочли за лучшее просителя обматерить. Бандалетов резко пригнул подбородок и в следующую секунду вскинул голову, как исполнительнейший флигель-адъютант, получивший ясное указание о дальнейших действиях. Он тут же развернулся и четко, ловко, в два шага предстал перед приятелями. Благородная душа Бандалетова не стала отрещиваться от знакомства с Игорем Ивановичем и Шамилем.

— Не смею мешать беседе умнейших граждан Гатчины, — четко доложил Мишка.

Игорь Иванович был рад, что семь копеек у него все-таки оставалось, и он тут же кинул их в подставленную ладонь, Шамиль дал копеек восемнадцать. Поблагодарив дарителей все тем же флигель-адъютантским поклоном, Мишка развернулся на своей деревянной оси и покинул «Утюг».

— Племянник любит московское пиво? — кивнув на сетку, поинтересовался Шамиль.

— А что ты думал? Пол-утра потерял, пока нашел.

— Это хорошее пиво, я его пил. Мы его с тобой пили. На майские, помнишь, с машины продавали? С машин всегда продают дорогое пиво.

— Смотри, что у меня с руками. — Игорь Иванович поставил кружку и протянул ладонь. — Во, видишь? Не разгибается до конца, и все тут.

Безымянный палец бурой, в трещинах и царапинах клешни действительно пребывал в оригинальной позе.

— А ты попробуй календулой.

— Я гомеопатию не признаю. Хочешь — обижайся, хочешь — нет, только это... — Игорь Иванович придвинулся и доверительно сообщил: — Это буряты выдумали, им она и помогает.

Шамиль подумал, что-то вспоминая, улыбнулся и сказал:

— Академик Павлов не был, по-моему, бурят, но лечился только у гомеопатов.

— Вот и залечили своими шариками.

— Шарик здесь ни при чем, это жена...

— Жена? Да он свечки по ней ставил!

— Кстати, наука отрицает, что академик Павлов верил в Бога.

— А где была твоя наука, когда он в Знаменской церкви па площади Восстания поклоны бил?! Знаменскую-то не сносили, пока был жив академик Павлов.

— Я по радио слышал, «Уголок атеиста» называется...

— Мне не надо радио, если я сам... в общем, не сам, а Настя... ее младшая сестра на Гончарной жила и ходила в Знаменскую... Так что слушай радио... — Убежденность в своей правоте мешала найти нужные слова.

— Марко Поло, венецианский путешественник, — сказал Шамиль, — вообще считал Россию китайской провинцией... и называл Татарией. Это же заблуждение!

— Так и нечего глупости повторять..., Марко Поло!

— Я просто хотел сказать, что у великих людей есть великие заблуждения.

— Правильно, — примирительно сказал Игорь Иванович. — Потому что вокруг каждого подпевал полно, и любую глупость тут же подхватят и, ну, звонить!..

Игорь Иванович значительно замолчал и со вкусом отхлебнул пива, разглядывая лицо Шамиля, будто оно было предметом неодушевленным.

Лицо у Шамиля было бы вовсе круглое, если бы не сдавленность в районе висков, и поскольку полного круга не получалось, оставалось впечатление незавершенности или какой-то неправильности, именно от этого брови взметнулись однажды вверх да так и остались, запечатлев гримасу удивления. Впечатление это подтверждалось и узким изгибом губ и наклоном головы вправо, будто Шамиль прислушивался к каким-то звукам, исходившим из правого плеча. Крючковатый узкий нос на почти плоской поверхности лица являл собой нечто даже воинственное, клюв не клюв, но что-то в этом роде. Строго говоря, вид Шамиля можно было бы считать высокомерным, насмешливым и агрессивным, если бы не легкое облачко улыбки, которое, казалось, все время бродит около его лица, случайно касаясь то глаз, то губ; есть такая улыбочка у человека, готового всегда признать себя побежденным, но с такой оговоркой, что победителю самому было бы резонней отказаться от своей победы.

— Безобразие, льют одну пену. — Игорь Иванович поднял кружечку на уровень глаз.

— Пиво без пены не бывает, — сказал Шамиль. — Странно другое: оказывается, Земля совершенно не изучена.

— В каком смысле?

— В самом прямом. Ты помнишь Ракию? Это дочка Ашраф, жены Хакима от первого брака. — Шамиль неторопливо отхлебнул пива. — У Ракии тоже девочка, Нурия, ей три года. Махуза собрала кой-какую одежду, из обуви от наших осталось, я повез в Ленинград Ракие. Она на Кропоткина живет.

— У Евгеньевской больницы? — уточнил Игорь Иванович.

— У Евгеньевской — там Бакувина, а это Кропоткина, у Сытного рынка. Я приехал, дома ее нет, ждать часа два, а то и три. В кино с вещами не пойдем. В зоопарк, там рядом, холодно. Пошел в планетарий. Очень интересно. Вот видишь яйца? — Шамиль показал на гор-

ку крутых яиц на буфетной витрине. — Так если сравнить Землю с яйцом, то более-менее изучена только скорлупа.

— А дальше и изучать нечего, жижка там расплавленная. Магма!

Игорь Иванович осушил последние капли и решительно отставил кружку. Шамиль, не глядя на приятеля, отлил немного пива в его отставленную кружку. Игорь Иванович снова взял ее в руки.

— Им, оказывается, еще неизвестно, где эта магма размещается. Только там, где желток, или и там, где белок.

— Где белок, там вода и минералы, а где желток — магма, — с убежденностью очевидца сказал Игорь Иванович.

— Вот говорят — путь к лучшему... Каких-нибудь пять-шесть миллиардов лет, и Солнечная система превратится в еще один необитаемый остров во Вселенной...

— Почему остров? — не поднимая глаз на Шамиля, строго спросил Игорь Иванович.

— Так сказал лектор, он что-то имел в виду. Вопросы потом были, но про остров не спрашивали.

Игорь Иванович, удовлетворенный ответом, кивнул.

— Я к чему веду мысль? Если Солнце рано или поздно погаснет, то какой же это путь к лучшему?

— Ты хочешь предложить движение назад?

— Это невозможно. — Шамиль улыбнулся, как большой начальник, отказывая беззлобно в маленькой просьбе. — Моя мысль совсем простая, мне даже неловко тебе ее говорить. Если у всего есть начало и есть конец, то, значит, есть и середина?

— Предположим, — осторожно допустил Игорь Иванович, опасаясь попасть в ловушку.

— Стало быть, есть движение вверх и, хотим мы или не хотим, вниз. Так устроена жизнь.

— Я тебя понимаю. — Игорь Иванович на секунду пожалел, что шоферы, бурно костерившие тупое начальство, не слышат их разговора.

— Если есть движение вверх, а потом вниз, значит, есть и это место... — Шамиль изобразил рукой взлет и падение, и жест его был предельно понятен. — Мы говорим: вершина, вершина... Правильно, но стоит ли стремиться к вершине, если оттуда путь только вниз? Я не против вершины, — стараясь удержать разговор в лояльном русле, пояснил Шамиль. — Не подумай, что я против вершины... Я — за вершины,

— Ты видишь выход? — Голос Игоря Ивановича был по-прежнему строг, но внимательное ухо непременно усмотрело бы промелькнувшую тень неуверенности.

— Представь себе — да.

— Что считать вершиной?

— Вот именно! Я знал, что ты поймешь сразу. — Шамиль рассмеялся счастливым смехом, как смеются третьеклассники, решившие «нерешаемую» задачу. — Что считать вершиной? Для дерева — это одно, для солнца — это другое, а для человека?..

— Ты хочешь сказать о детях? — обретя уверенность и глубоко подумав, спросил Игорь Иванович.

— Нет. Если нет детей, разве жизнь человека уже бессмысленна и нет вершины? Человек состоит не из одних детей... Можно очень любить своих детей и под видом любви к детям быть большой сволочью...

— То есть ты считаешь, что вершина расположена не здесь?

— А я что говорю? Мы знакомы двенадцать лет, срок большой. Куда ты продвинулся за двенадцать лет в смысле вершины? Кровельщиком был? Или переехал два раза: один раз менялся и один раз по капремонту дом освобождали? Что ж, выходит, и смысла в твоей жизни нет? Так не бывает! Это неправильно. Я не знаю в Гатчине ни одного человека; кто бы о тебе худое слово сказал, а наших ты знаешь. Я не помню, чтобы ты кого взял и обидел; никто не видел, как твоя Анастасия Петровна плакала.

— А когда Сталин умер? — напомнил Игорь Иванович.

— Сбил ты меня своим Сталиным. Я лишь потерял. — Шамиль приподнял кружку и пригляделся так, будто собирался увидеть в прозрачной золотистой жидкости рыбок. Ничего не увидел и отхлебнул. — Тогда почти все плакали, и ты здесь ни при чем. Куда, к какой вершине должен идти человек, если совесть у него чистая, если он подлости не делал, людей не стравливал, не мучил, не обижал?..

— Это кто ж тебе сказал? — осторожно спросил Игорь Иванович.

Шамиль снова расхохотался и с удивлением взглянул на невозмутимую Нипу, почему та не смеется.

— Ты тоже никого не мучил, — сказал Игорь Иванович.

— Ну, Махуза так не считает, — горько усмехнулся Шамиль, — а ты добро делал.

— Кому? — встрепнулся Игорь Иванович, будто услышал о потерянном кошельке. «Добро» в русском языке слово двусмысленное, и одними и теми же буквами обозначаются как предметы, представляющие исключительно материальную ценность, которыми в одиночку Игорь Иванович не мог распоряжаться, так и нечто положительное в поступках, не имеющих материального эквивалента.

— А Марсельезе?

Игорь Иванович признал напоминание убедительным, хотя улыбка и кивок головы ясно обозначали незначительность усилий героя, потраченных на доброе дело.

Вот и появилась героиня повествования, встреча с которой была обещана давным-давно, первая из соседок, познакомившаяся с Игорем Ивановичем, едва он переехал в дом на углу Чкалова и Социалистической.

В тот памятный вечер, оставив женщин раскладывать вещи по расставленной на свои места мебели, Игорь Иванович вышел во двор покурить и оглядеться. Он не услышал шагов подошедшей сзади Марсельезы Никифоровны, голос ее прозвучал с томительной нежностью, заставлявшей сжиматься не одно мужское сердце, она пропела доверительно и страстно: «Ну как можно жить с такими короткими ресницами?» Игорь Иванович тут же обернулся и встал, увидев перед собой женщину, решительно во всем, как потом выяснилось, отличавшуюся от жены Ермолая Павловича, с которой он тоже еще не был знаком. Марсельеза Никифоровна, почему-то стеснявшаяся своего роскошного имени, приучала современников называть ее Марой, а официально — Маргаритой. И действительно, ее ресницы были не в пример белесым перьям жены Ермолая Павловича, ресницы были пушистыми, долгими и легкой тенью укрощали роковой блеск серых глаз, тощая рослая фигура на сухих жилистых ногах почти без икр располагала великолепной пышностью груди... Нет, надо остановиться, иначе даже простое описание всех чар и совершенств Марсельезы Никифоровны уведет нас как далеко. Странное дело, за глаза даже с каким-то непонятым проническим оттенком Мару постоянно величали ее полным красивым именем. Жена Ермолая Павловича, в общем-то завидовавшая успехам Марсельезы

Никифоровны среди мужского населения Ленинграда и пригородов, постоянно ставила ей в укор ее незамужнее положение, саркастически замечая при этом, что, ставь она, как все порядочные женщины, штамп в паспорте, ей пришлось бы выписать документ толщиной со справочник гатчинской АТС. Вечно холостое положение не мешало Марсельезе Никифоровне родить дочку до войны и мальчика Леню во время войны, в сорок втором. Щедрая на любовь женщина никак не могла понять, почему все ее желания и немалые усилия в направлении Игоря Ивановича пропадали втуне. Не раз, довольно тесно сталкиваясь в ходе празднования, особенно весенних и летних, праздников на открытом воздухе, в частности на майский и на троицу, Марсельеза Никифоровна подъезжала с томительно-призывными вопросами. В один из таких праздников, в пору, когда еще не прошло самое ароматное время ее жизни, она жарко говорила ему непосредственно в ухо: «Го-о-оша... Ну почему-у?.. Почему я приношу людям несчастье?!.. Мне трудно, Го-о-оша...» Вот так, глядя в себя и прислушываясь к себе, даже собеседника видя лишь внутренним взором воображения, она обычно и шла к краю бездны, и редкий мужчина не бросался тут же ее спасать... Тогда она, как правило, начинала нихать спасателя в грудь, но недолго. Игорь Иванович, хотя и был по случаю праздника нетрезв, сказал с отрезвляющей отчетливостью: «А чтоб не было трудно, Мара, зовите меня Игорем Ивановичем». Ответ так поразил Марсельезу Никифоровну, что она тут же пошла по кладбищу — дело было на троицу — и стала всем рассказывать, как ей ответил Игорь Иванович. Так и перешаркивала она от одной пьющей компании к другой, пока новая страсть не помогла ей забыться.

Помнится, государыня ставила в укор гатчинцам незнание греческого и латыни, только позволительно спросить: зачем ломать язык симплина симплибусом, если можно коротко и просто сказать — клин клином. Именно к этому средству, хорошо известному как говорящим полатыни, так и не владеющим иностранными языками, прибегла в очередной раз Марсельеза Никифоровна.

Игорь Иванович, конечно, не знал, насколько это незначительное происшествие, у которого даже не было свидетелей, подняло его в глазах знакомых и малознакомых граждан. Именно после этого события присутствие Игоря Ивановича или даже упоминание о нем позволяло Марсельезе Никифоровне чувствовать себя дамой дос-

тойной, защищенной при надобности и даже в известном смысле недоступной. Только слова Шамиля о добром деле напомнили Игорю Ивановичу совсем другую историю.

Второе, скажем так, происшествие, связанное даже не столько с Марсельезой Никифоровной, а с ее сыном Леником, подняло уважение к Игорю Ивановичу еще выше. Дело было в том, что Леник, с шестнадцати лет работавший в красильном цехе гатчинской мебельной фабрики, был парень нервный и часто закатывал матери сцены, особенно в нетрезвом состоянии. Все многообразие поводов для буйных сцен сводилось в конечном счете к самому сильному и трудно опровержимому обвинению: «Ты меня от немца отблядовала!..» Для тех, кто наблюдал такую сцену впервые, он всегда пояснял: родился в сорок втором. Факт? И отца нет. Факт! Марсельеза Никифорова плакала и старалась приласкаться к грозному сыну. Когда очередной скандал выплеснулся из третьего номера в первом этаже непосредственно во двор, выплеснулся с криками, шумом, слезами, резкими высказываниями во все горло, с разнимающими соседями и поминаниями милиции, Игорь Иванович, закончив давать кролям свежую траву и сменив как ни в чем не бывало воду, подошел к распалившемуся балбесу и встал около него молча. Парень затих, затихли и соседи, заплаканная, но все еще красивая Марсельеза Никифорова тихо шмыгала носом и придерживала полуоторванный рукав блузки. «Если б ты был немец, — в наступившей тишине негромко, но так, что все слышали, сказал Игорь Иванович, — ты бы был умный, а ты — дурак». Сказал и спокойно ушел к себе. Буйный обличитель моральной, а главным образом политической нестойкости своей матери хотел что-то сказать резкое, но, тут же сообразив, что любое продолжение скандала лишь подтвердит правоту странного соседа, по-тихому смотался в дом, и больше его выступлений «на немецкой волне», как это называлось в доме, никто не помнит.

— Ты пиво к обеду купил или так?

— Я же сказал: Николая жду, племянника из Ленинграда.

— Здесь хорошо. В Гатчине хорошо, а никто к нам не едет. Я своих зову из Ленинграда, и Ракию, и Махинур, и Ганея, и Керима, — никто не едет. Разве в Ленинграде можно дышать? Там же дышать нечем.

— Зато театры...

— Лично ты много бываешь в театрах?

— Мало. Очень редко. Я театры за что не люблю — одевайся, раздевайся. Одна волынка.

Игорь Иванович поставил пустую кружку на полочку, и когда Шамиль сделал движение, чтобы подлить еще, накрыл кружку ладонью.

— Земля, говоришь. — Игорь Иванович стал застегиваться и выгибать клыки лацканов. — Нас теперь земля должна на два метра заинтересовать...

— Ну что ты! Теперь так глубоко не закапывают, полтора метра — и будьте довольны.

— В Гатчине мне нравится, место хорошее, сухое... А правда, что татар сидя хоронят?

— Всех хоронят по закону, татар тоже по закону... Разве наш труп принадлежит нам?

Игорь Иванович заторопился:

— Будь здоров, Шамиль. Спасибо, как говорится, за компанию. Надо спешить.

Шамиль приподнял кружку с остатками пива.

Прятели расстались навсегда.

Поскольку отношения Игоря Ивановича и Шамиля не будут более продолжены и дополнены ни единым словом, жестом или событием, можно со всей определенностью подвести первый итог и сделать окончательное определение этой многолетней непримиримой дружбе.

«Непримиримость» употреблена здесь не для того, чтобы затмить, увести в тень истории великое множество жестов дружбы и приязни, симпатии и поддержки, участия и внимания по отношению друг к другу, сопровождавших их приятельство все двенадцать лет. Быть может, потому они так дорожили обществом друг друга, что в общении этом каждый находил всякий раз подтверждение именно своей правоты, именно своего взгляда на вещи и предметы окружающей жизни. Все, кто был свидетелем или участником их споров, дискуссий, просто разговоров, а таких было в Гатчине большинство, всегда удивлялись той легкости и неожиданности, с какой то Шамиль, то Игорь Иванович в разгар, в самый жар непримиримого разговора вдруг соглашались в чем-то важном, но не самом главном, и это признание правоты другого было той высокой точкой, где соединялись устремленные ввысь души. Спор как бы отступал, и оба приятеля, оказавшись на плоту дружбы, вдруг переставали замечать пенящееся и дыбившееся вокруг них море не-

примиримых противоречий. Будь среди наблюдавших эти мгновения свидетели встречи царственных персон на плету в Тильзите, кто знает, быть может, этому счастливцу удалось бы найти черты и черточки, роднящие людей, исполненных великодушья, благородства и справедливости.

Игорь Иванович вышел на плоское низенькое крылечко и оглядел открывшееся пространство. Двухэтажный ряд домов повел его взор в конец улицы, где сам по себе, никому не нужный, стоял сорокаметровой глыбой красного кирпича громадный собор.

Среди домов и домишек рядом с бывшей базарной площадью, ставшей еще одним городским пустырем, он возвышался этакой крепостью, видом своим утверждая непричастность к жизни, суетливо и полусонно протекавшей рядом.

Игорь Иванович решительно отправился в суд.

Взгляд его привычно скользнул по огромным, как барабан, уличным часам «Терек», вот уже несколько лет обвислыми своими стрелками свидетельствующим бессмысленность наблюдения за временем в таком месте, как Гатчина.

Помыслы Игоря Ивановича о том, чтобы зайти в суд да узнать поточнее, на когда назначено слушание дела да приехал ли Николай, не перенесли ли дело на другой день — и так бывает, — помыслы эти были вполне основательны и обещали небольшое, но, в сущности, необходимое дело. Но было бы крайней близорукостью не заметить того, что Игорь Иванович просто не мог отказать себе в удовольствии зайти в серьезное официальное учреждение по делу и вместе с тем совершенно безобязанно.

Судьба Игоря Ивановича образовалась как-то так, что к служебным поползновениям он оказался непричастен.

Само слово «служба», так хорошо подходившее к Настипой работе в торге или к работе сестры Игоря Ивановича по бухгалтерской части да и вообще ко многим работам, никак не подходило к многоликой деятельности самого Игоря Ивановича. Хотя про флот и армию, где он во время войны по пороку сердца служил в летучем банно-прачечном отряде, можно было, конечно, сказать — служба, но не в том совершенном, как ему казалось, смысле, который только и может содержаться в службе

добровольной, избранной для себя, то есть в службе гражданской. После войны, ранения и пяти лет свирских лагерей за пребывание в плену, куда он попал со своими прачками по забывчивости командира полка, не предупредившего развернувшуюся в лесу вошебойку о тактической смене позиций, — так вот после войны он служил в Борисоглебске в колбасном цехе, но для всей «этой кухни», как называл цех Игорь Иванович, с тощими морожеными тушами, костями, сукровицей и почти жидкой от обилия крахмала колбасой название «служба» было бы слишком возвышенным. Не годилось это название и для работы в столярном цехе горторга, и на складе нефтесбыта, и еще в разных подобных же неказистых заведениях. Служба, состоящая из должностной деятельности, очень не походила на роли, в которых выступал Игорь Иванович.

Например, служба подразумевает строгий порядок, начиная с необходимости явиться в точное время и уйти не раньше положенного. Даже в самое строгое время, когда за опоздание на работу давали срок, Игорь Иванович всегда располагал личным временем от нескольких минут до нескольких часов, что никак не сказывалось на поступательном движении государственного механизма в сторону дальнейшего развития.

За всю свою жизнь Игорь Иванович не был в позиции, которая могла бы позволить ему сказать: «Вас много, а я один...», «Сегодня я больше принимать (выдавать, разрешать, рассматривать, слушать) не буду», «Вы видите, у меня человек, вот кончу, тогда зайдете», «Что это вы мне здесь суετε?!», «С этим — не ко мне» и тому подобное, все то, что он слышал всю жизнь, когда приходилось ему вращаться в *сферах служебных*. Он никогда не мог ощутить себя тем элементом, или, как тогда говорили, винтиком, огромной, многосложной, прекрасной, разумной, охватывающей всю жизнь во всех ее подробностях машины, которая разом включается (для этого и приходят вовремя люди на работу) и разом выключается, потому что нет смысла какому-то винтику еще гертеться, если вся машина уже отдыхает и набирает сил к завтрашнему вращению.

И еще. На службе, насколько знал Игорь Иванович, каждый должен как-то доказать себя, то есть постоянно всем и каждому доказывать, что ты места своего достоин, а может быть, достоин и большего, так винтики превращались в шурупчики, шурупчики становились рыча-

гами, рычаги выросли до приводных ремней, и уже приводные ремни незаметно, но очень тесно сливались с главным маховиком...

Но там, где случилось работать Игорю Ивановичу, от него никто не ждал и не требовал никаких доказательств, работаешь — и работай.

Когда время подошло к пенсии, и вовсе конфуз получился. С величайшим трудом были собраны почти все неизбежные справки, а если сказать, что, кроме справки о заключении и ссылке, все остальные собрать было ох как хлопотно, тут весь напрасный труд наружу и вылез, потому что напоследок в собесе потребовали метрическое свидетельство, или выписку из церковной книги, или, на худой конец, заменяющие их поручительства. А где был рожден Игорь Иванович, в каком году, в каком месяце, в каких книгах и на каком языке значились соответствующие записи, он и сам поручиться не мог, не только что искать каких-то там поручителей.

Так и вышло, что мечты о безбедных тридцати шести рублях, так славно гревшие Игоря Ивановича и Настю в последние перед пенсией годы, рухнули окончательно и бесповоротно.

И может быть, от неучастия своего в службе осталось у Игоря Ивановича почтительное уважение к конторским таинствам, делопроизводству, ко всему, где работа выполнялась с помощью чернил, карандашей, счетов и бумаги. Даже наблюдение такого рода работы производило на него сильное впечатление, и он видел единственный способ выказать свое уважение и понимание сложности и важности наблюдаемого дела лишь своим желанием как можно меньше мешать и не отвлекать людей, занятых службой.

Стены здания, куда направил свои шаги Игорь Иванович Дикштейн, были знамениты тем, что именно на них был произведен первый опыт мемориализации новейшей истории. Первый мраморный блин, если можно так высказаться, оказался не совсем удачным. В здании, мало чем отличавшемся от других городских сооружений, воздвигнутых под наблюдением архитекторов Шперера, Харламова или Дмитриева, в 1917 году разместился Гатчинский горсовет. В память об этом событии в 1927 году установили и открыли с музыкой и речами мемориальную доску, сообщавшую гражданам: «Здесь 10 лет назад находился первый Гатчинский горсовет...» Ровно через год начертанное на века устарело, встал вопрос, то

ли каждый год подновлять надпись или сразу забыть злополучные «10 лет назад»...

После войны во втором этаже этого здания разместили народный суд.

Есть места, не поддающиеся описанию. Говорят, что есть такие, но согласиться с этим трудно. Иное дело, что существует несколько мест, невозможных для описания, и можно настаивать, что к ним принадлежит коридор гатчинского суда в том виде, в каком его застал Игорь Иванович.

Невозможен коридор в силу крайней своей нетипичности, и, пускаясь в рассказ о нем, легко впасть в историческую ошибку, поскольку нельзя утверждать, что невозможное это место и по сей день пребывает в полной своей невозможности.

Кто знает, может быть, он стал шире и решительной рукой из него выкорчеван кислый настой табака и сырых валенок, пахнувших соляжкой полушубков, сладковатый аромат кормящих грудей, неизбежные запахи мужского туалета, поскольку дверь при памятных событиях была сорвана и в ту пору стояла здесь же, в коридоре, прислоненная к стене, так что при желании ею все еще можно было воспользоваться и заслонить дверной проем.

Кто знает, может быть, гатчинская Фемида уже покинула эти стены и переехала в собственный особняк в духе укрощенного Корбюзье, в здание из стекла и бетона, умножающее разнообразие архитектурных форм и стилей маленького городка.

А пока две тусклые лампочки не могли высветить, а три плакатика (о спасении утопающих, взимании налогов и какой-то праздничный) не могли прикрыть всего обширного безобразия довольно-таки длинного коридора с неглубокими уступами для печей; печи главной своей массой находились в комнатах и двух залах. Сваленные тут же с некоторой небрежностью дрова не привлекали посетителей, разместившихся на лавках и просто вдоль стен. Дрова были сырыми, но всякое вмешательство в процесс топки даже с намерением поубавить дым, в коридор все-таки проникающий, встречало самое строгое и ревнивое возражение человека, по службе наблюдавшего печи.

Сказать, что в коридоре этом не было слышно смеха или озорных детских голосов, было бы так же несправедливо, как не сказать, что частенько в коридоре этом и плакали.

Слезы были редким явлением на глазах людей, приходивших сюда группами или компаниями или прямо здесь же образующих небольшие партии от двух до двадцати человек. Иное дело одиночки, захватывавшие удобный край на скамейке со стороны уцелевшего подлокотника или у выступа печей, образующих довольно-таки уютные закоулки, здесь наедине с собой можно было предаваться глубокому огорчению, сопровождавшемуся, как правило, у женщин коротким движением руки со скомканным платком и громким сморканием у мужчин.

Есть места, невозможные для описания!

Но что стоит весь этот густой наглядный срам в сравнении со стыдом и болью, надеждой и страхом, грязью и гордостью, в сравнении с тоской и верой в чудо, с жаждой правды и боязнью этой же самой правды, с тем, что приносят сюда люди, недосыгаемо спрятав в себе, а еще чаще и от самих себя, всю эту путаницу острых жизненных сплетений, еще вчера бывших твоим личным делом, а теперь вдруг отторгнутых от тебя, как пьеса, написанная тобой, но вот уже листаемая зевающим режиссером, знающим, что играть ее все равно придется... кусок твоей жизни в руках ленивой и бездарной труппы.

Почему этот парень с головой новобранца стоит за невысоким барьерчиком и старается разглядеть что-то там за окном, ничего не слышит, и только особая бледность на щеках выдает его причастность к приговору?

Простую и беспощадную правду, произносимую прокурором, не могут умалить даже его косноязычие, сбивчивость и неправильные ударения в словах заграничного происхождения.

Почему эта мать, убитая горем, не слышит слов приговора, а думает, что все смотрят на нее, ее казнят, что не решилась в последнюю минуту продать телевизор и дать адвокату больше?

И только легким и бескорыстным, возвышающим в собственных глазах сочувствием полны души тех, кто набился в зал, чтобы скоротать время до слушания своего дела.

Игорь Иванович легко нашел Николая в коридоре и шумно расцеловался с племянником.

Николай ростом был чуть выше Игоря Ивановича, теплое китайское пальто с поясом и мутоновым воротником делало его фигуру солидной, развернутая газета в широко раскинутых руках выдавала в нем человека независимого и бед от судьбы не ждущего, скорее всего сви-

детеля... Он и в действительности был свидетелем того, как пьяненький гатчинский шоферик в Ленинграде на улице Боровой неподалеку от Обводного, спеша проскочить на зеленый, задавил перебежавшую улицу женщину в возрасте двадцати семи лет.

Племянник проглядывал развернутую газету и грубовато, по-мужски капризничал, оснащая свою речь такими словами, как «волынка», «черт меня дернул», «сами не знают, чего хотят»; выглядел он, с точки зрения Игоря Ивановича, великолепно. Расположившись рядом на скамье, он тоже громко, но все-таки сдержанно бранил порядки, неумение беречь чужое время, дерганье и очень искренне напирал на то, что дело-то предельно ясное и два месяца его мусолить просто смешно, памятуя бессознательно, как дважды в жизни его «дела», куда более сложные, решались быстро и без всякой канители.

В коридоре притихли, исподволь поглядывая на шумного Игоря Ивановича и его солидного собеседника в китайском пальто.

Игорь Иванович даже немножко разволновался, он уже готов был куда-то пойти, кому-то сказать, если надо, и указать, и напомнить... Только племянник его остановил, снисходительно и мудро заметив, что «им спешить некуда», вот работали бы сдельно, тогда б шевелились, и хохотнул... У Игоря Ивановича мелькнула вдруг безумная мысль: а может, *тогда* сдельно работали?

— Вы уж, дядя Гоша, не ждите... Чего вам здесь париться? А я, как развяжусь, сразу к вам...

— Не вздумай только нигде есть! Мы тебя к обеду ждем. Как ты к московскому пиву? — Игорь Иванович двумя пальцами приподнял сетку. Племянник изобразил восхищение, да такое, будто увидел монгольскую водку. — Без тебя не сядем, слышишь?

На том и расстались.

Жизнь, направлявшая немалые свои силы на усмирение чувств, желаний и потребностей Игоря Ивановича с молодых лет, не только не притупила в нем жажды жизни, но, напротив, обострила ее до такой степени, что Игорь Иванович уже не мог позволить себе пренебречь и малейшей возможностью удовлетворения и каждую такую возможность стремился испытать до конца, затрачивая усилия без расчета. Поэтому вместо кратчайшего пути к дому он выбрал путь окольный, то есть мимо собора.

Направляясь к дому, Игорь Иванович вновь стал созерцать искуснейшее изобретение, равных которому хоть пруд пруди, — знаменитый гатчинский Покровский собор, причудливое окаменение христианского духа, внешне являвшее собой строгую смесь кирхи с казармой. Нет, это не плод любви художника, тот плод, где за чертежами и выкладками звенит сокровенное чаяние мастера соединить землю и небо, помочь сердцем узреть свет и гармонию, таящиеся в непостижимом и вечном.

Забитые окна и глухо закрытые двери придавали собору вид тюрьмы строгого режима, где окна, как известно, не только традиционно зарешечиваются, но и прикрываются металлическими «намордниками» вроде оттопыренных карманов, в которые дневной свет проникает только сверху.

Игорь Иванович не раз ловил себя на мысли о том, что, проходя мимо собора, прислушивается. Слух его действительно сам собой обострялся, но не потому, что Игорь Иванович надеялся уловить зов таинственный, неведомый другим, а просто не верилось, что такое огромное помещение с мощными стенами и прочными запорами не содержит в себе ни единой живой души. Может быть, это пульсировал в его душе древний инстинкт, не позволявший человеку мириться с необитаемостью гор, безлюдьем лесов, морских пучин и даже прозрачной пустотой неба, населяя весь этот запредельный для глаз мир существами таинственными, душами добрыми и злыми, причудливыми управителями человеческих судеб.

Но не было души в этом кирпичном бастионе, замысленном как обитель духа. Начиная с 1904 года, когда заложили сбор и начали строить, Гатчина жила в горделивом ожидании, в надежде и уверенности, будто через высокие двери нового храма все войдут в жизнь обновленную, очищенную от душевной скверны и даже от бедности. Не верилось, что столько труда, сил и денег не прибавит в жизни добра и благодати. Кирпичная кладка была великолепной, теперь так и кафель не кладут, строили не спеша, десять лет, но, еще не закончив наружные работы, все силы бросили на внутреннюю отделку, поспешно освятили собор, словно в предвидении его короткого века, и открыли для прихожан в октябре 1914-го: началась война и рассчитывать на скорое завершение всех работ уже не приходилось.

На пятьдесят метров взметнулась ввысь шатровая колокольня, словно надставленная на вершине часовенкой,

на сорокаметровой высоте пузырились шлемовидные купола канонического пятиглавия.

И что за нужда была Вохоновскому женскому монастырю, небогатым подворьем лепившемуся к подножию соборной громады, заводить такую храмину, если здания подворья так и остались неоштукатуренными до самого закрытия монастыря и подворья в начале тридцатых годов.

Родившийся не ко времени, не простояв и тридцати лет, собор начал ветшать, будто только для того он и был воздвигнут, чтобы удивлять то ли безрассудным тщеславием, то ли беспредельностью человеческого легковерия, а может, лишь для того, чтобы стать еще одним примером бренности оставленного душой тела.

Так и стоял он уже пятьдесят почти лет, мертвый для неба, мертвый для земли и для надежд.

Еще в прошлом году Игорь Иванович немало удивился, увидев у покосившихся куполов, сохранивших лишь металлический каркас и напоминавших огромные клетки для огромных птиц, перевязанных страховочными веревками рабочих. Когда из четырех куполов на малых барабанах осталось только два, все объяснилось: состояние двух других было признано угрожающим, а сил и средств хватило только на то, чтобы остеречься от лишней беды.

Игоря Ивановича нет, и никто не скажет, чем же притягивал его этот угрюмый, красного кирпича колосс с пробитыми напросвет куполами, с крутыми неприступными стенами, с умолкшими колоколами на открытой ветрам звоннице.

А может быть, это самое внушительное здание на гражданской территории Гатчины среди приземистых двухэтажных домишек напоминало тебе громаду линкора, делавшего разом тесной даже просторную военную гавань Усть-Рогатки?..

А может быть, в минуту душевной слабости, когда хотелось, чтобы был, был в этом мире Бог, разумный и справедливый, ты помещал его именно здесь, в пустынных и холодных стенах, ограждая его скорбную мудрость от языческой суеты и невнятного многословья, от заискивания и задабривания зыбким светом свечей, блеском позолоты на дорогих окладах икон, от поповской важности и людского соперничества в смиренном уничижении?..

Может быть, широкий, из крепких досок сколочен-

ный настил, закрывающий просторную лестницу главного входа, напоминал тебе один из крохотных кронштадтских причалов, где швартовались паровые катера, вывозившие военморов в увольнение полоскать клешами мостовые Питера и Гатчины. Стрельны и Ораниенбаума, звавшегося для краткости Рэмбов? Причал этот был устроен для удобства закатывания в храм бочек, затаскивания ящиков и мешков в горторговский склад, оккупировавший давно пустующее помещение.

Остается лишь предположить, что собор притягивал к себе фантастическим сочетанием житейских черт и подробностей, напоминавших Игорю Ивановичу всякий раз самые различные стороны его быстро промелькнувшей жизни: и крепость, и линкор, и узилище, и склад, и женский монастырь, не оставленный в свое время вниманием военморов, и снесенные главы, еще недавно возвышавшиеся над людьми. Остается лишь утешиться тем, что и сам Игорь Иванович был скорее человеком фантастическим, и потому, сколько ни бейся, никогда не догадаешься, чем же притягивало его к себе это мрачное, состарившееся, еще и не начав жить, сооружение.

Ах, Игорь Иванович, Игорь Иванович, бездна моя... мой омут!.. Тех слез, что жизнь из тебя выжала, никто не сосчитает, да и слова, не сказанные тобой, кому услышать?.. Родина — твое начало, и смерть — твой конец. Родился уже отторгнутый и в жизни так ни к чему и не прилепился. То не нужен был, то сам не считал возможным лепиться черт знает куда, ни злости, ни зависти, ни отчаяния... Зыбь под тобой, но строгость — твоя опора; все, к чему ты касался, забирало тебя полностью, ибо не было у тебя иной жизни, чем вот в эту минуту... Ты как первый человек, почувствовавший необходимость понять смысл и значение каждого слова, каждого своего поступка и действия, тут же понимание свое обращал в правило, в закон и не позволял себе отступать от закона, и ждал того же от других, ждал и требовал им же во благо. И всякую несправедливость и даже безобразие ты относил за счет незнания строгих правил и распорядка, всякий раз недоумевая, почему люди живут по наскоро состряпаным, временным положениям, которые, уж и слепому ясно, отменить пришли сроки, так нет же, не торопятся. И что за сила и удача у тех, кто все эти временные положения сочиняет к собственной выгоде, а другие подхватывают и внедряют как должное?

Перед Игорем Ивановичем, поскольку, в сущности, его как бы и не было, никаких задач никем не ставилось, никаких свершений от него не ожидалось, и потому главную свою задачу, как он ее в жизни понимал, он с полным основанием мог считать выполненной. Что может быть важнее, чем подготовить себя к такой жизни, где уже не нужны будут изменения и усовершенствования, где все обретет свои названия и свое место, где не нужно будет стоять на страже справедливости и чести, поскольку никто на них покушаться не будет. Так уж случилось, что мысли Игоря Ивановича и советы относительно правил и законов о справедливом и строгом устройстве жизни никому не понадобились и пошли почти целиком на строительство лучшей жизни единственного частично подвластного ему человека, вот уже сорок с лишним лет носившего имя Игоря Ивановича Дикштейна.

Ах, Игорь Иванович, Игорь Иванович!.. И кому же еще так повезет, чтобы знать человека, о котором в любой инстанции скажут, что не было такого человека да и не могло быть! Нет тебя, у кого хочешь спроси! И как ни скрипи ты своими башмаками по снегу, сколько ни греми бутылками в сетке, сколько ни хлопай дверями и ни возвышай голос на Настю, нет тебя, и сам ты знаешь это лучше других. Да и какой же ты Игорь Иванович, если даже Настя ловила себя на мысли два раза, что не может вспомнить твое крестное имя, вспоминала, конечно, только не сразу.

Игорь Иванович, наверное, удивился бы, узнав, что его душа, преисполненная строгости к себе и готовности встретить иную, лучшую жизнь, потому что в этой не было для него места, быть может, и была той бездной, в которую канули десятки государств, сотни правительств, тысячи божков и царей, — бездной, растворившей в себе век за веком, спасая от забвения только тех, кто был строг к себе и яро жаждал иной жизни.

Повернув налево, он скрылся за каменной стеной, словно ушел в нее.

Тем немногим в этот час проходим, что шли следом за ним по бывшей Съезжинской, не было видно, как высокая тощая фигура вдруг покачнулась, не то споткнувшись, не то растерявшись, словно человек вдруг очнулся и понял, что заблудился, и потому неузнающим взором поводит вокруг себя, еще пытаюсь найти знакомые предметы, пытаюсь понять, как же это случилось и где же искать выход...

Сетка с бутылками выскользнула из рук и брякнулась об утопанный снег... Здесь, в ста четырех шагах от крыльца его дома, ждал его последний милосердный дар судьбы — легкая смерть от разрыва сердца.

Игорь Иванович качнулся и во весь рост рухнул на снег.

Пал он уже мертвый.

Последнее, что нуждается в пояснении, это звание *капитан*, приставленное к имени Игоря Ивановича в самом начале.

Скрыть свое военно-морское прошлое Игорю Ивановичу, разрисованному голубой татуировкой, как средневековая карта звездного неба, с девами, лирами и водолями, было невозможно, хотя всю жизнь в общественные бани ходил только с утра, в самое безлюдье, на свежий пар. Все попытки друзей и знакомых узнать подробности его морской службы встречали самый решительный отпор, что послужило сначала поводом для сочинения легенд, а потом, уже неведомо как, вдруг обернулось прозвищем — Капитан. То внутреннее напряжение, строгость и категоричность, что постоянно сопутствовали Игорю Ивановичу, как нельзя больше подтверждали меткость и справедливость присвоенного звания.

Правда, Капитаном звали Игоря Ивановича только за глаза, уважая его серьезность и вспыльчивость, поэтому и умер он, не подозревая о своем третьем имени, придуманном его друзьями и знакомыми, бок о бок с которыми прожил свои пятнадцать последних лет жизни.

Вскрикнула женщина, увидев упавшего старика.

Юноша бросился останавливать машину. Скрипнули тормоза. Хлопнула дверка. Кто-то закричал, узнав в упавшем Игоря Ивановича.

Шум города гулкими перекатами входил в полое тело собора, но не оседал, не оставался там, а растворялся, так и не став сопричастным особой жизни этого окаменевшего крика надежды. Он стоял, покинутый людьми и верой, несбывшийся порог в царство вечного блаженства и воздаяния, обитель духа, оставленная духом и обреченная на пребывание.

Ленинград, 1977—1987 гг.

МАЛЕНЬКАЯ СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА

Подайте мой мотор!
Шоффер, на острова!

Игорь СЕВЕРЯНИН. 1914

Что за счастье писать из семейной хроники!.. Особенно если речь идет о семействе, никому не ведомом, каких тысячи, а может быть, и десятки тысяч, похожих как десятки тысяч капель воды, что падают зачем-то отвесно, а то и по косо́й вниз, с неба на землю в виде дождя, в земле исчезают, а после невидимыми путями, впрочем, иногда и видимыми воспаряют опять куда-то вверх, быть может, опять на небо, чтобы другой раз упасть на землю среди десятков тысяч таких же обновленных капель... Что за странная прихоть, не останавливая дождя, угадать, понять, увидеть, как образовалась, как начала свое неотвратимое движение вниз каждая из необозримых капель, как стремителен и легок их полет, как он исполнен высшей мудрости устройства земли и неба, эта крохотная, связывающая землю и небо черточка... И что за смысл был бы даже в самом небе, не будь этих легких и живительных нитей?..

Вам, летящим сквозь мрак и свет, вам, летящим в любую пору, вам, живущим ничтожные доли необозримого в своем начале и неизмыслимого в своем конце мирового времени, вам, единственным и неповторимым, как наша с вами жизнь, — мое сердце, моя рука!

Семейная хроника — вот жанр, который в первую очередь должен быть отнесен под покровительство начальства и всячески поощряться! Семейная хроника — свидетельство социальной незыблемости, твердости, прочности и основательности жизненного устройства всего общества!..

Вспомните, если сумеете, сколько в последние годы говорилось и писалось о семье, и она действительно за-

служивает того, чтобы о ней было составлено правильное представление. И это не прихоть неумной любознательности! Именно выяснив происхождение сегодняшней семьи, уже без труда можно шагнуть к осмыслению новейших форм собственности, а далее и к отношению между частным лицом и государством.

...Что ж, если не потянут мои худосочные герои, провиснет сюжет, не вытанцуется слог, ускользнет мысль и глухо прозвучит чувство, вещь должна уцелеть, должна сохраниться и пробить себе дорогу, хотя бы как прогрессивная и потому похвальная попытка спасти от заирения и увядания старинный и почтенный жанр.

Для бóльшей привлекательности следует сказать, что среди всех существовавших доньше семейных хроник, начиная с эсхиловой «Орестей», минуя «Тристрама Шенди», «Господ Головлевых», «Анну Каренину», «Будденброков» и, предположим, «Форсайтов», предлагаемая семейная хроника обладает единственным, но несомненным достоинством — краткостью!.. И это вовсе не заслуга автора, это заслуга нашего замечательного времени, когда время, отпущенное на существование семьи, измеряется не только что короткими годами — если бы так! Не только недлинными месяцами — и это куда ни шло!.. Немало примеров дает нам официальная статистика, указывая на семьи, просуществовавшие считанные дни и даже часы... Но и на этом фоне, который без труда дополнит и расширит своим собственным опытом приметливый читатель, настоящая семейная хроника может быть занесена в отдельный список, где поименованы события и поступки, ни на что не похожие, а если и похожие, то превосходящие все себе подобные в ту или другую сторону. Если допустить, что где-то на земном шаре, во вселенной, а может быть, и за ее пределами есть семья такой прочности и такой продолжительности существования, какие мы не можем себе представить своим умом, ограниченным пределами обозреваемого космоса, то так же смело можно предположить, что есть семьи, способные изжить всякого краткостью своего существования.

...Сегодня, когда история распахивает перед нами свои полные неожиданностей объятия, обещая невероятные, непредсказуемые никакой самой безумной фантазией сюжеты и ошеломляющих воображение героев, — куда же мне с моими старичками, которые даже в семейной хронике Тебеньковых занимают скромное, второстепенное место?

Что за причуда использовать нынешнее небывалое еще время, когда почти официально разрешена даже некоторая озлобленность против начальства, обрушиваться всей силой, всей мощью припасенных художественных средств на коровьего акушера в отставке, бывшего ветеринарного врача Владимира Петровича, обращая общественное внимание на его жестокий и неприглядный нрав! И это сегодня, когда вместе с масками с лиц, почитавшихся многие годы благодетелями человечества, летят прочь пенсне, усы, брови, кокарды, лампасы и звезды целыми созвездиями!

Ни тираны, ни изверги, ни злые духи, то там, то сям бравшие под свою опеку все, что охватывала их рука, любовь, взор и мысль, не коснулись ни Марии Адольфовны, ни Владимира Петровича, и поэтому оба героя должны быть отнесены к разряду безусловно второстепенных в рассуждении произошедшей всемирной истории, а принимая во внимание возраст, род занятий и вообще так никому, в сущности, и не понадобившуюся жизнь, их так же следует отнести к разряду героев исторически бесперспективных с точки зрения прекрасной своими неожиданностями истории человечества, которая еще поджидает своего часа в непроглядной дали времен.

В наши невероятные дни, когда почти отменена ненависть к бесцензурному слову, мысли, свободе, когда каждый думает все, что придет ему в голову, когда каждому дозволено считать себя не глупей некоторых, в это самое время отвлекать общественное внимание на коровьего лекаря и его семидесятиоднолетнюю невесту, быть может, дело совершенно предосудительное, удаляющее людей доброй воли от забот прогрессивных и не терпящих отлагательств.

Заботиться же о Марии Адольфовне и тем более о Владимире Петровиче не надо, поскольку даже ко времени излагаемых событий они уже одной ногой стояли в могиле, а в нынешние времена, надо думать, природа помогла им сделать тот неизбежный и завершающий шаг, по важности своей в жизни каждого человека сравнимый лишь с рождением. Быть может, следует еще сказать с прямотой и откровенностью, продиктованными нашими несчастными днями, о том, что ни Марию Адольфовну, ни тем более Владимира Петровича отнести к людям «доброй воли» никак нельзя. Просто невозможно припомнить, чтобы за последние пятьдесят — шестьдесят

лет они сделали что-нибудь примечательное для ускорения жизни на извилистых, тернистых, а подчас и политых кровью путях прогресса. И вообще не припомнишь, делали ли они хоть что-нибудь по доброй воле.

В ветеринарный техникум, как известно, Владимир Петрович попал не по доброй воле. Глубокие социальные корни — сын врача и конторской служащей с фабрики Мельцера — не позволили Владимиру Петровичу оторваться от своего недоброкачественного происхождения и проникнуть незамеченным в медицинский институт, как он того страстно желал. Не помогло и письмо наркому товарищу Семашко с напоминанием о заслугах отца Владимира Петровича, Петра Дмитриевича, не однажды успешно врачевавшего пострадавших в сражениях гражданской войны бойцов и командиров Красной Армии. Отвергнутый стойкой в своих классовых убеждениях приемной комиссией, как элемент социально чуждый новому обществу, Владимир Петрович, исполненный сострадания ко всякой живой твари и лишенный права милосердствовать роду человеческому, удовольствовался возможностью пройти в еще не поставленный на строгую социалистическую ногу ветеринарный техникум и пользоваться мелкий и крупный скот и всяческих животных из домашнего сословия.

По доброй ли воле большую часть своей подзатянувшейся жизни Мария Адольфовна прослужила стрелком вооруженной охраны на материальном складе станции Кунгур?

Семейная хроника сохранила достоверный ответ и на этот вопрос, и он прозвучит в полную силу в нужное время в припасенном для этого месте. А пока же надо честно и прямо сказать, что и за час и за минуту до принятия столь важного для всей ее последующей жизни решения не думала и не мечтала Мария Адольфовна, урожденная пани Сварецка, встать под ружье на долгие годы...

Семейная хроника! Этим сказано все...

Архивным материалом здесь служит кожаное пальто Алексея Андреевича, полученное по ленд-лизу в каком-нибудь успешном сорок четвертом году, пальто даже сравнительно мало ношеное в силу своего гиперболического фасона: от пояса вверх как бы колет тореодора, а от пояса вниз как бы кринолин или цыганская юбка... А чемодан! Купленный для поездки за границу, за границу не поехавший и лишь перемещаемый вот уже лет двад-

пать из кладовки на антресоли, с антресолей в чулан, а ныне и вовсе застрявший под письменным столом в бывшей детской, растерявшей своих подростков, женившихся и разлетевшихся из родительского гнезда обитателей...

Бедная, бедная Клавдия Степановна, домохозяйка с тридцатилетним стажем, не лукавый ли тебя попутал, когда на вопрос выездной комиссии райкома, на пустяшный вопрос: «Назовите, пожалуйста, партии в стране Помидории?» — ты, заподозрив подвох, с лукавой улыбкой, безотказно действовавшей на провизоров, мясников, приемщиков в ателье и мастерских и даже на водителей такси, сказала, что в указанной стране только одна партия. На законный вопрос комиссионеров: «Какая же именно?» — с неподдельной гордостью окончательно ляпнула: «КПСС, вот какая!»

...Невыездной чемодан, ставший семейным сейфом, ты хранишь в своих душных недрах чепчик с головы то ли старшего, то ли младшего сына, но равно бесценный для материнского сердца, хранишь ты и фуражку, в которой хаживал в девятый класс именно младший, поскольку старший успел закончить школу в ту эпоху, когда еще не додумались до возвращения фуражки на ученические головы; ты хранишь крепдешиновые руины, пестрое многоцветье первого послевоенного платья, крепкие непарные носки, расплзшуюся белую шаль, стянутые атласной ленточкой пачки писем военного времени, ручку от патефона, кулек с пуговицами и пару отличных рукавов от неведомо куда подевавшегося пиджака...

Мир тебе, чемодан несбывшихся надежд, чемодан, полный растаявших грез о посещении благословенной страны Помидории!.. Стань памятником, стань музеем, стань архивом! В твоём чреве лежит тоненькая пачка из десятка писем со станции Кунгур Южно-Уральской железной дороги, написанных женской рукой, непривычной к письменным занятиям, а более привычной к неполной и полной разборке старой доброй трехлинейки, вскапыванию небольшого, но плодovitого огорода на охраняемой территории и уборке караульного помещения...

И нигде больше, ни в одной хронике, ни в одном архиве, ни в одной самой полной всемирной истории, не сохранилось сегодня следов и памяти, хотя бы и косвенной, вроде этих писем, напоминающих стремящемуся к всеобщему счастью человечеству о невероятном поступке Владимира Петровича.

Оставим миновавшим временам семейные хроники, переполненные памятными с детства переездами на лошадях, трескучими морозами, двоюродными тетками, урожденными N. и выданными в надлежащее время в законный брак за N. N., а впоследствии мирно угасающими в окружении ожидающих наследства родственников...

Являясь сам современником собственных дней, могу утверждать, что и к своей собственной персоне не так уж много нынче у граждан любопытства, чтобы перебирать подробности чуждой им жизни. А потому, лишь отдавая дань традиции, необходимо слегка коснуться могил и, минуя все, что только можно миновать, дать живую картину жестокого поступка Владимира Петровича, с тем чтобы не умозрительные рассуждения, а сама живая действительность обратила нас к какому-либо замечательному лозунгу или призыву.

Прежде чем приступить к делу основательно — с пейзажем, погодой, с визгом трамвайных колес на повороте, — поскольку Мария Адольфовна ехала в загс на трамвае, петлявшем у гренадерских казарм и улицы Братства, в то время как Владимир Петрович катил из своих Озерков на двадцатке по прямой, как стрела, линии прямо до бывшего Учительского института, где разместился райком, а рядом в краснокирпичном здании типа казармы приютились загс и бюро по обмену квартир, — так вот, прежде чем пуститься в эти лаконичные зарисовки, подтверждающие истинность излагаемых событий, надо кратко и сжато изложить всю историю разом и сообщить ее смысл, чтобы читатель имел возможность решить самостоятельно, есть ли резон продолжать чтение или можно предаться более содержательным занятиям.

Итак, ему было семьдесят и он стоял одной ногой в могиле, ей же всего за три дня до этого исполнилось семьдесят один. Они поженились самым настоящим порядком, официально, со штампом в паспорте, соответствующей записью и сердечными поздравлениями от дежурного депутата райсовета. Мысли депутата, невысказанные вслух, не будут изложены и позже. Родилась новая и, стало быть, в известном смысле молодая семья. Жить бы им и жить, совет да любовь, а все пошло совсем по-другому, потому что Владимир Петрович по завершении официальной церемонии поступил просто жестоко. Вскоре после этого Мария Адольфовна уехала в свой Кунгур, который, впрочем, своим так никогда и не

считала, и больше своего жениха, то есть уже мужа, и в глаза не видела.

Смысл этой истории серьезный и нравоучительный: плохая штука — жестокость; как бы все замечательно и прекрасно могло сложиться, и дальний план Клавдии Степановны мог осуществиться в полной мере... Так нет же!.. Быть может, этот рассказ поможет хоть кого-нибудь ожесточить против жестокости. Вот и цель, вот и смысл, если преподнести его, смысл этот, художественно завуалированно, в форме каламбура.

После того как история изложена в самом кратком виде и обозначен ее смысл, можно приступить и непосредственно к хронике как таковой. Но и здесь рассказ будет постоянно тяготеть к вышеупомянутой свадьбе, не отвлекаясь на сообщение о том, как она, Мария Адольфовна, похоронила собственноручно троих своих детей и мужа, или про бонбоньерку с шоколадом, не будет подробных картин и сцен, где можно было бы наблюдать, как собираются в молодежном общежитии старички, чай пьют, разговаривают... Разумеется, если человек прожил уже семьдесят один год, о нем можно многое рассказать, одна погода за это время сколько раз сменилась, а мысли? а чувства? а настроения? Случаи всякие забавные, одних войн только было четыре, нет, пять... Но к чему все это? Правила хорошей семейной хроники требуют прежде всего разъяснения, кто же такая эта загадочная Мария Адольфовна, урожденная пани Сварецка, и, главным образом, как это она опять очутилась в середине шестидесятых годов в городе Ленинграде, хотя это ее появление не отвечало государственным интересам. Приехала она из Кунгура, куда уехала во время войны из Ленинграда, не то чтобы сама вет так взяла и уехала, просто, с точки зрения людей, мысливших государственно, оставлять во время войны в городе, готовившемся к схватке с врагом, лиц с таким отчеством представлялось небезопасным.

Пани Сварецка, едва начались бомбардировки города, была тут же вызвана на Дворцовую площадь, носившую в ту пору имя убитого на этой площади Михаила Соломоновича Урицкого. Решительный молодой человек с двумя шпалами в петлице безукоризненной гимнастерки попросил у нее паспорт, едва взглянул на сделанные в паспорте записи, на глазах Марии Адольфовны ловко,

без видимых усилий порвал полуматерчатую ткань обложки и бросил в стоявшую рядом урну, уже заполненную наполовину такими же никуда не годными документами. После этого Марии Адольфовне без объяснений была вручена справка и категорическое предписание немедленно покинуть город. Так в начале августа сорок первого года с быстротой и удобствами, о которых не могли и мечтать сотни тысяч горожан, устремившихся в эвакуацию, пани Сварецка покинула еще не знавший о своей судьбе Ленинград.

Высаженная согласно предписания сдержанного молодого человека с двумя шпалами на деревянном перроне станции уральского городка, славящегося своими мягкими для резьбы камнями и жесткими на вид и чуть грубоватыми в действительности нравами горожан, польская леди, не обремененная особенным багажом, кроме швейной машинки в одной руке, чемодана в другой и вещмешка за спиной, сразу с поезда шагнула в первую попавшуюся дверь. Дверь оказалась дверью отдела кадров станции, где ей было немедленно предложено место в охране материального склада, поскольку настоящие стрелки вот-вот должны были покинуть свои посты по мобилизации... Представьте себе, она согласилась с легкостью, которая может показаться даже легкомыслием, однако трезвый практический ум пани Сварецкой рассчитал получше Генерального штаба, что полчища оккупантов двинутся по советской земле значительно быстрее, чем ее поезд от Ленинграда на Урал, а стало быть, Красной Армии выгнать их до зимы навряд ли удастся, следовательно, ей понадобится зимнее пальто. Выехав из Ленинграда в легкой летней одежде, она не имела и каких-либо особых денег, если не считать свалившихся ста шестидесяти трех рублей, что в последнюю минуту успела ей вернуть взятые в долг Софья Валериановна, умудрившаяся найти Марию Адольфовну на перроне Московского вокзала в эвакуационной сутолоке и неразберихе. Принимая предложение инспектора по кадрам станции Кунгур, пани Сварецка соблазнилась не столько возможностью встать под ружье, полагавшееся ей по службе, хотя мысль о том, что ненавистные боши, дойдя до Урала, наткнутся и на ее штык, приятно волновала грудь, нет, как раз не волнением, а покоем и уверенностью в завтрашнем дне было сообщение инспектора по кадрам о месте в общежитии и форменной одежде летнего и зимнего образца с удержанием из зарплаты всего лишь

50 процентов ее стоимости. На такой прием, на такую встречу в далекой и несколько чужой земле пани Сварецка рассчитывать не могла. Видя столько кругом неустройства, бедности и непорядка, Мария Адольфовна не ждала и тем более не требовала от властей, запутавшихся в дележе весьма, в общем-то, ограниченных благ, своей доли счастья и благополучия. Судьбой своей в эту минуту и в последующие годы была довольна, а что рассказывать о счастливых людях, только читателей дразнить да раздражать собственную нездоровую печень завистью.

Где-то в середине пятидесятых годов Мария Адольфовна появилась в Ленинграде в синем берете, украшенном эмалевой мишенью со скрещенными винтовками; на удивленный взгляд Тебеньковых, прибывших на тот самый перрон Московского вокзала для встречи, Мария Адольфовна пояснила, что в форме чувствует себя на транспорте значительно уверенней.

Жила Мария Адольфовна в Ленинграде у Алексея Андреевича Тебенькова, поскольку он был хотя и не в прямом, но все-таки в родстве с Гильдой Вильгельмовной, а брат Гильды Вильгельмовны, умерший до войны, до первой мировой, разумеется, был в свое время женат на племяннице мужа сестры матери Марии Адольфовны, то есть, если говорить строго, являвшейся в какой-то мере даже сестрой Марии Адольфовны. И это все свято помнили и принимали Марию Адольфовну у Тебеньковых как родную отчасти и оттого, что дядя Адольф, которого никто из Тебеньковых никогда не видел и видеть не мог, поскольку в 1913 году дядя Адольф в городе Лодзь жил и застрелился, все-таки был женат на племяннице мужа сестры достопочтенной мамы Марии Адольфовны. Примешивалась сюда и иная благодарность за то, что в 1931 году, когда молодой Алексей Андреевич приехал из Воронежа в Ленинград учиться, жил он, пользуясь не прямым, но все-таки родством, у Марии Адольфовны на Морской, в той единственной комнате, что сохранилась у нее от неплохой квартиры, где жила в свое время одна большая семья. Шесть лет прожил Алексей Андреевич с Марией Адольфовной, можно сказать, бок о бок, пока работал на «Электросиле» монтером, а вечером мотался в Политехнический институт.

Принимали Марию Адольфовну еще и потому хорошо, что дети Алексея Андреевича не видели ни бабушек своих, ни дедушек. Обе бабушки дотянули только до бло-

кады, одна до декабря, другая до февраля, а дедушки умерли еще до войны, и поэтому Мария Адольфовна с ее пышной шевелюрой, к которой множеством шпилек крепился военизированный берет, с ее старыми манерами, с ее привычкой ко всем обращаться на «вы», с ее неистребимым польским акцентом, вся она была для детей Алексея Андреевича вроде как бабушка. Детям было уже за двадцать, младший умудрился, несмотря на протесты родителей, жениться, но оба сына громогласно утверждали, что обрести бабушку и на старости лет все-таки приятно.

Марию Адольфовну считали в семье вполне своим человеком, поэтому при ней ругались и ссорились, чего при посторонних, как известно, не позволяется.

Однажды, когда младший сын в очередной раз вогнал мать в слезы, Мария Адольфовна, утешая Клавдию Степановну, у которой все из рук валилось, сказала нарарпев:

— Хорошо, что я своих еще маленькими похоронила и слез от них не видела...

То ли для утешения так сказала, то ли пошутила. Детей своих она вспоминала совсем не часто, чрезвычайно редко, как и всю ту жизнь, что едва угадывалась в далеком довоенном прошлом, а вот бонбоньерку с шоколадом вспоминала часто. Старший брат Марии Адольфовны работал в Петрограде на фабрике «Торнтон» мастером по крашению тканей. Однажды старший брат пригласил в ресторан Марию Адольфовну, и отца, и мать, и других сестер, и брата Рудольфа. Был обед. А после обеда подали бонбоньерку с шоколадом, и обед этот очень часто вспоминала Мария Адольфовна, гораздо чаще, чем город Лодзь или город Штецин, где семья успела пожить перед войной, перед первой мировой, разумеется.

Как у Тебеньковых обед хороший да веселый, так она обязательно в конце вспомнит про бонбоньерку, а обеды такие случались у Тебеньковых не редко.

Приезжала Мария Адольфовна в Ленинград не часто, раз в три года примерно, но жила подолгу, месяца два-три, а последний раз почти полгода. И дело вовсе не в сорока семи рублях пенсии, которая там, в Кунгуре, за три месяца набегала в изрядную сумму, дело в том, что всякий раз становилось все трудней найти подходящий мотив, причину и объяснение отъезда Марии Адольфовны обратно в Кунгур, в свое родное молодежное общежитие, где вечерами допоздна играют в пинг-понг, смот-

рят по телевизору передачи из Перми и стремятся утвердить свой музыкальный вкус и права своего музыкального кумира не только у себя в комнате, но и в коридоре, и на всем этаже, устраивая соревнования громкости приемников, проигрывателей и магнитофонов, хотя в ту пору магнитофонов было всего два на все общежитие. Жила в общежитии Мария Адольфовна вместе с напарницей, тоже пенсионеркой, в той самой комнате, что была оборудована под жилье самой Марией Адольфовной в конце лета и начале осени 1941 года...

Вообще-то Мария Адольфовна разместилась в общежитии очень хорошо, очень удачно. То есть сначала, как бы временно, ей был предоставлен апартамент в виде бывшей умывальни, вот уже два года по своему прямому назначению не использовавшейся; превратить умывальню в жилое помещение тоже не представлялось возможным по причине отсутствия печки, предмета в условиях Южного Урала необходимого. Впрочем, если бы эта умывальня в молодежном общежитии была оборудована как следует, вряд ли из нее удалось бы соорудить очень приличное жилье всего лишь двумя женскими руками в весьма короткий срок. Но умывальня была устроена тяп-ляп.

В конце-то концов! Не те времена, чтобы делать тайну из вопроса, почему все-таки закрыли умывальню. Дело в том, что умывален на первом этаже было две, в торцах длинного коридора этого изрядного двухэтажного деревянного здания. И в обе умывальни с улицы лезли не воры, конечно, а те самые *посторонние лица*, присутствие которых в стенах и под крышей молодежного общежития категорически запрещено правилами внутреннего распорядка и правилами нравственности. У коменданта, располагавшего всего лишь двумя ногами, причем одна из них была деревянной, не было возможности драться с наседавшими врагами режима на двух фронтах одновременно. Сначала комендант принял историческое решение — закрыть южную умывалку в порядке временной воспитательной меры, но мера оказалась недостаточно эффективной, и про закрытую умывалку забыли. Пытливого ума читатель, разумеется, спросит, почему же нарушители режима не лезли непосредственно в окна жилых комнат хотя бы первого этажа? Вопрос серьезный. И ответов может быть сразу несколько. Ну, во-первых, в условиях климата Южного Урала окна жилых помещений тщательно заделываются и утепляются на значи-

тельную часть года, и открывать их непрерывно значит попросту рисковать здоровьем всей комнаты ради сомнительного удовольствия немногих. Во-вторых, комната, уличенная в нарушении самого основополагающего правила внутреннего распорядка, могла вся разом лишиться права на койку, права на заслуженный отдых после трудового дня. Были случаи, когда отправлялись искать жилье в частном секторе целыми комнатами, а в городе, забитом *выковыренными*, как в шутку назывались эвакуированные, найти жилье и за хорошие деньги было непросто... Иное дело, гость, пролезший в окно умывалки! Ему грозит всего лишь изгнание в случае задержания, и никаких санкций на тех, кто, затаив дыхание, ждал гостя.

Не понадобилось ни великих средств, ни огромных усилий, чтобы запущенный чулан превратить в превосходное жилье, даже как бы в отдельную квартиру почти со всеми удобствами. И то, что раньше было недостатком, обернулось значительным достоинством! Например — полы. Полы в умывальне были деревянные, крашенные, для туалетной — плохо, а для квартиры — клад! Из трех раковин, укрепленных вдоль правой внутренней стенки, действовала лишь одна, первая от двери, что было неудобно в смысле толкучки и очереди, но когда Мария Адольфовна, действуя шведским ключом и небольшим ломиком типа фомки, разобрала и выкинула две недействующие, то первая у двери оказалась совершенно на месте, да еще освободилось место и для плиты. Набрав на станции цемента из порванных при разгрузке мешков и прихватив ведро песка, предназначавшегося для тормозных песочниц паровозов, она за один вечер так заделала стенку, что и следов от утративших свой смысл раковин не осталось. О том же, как появилась в этой части обживаемой территории плита, ходили легенды. И даже в три колена жестяная труба, протянувшаяся от плиты почти через все жилье, способствовала дополнительному обогреванию помещения. Поставленная перегородка, сооруженная из отслуживших свое линялых транспарантов «Берегись поезда!», «Хождение по путям опасно!», «За курение на территории нефтесклада — под суд!» и известного высказывания товарища Молотова «Все дороги ведут к коммунизму!», была укреплена дополнительной фанерой и оклеена с обеих сторон поверх газет дешевыми обоями.

В течение трех недель, что Мария Адольфовна с муравьиным упорством и большевистской решительностью

чуланную нежить превращала прямо-таки в хоромы, комендант общежития почти непрерывно участвовал в проходах своих бывших подопечных и постояльцев на фронт и потому трезвым почти не был. Однажды, протрезвев, он вспомнил, что «вохровская тетка», как она числилась в его своеобразной памяти, не устроена и надо что-то решать, нашел ей место в шестикоечной комнатке и со счастливой вестью приковылял к бывшей умывалке. Не веря своим глазам, он обозрел как бы отдельную квартирку из кухни и спальни-гостиной, мгновенно прикинув, что, кроме полагающегося шкафа, можно поставить еще и вторую койку. Так Мария Адольфовна получила к себе в компаньонки Сусанну Яковлевну, женщину тихую, приветливую и одинокую, занесенную в Кунгур шальным военным ветром. С лица Сусанны Яковлевны никогда не сходила такая как бы полуулыбка, которой она словно просила прощения за свой небольшой горбик, горькой поклажей лежавший на ее узкой спине с раннего детства. Сразу же приняв старшинство решительной и ясной Марии Адольфовны, Сусанна Яковлевна, несмотря на то что была старше Марии Адольфовны лет на пять, взяла безропотно роль младшей сестры. Надо сказать, что комендант, человек совестливый и грубый только по долгу службы, чувствовал себя несколько неуютно, сознавая, что никак не принял участия в устройстве жилья на территории умывалки, что могло пойти лично ему в плюс как инициатива по уплотнению, и потому хотел как-то внести и свою лепту. Дополнить новое жилье чем-либо у него попросту не хватало фантазии, и оставалось только что-нибудь сохранить из того, что еще не было выкорчевано твердой рукой польской леди. Невыкорчеванной оставалась только решетка на окне. Та самая многострадальная решетка из арматурной проволоки, множество раз гнутая, отрываемая, прибываемая скобами и барочными гвоздицами, вареная-переваренная... «Нас не украдут!» — ударяя на «а», сказала Мария Адольфовна, требуя снять решетку. Комендант не оплошал, он плотно подступил к Марии Адольфовне, резко оглянувшись на притихшую на своей койке Сусанну Яковлевну и, почти не разжимая губ, быть может, только для того, чтобы сдержать предательский дых, зловеще произнес: «До особого распоряжения...» Это признание можно было понимать многообразно: то ли комендант ждал на этот счет указаний из далекой Москвы, то ли из местных органов, громко вслух не именуемых, то ли намекал на особые мо-

тивы, связанные с подселенной жилищкой, в общем, это был тот самый голос и тон, который безошибочно позволял каждому его услышавшему понять значительность сказанного и самому подобрать объяснение для любой, даже ляпнутой с полухмеля, глупости. Зная, что такое зря не говорится, Мария Адольфовна с решеткой смирилась, а после того как в общежитие трижды проникали уже не романтические поклонники юных затворниц, а самые натуральные расконвоированные зэки, в немалом числе объявившиеся в Кунгуре, вопрос о решетке на окне первого этажа Марией Адольфовной и Сусанной Яковлевой, разумеется, не поднимался...

Служба в вооруженной охране, имея в виду многие ее преимущества, не особенно тяготила Марию Адольфовну; относясь к любому делу серьезно и уважительно, сознавая его необходимость в общей цепи человеческих забот, в чем в полной мере обнаруживала себя подлинно европейская традиция, она сравнительно легко привыкла к новому своему положению...

У Тебеньковых жалели, что Мария Адольфовна так далеко живет одна, и все время говорили, чтобы переезжала в Ленинград, но все было сложно. Бурный и прямой Алексей Андреевич, как и подобает руководителю его ранга, так прямо и объявил: «Ну что вы там в своем общежитии сидите, смерть поджидаете?!» На это Мария Адольфовна только смеялась.

Комната на Морской, где она жила до войны и где квартировал в свое время юный в ту пору Алексей Андреевич, во время войны пропала. Дом уцелел, а комната пропала. Вернуться после эвакуации, вернуться все-таки без паспорта, стало быть, сначала выхлопотать паспорт, потом хлопотать о площади, о прописке, это какое же надо иметь здоровье, или какие деньги, или хотя бы знакомства. Ни первого, ни второго, ни третьего у Марии Адольфовны не было. А чтобы прописаться у Тебеньковых, хотя площадь и позволяла, нет оснований. Не скажешь начальнику паспортного стола, что муж племянницы мужа сестры Гильды Вильгельмовны, дядя Адольф, был прекрасный человек, хотя и застрелился в 1913 году в городе Лодзь. Сначала Мария Адольфовна побаивалась подолгу жить без прописки у Тебеньковых, а последний раз зажилась. Немалую роль в этом продолжительном гостевании, конечно, играла Клавдия Степановна. В хронике Тебеньковых, изобилующей семейными кризисами разного масштаба и полета, середина шестидесятых годов

будет обозначена как эпоха «игры вслепую». Игра эта не имеет ничего общего с шахматами, так как там все просто, нужно иметь хорошую память и помнить свои ходы и ходы соперника. В этой же игре, что вела Клавдия Степановна, ей приходилось делать ходы, не зная наверняка, что там еще совершил или только еще собирается совершить, какой еще ход сделает ее размахистого нрава супруг. Семейные узы, скрепленные детьми, сильно ослабели после того, как дети выпорхнули из родительского гнезда: один — к жене, другой — на недалекую стройку, где-то на Свири, соблазненный не столько перспективами инженерного роста, сколько возможностью передохнуть после института, отдохнуть от семейного деспотизма. Дом как бы опустел. И как ни старалась Клавдия Степановна заполнить его праздниками выдуманскими и настоящими, как ни старалась нагрузить и самого Алексея Андреевича заботами по благоустройству и совершенствованию среды обитания, даже приобретение «Москвича»-стиляги, съедавшего немало свободного времени Алексея Андреевича, не давало Клавдии Степановне возможности чувствовать себя спокойно. В сущности, Клавдию Степановну ее природное чутье и на этот раз не подвело, когда она рассудила, что старики могут вполне заменить детей, если рассматривать их как элемент крепления семейных устоев.

Нельзя поручиться, что именно этими словами, именно так понимала Клавдия Степановна сложившуюся к середине шестидесятых годов ситуацию, но разве дело в словах?..

...Был чудесный июньский день. Ему предшествовало прекрасное утро, обещавшее исключительно хороший день и, надо сказать, сдержавшее свое обещание.

Клавдия Степановна, человек убежденный, что ленинградцы, в отличие от прочего человечества, есть люди, исполненные тонких чувств и, главным образом, тонких предчувствий, в это утро еще раз подтвердила верность своим убеждениям. Какое-то... Зачем — какое-то? Именно *ленинградское* предчувствие подсказало ей завидной решительности поступок.

— К черту обед! — сказала эта женщина, в общем-то Бога побаивавшаяся и задабривавшая его куличами. — К черту кастрюли! Конец всему этому не будет... Такой день, солнце... Поехали на острова? Вернемся, что-нибудь

сообразим по-быстрому. Я думаю, рыбу возьмем на углу Куйбышева и Чапаева, а сосиски купим у нас в гастрономе.

— Леша просил воротничок на двух рубашках пере-
ставить, — нараспев и даже сердито сказала Мария Адольфовна. — Как же я могу ездить на острова?

Прожив всю жизнь среди русских, Мария Адольфовна все-таки ударения во многих словах ставила по-своему, и потому речь ее была всегда особенной.

— Хватит этой каторги! — помолодев от собственной решительности, сказала Клавдия Степановна. — Едем!

Если бы Клавдия Степановна стала и дальше словами убеждать Марию Адольфовну в необходимости отдохнуть и развеяться, то навряд ли она одержала бы верх. Но она просто скинула шлепанцы и решительно пошла причесываться к зеркалу. Мария Адольфовна, что-то сердито ворча под нос, но достаточно неразборчиво, чтобы не завязалась дискуссия, тоже приступила к сборам.

Поездка на Кировские острова, излюбленное место отдыха трудящихся, была бы вполне симпатичной прогулкой двух беглецов с домашней каторги, если бы с самого начала поездке этой не сопутствовала излишняя доля деловитости, ощущение смелости и дерзости предприятия, не покидавшее Клавдию Степановну.

Будь я живописец и будь у меня под рукой холст и порядочные краски, мне не составило бы труда в этом месте написать картину, отражающую именно то настроение, каковым необходимо проникнуться читателю хроники, прежде чем он окажется на Кировских островах. Впрочем, нет нужды тужить об отсутствии красок, холста и умения делать картины, необходимая картина уже сделана и принадлежит кисти художника И. Левитана, называется «Золотая осень» и известна по множеству репродукций как на изделиях фабрики «Северное сияние», так и на изделиях фабрики имени Микояна. Почему же трамвайная остановка на пыльном проспекте, клубящийся в жаре каменный город, грохотом и зноем напоминающий цех железодельного завода, должен навевать чувства, запечатленные на картине «Золотая осень»? И дело происходит в июне...

Взгляните сами: солнце залило горячим светом весь город и всю природу, а две женщины, одна просто пожилая, а другая даже очень пожилая, чтобы не сказать старая, словно разом помолодев, бросились к солнцу, и безумное предчувствие счастливой будущности засияло

им вдруг радужными цветами... а когда уставшая жить без надежды природа встречается с солнцем, ярким и щедрым, и радуется этой встрече, душа как раз и наполняется настроением, столь счастливо высказанным на картине И. Левитана «Золотая осень».

Для сообщения же исторической достоверности предлагаемой хроники необходимо сказать, что к описываемому дню подсезон разгара весны уже миновал свой пик. По садам и дворам отцветала спасшаяся и уцелевшая в городе черемуха, оставляя на газонах и тротуарах белые наметы. Это были последние годы гнездования ласточек-касаток в городе, не умея добыть себе и детям корм вверху, они носятся в поисковом полете низко над землей, где и находят свою единственную пищу — насекомую летучую мелочь. Излишне чувствительные к загрязненному воздуху, и особенно выхлопным газам, уже в последующие два-три года касатки покинули город, переселившись в окрестные поселки окончательно, и больше не тревожили душу своим стремительным безудержным полетом над Марсовым полем, над могилами борцов, павших за лучшую жизнь.

Округлый мысок, разделяющий устье Средней и Большой Невки, именуется, как и множество подобных мысков, «стрелка», но именно этот мысок обладал в представлении сверстников как Марии Адольфовны, так и Клавдии Степановны каким-то особым неизъяснимым свойством.

Город, утвердивший владельческие права русской короны на Балтийском море, выхода к морю, попросту говоря, набережной с видом на море, не имел. И долгое время едва ли не единственным местом, приспособленным для созерцания вожденной морской дали, была «стрелка» на Елагином острове. Место украсили прекрасными каменными львами на великолепных каменных же подставках, львы стояли, умиротворенно глядя друг на друга, для важности положив приподнятые лапы на шары, оказавшиеся на постаменте очень кстати. Здесь же были оборудованы каменные скамьи, удобные для сидения в более мягком климате.

Живописная панорама расстилалась перед достигшими «стрелки» горожанами: прямо — вид на море, вернее, на неглубокий залив, именуемый в память об одном из осторожных командующих Балтийским флотом, предпочитавшем держаться недалеко от города акватории, Маркизовой лужей, кабельтовых в семи — девяти на тра-

версе Кронштадта можно наблюдать земснаряды, перегоняющие песок со дна залива в Лахту, череду столбов линии электропитания, тянущихся через мелководье, а еще дальше темные силуэты теряющихся в солнечном мареве фортов; слева открывался вид на обширные в ту пору пустыри левобережья Средней Невки, вправо же — вид на Большую Невку, шириной уступающую и Средней и Малой, и лесопилку с высоченной жестяной трубой, носившую еще на памяти Клавдии Степановны имя Алексея Рыкова...

Трудно все-таки объяснить, почему истинный ленинградец, побывав именно на этом месте, уходит отсюда отдохнувшим, посвежевшим и приобщившимся даже к чему-то большему, чем природа, красота и поэзия...

— Володя! — крикнула Мария Адольфовна, и если сутулый гражданин с палкой в руках, семенивший мимо львов, еще не расслышал этот крик, нам надо вернуться к хронике и проследить последующие события со всем вниманием.

— Володя! — снова крикнула Мария Адольфовна, очень кругло произнеся оба «о».

Наконец, Владимир Петрович догадался, что Володя это все еще он, и подошел к дамам.

Он был несказанно рад, встретив Марию Адольфовну и Клавдию Степановну. Клавдию Степановну он до этого не знал и был представлен.

Разговор людей, не видевшихся почти двадцать лет, очень интересен и его легко представит каждый. Значительно важнее сказать о том, о чем не говорилось.

С какой стати стал бы Владимир Петрович напоминать Марии Адольфовне в первые минуты встречи, радостной и неожиданной, как игравали они в четыре руки, и игры эти, быть может, и послужили основанием для предложения со стороны Владимира Петровича и дальше играть вместе, до конца своих дней, как в 1934 году он сделал овдовевшей Марии Адольфовне предложение, был настойчив и жил надеждой, пока в 1936-м не услышал заветное «да». А когда он приехал к Марии Адольфовне на Морскую, чтобы сопровождать ее в загс, произошло следующее.

Незадолго до прихода жениха Мария Адольфовна, утомленная всеми хлопотами приготовлений, а разделить эти хлопоты уже тогда было некому, прилегла и уснула. Она проснулась от робкого, но настойчивого стука в дверь. И робость этого стука все и решила. Она в ту же

мигнута представила себе Владимира Петровича, от робости поклоняющегося всем богам, а пуще всего — дие-те. Ей показалось, что в дверь постучалась старость.

Она накинула капот и открыла дверь.

— Володя, я хочу спать, зайди как-нибудь в другой раз, — сказала Мария Адольфовна и захлопнула дверь, лишь на секунду задержав взгляд на улыбке, которую принес ей Владимир Петрович. Улыбка была такая, будто ее взяли напрокат или купили в магазине держанных вещей. Мария Адольфовна даже успела представить за эту секунду, как нес Владимир Петрович эту улыбку по улице, поднимался по лестнице, боясь уронить с лица, благодарил соседей, открывших дверь, вот этой же самой улыбкой... Быть может, если бы не эта улыбка, она вышла бы за него замуж и не захлопнула бы дверь, ведущую к счастью. Но она согласилась, дала согласие именно тогда, когда огорченный долгим упорством Владимир Петрович вдруг перестал улыбаться вот так. Она, конечно, не сказала ему об этом. А теперь она просто закрыла дверь и уснула, как человек, сделавший важное и большое дело.

Потом они снова встречались и были друзьями до самой войны. И Владимир Петрович провожал Марию Адольфовну из Ленинграда в 1941 году в Кунгур и нес швейную машинку. Он несколько раз пытался возобновить переговоры о супружестве, но Мария Адольфовна была непреклонна.

Теперь самое время рассказать о Владимире Петровиче, он заслуживает того, чтобы о нем было составлено правильное представление, прежде чем мы увидим его во всем размахе его жестокого поступка, тем более что найти достоверное описание Владимира Петровича, кроме как в этой семейной хронике, пожалуй, и негде. Отрывочные сведения, хранящиеся то там, то сям о каждом из нас, не дадут основания для сколько-нибудь правильного суждения об этом человеке, способном бог знает на что.

А, собственно, что за нужда знакомиться с каким-то Владимиром Петровичем?!

Вопрос совершенно уместный и заслуживающий незамедлительного ответа.

Владимир Петрович представляет безусловный исторический интерес как человек единственный в своем роде, чья душа была подвергнута идеальной обработке молотом социальных бурь на наковальне эпохи. Ну и, ра-

зумеется, Владимир Петрович представляет безусловный интерес в рассуждении о жестокости.

Редкий ветеринарный врач за свои тридцать — сорок лет службы не удостоивался в шутку или всерьез имени сказочного доктора Айболита, рожденного доброй фантазией знаменитого поэта, и только Владимир Петрович ни единого разу не услышал о себе такого, уж больно он был не похож, уж больно он был лишен и респектабельности, и энергии, и бьющей через край воли, создавших все вместе, быть может, самый привлекательный образ ветврача в мировой литературе. Надо думать, животные испытывали безусловное удовольствие от общения с Владимиром Петровичем: те, что позлей, понимали, что им не составит труда его загрызть или забодать, звери же смиренного нрава видели во Владимире Петровиче столь безобидное существо, что и зла от него совершенно основательно не предполагали.

Исцеление тяжело больного животного не вызывало в нем воодушевления, прилива сил, приступов самолюбия и веры в свои немалые способности, напротив, всяческое счастливое обстоятельство он рассматривал всего лишь как удачное избавление от возможных неприятностей, которые ожидали его в случае неблагоприятного развития событий и болезни.

Бессловесную тварь он понимал лучше и легче, чем людей, сам звук постороннего голоса, обращенный к нему с требованием или призывом исполнить долг, или занять место в общественном строю, четко шагающем к намеченной цели, в общем, вся наша шумная прекрасная жизнь производила на него впечатление не то чтобы оглушающее, но вводила в состояние, близкое к оцепенению. Всякий громко разговаривающий человек уже был для него начальником, а способный наорать и изматерить в правах на его робкую душу мог сравняться с самим господом Богом. Свою же доброжелательность, снисходительность и мягкий нрав, какого только и можно пожелать от истинного петербуржца, еще не подвергнутого обработке историческими катаклизмами, он частично распространял на женщин, каковых робел меньше, потому и терпел от них меньше, по большей же части все добродетели своей души и немалый опыт он проливал на своих четвероногих пациентов.

Приветливость Владимира Петровича, что отлично замечали даже его больные, была окрашена легкой тенью пришибленности, от чего производила впечатление не-

сколько болезненное. Но это только на первых порах, потому что Владимир Петрович умел как-то так убраться, как-то так уничтожиться, что и вовсе становился незаметен, и уже никакие его проявления не способны были привлечь к нему чье бы то ни было внимание. О нем помнили, но не замечали.

Фигура Владимира Петровича, в основном недурно сложенная и не лишенная приятных линий, в результате воздействия как внутренних, так и внешних стихий ясность форм утратила и нажила некоторую неопределенность, какую-то гуттаперчевую мягкость. Волосы носил свои собственные, за ушами стремившиеся расти почему-то горизонтально, по-видимому, вследствие многолетнего ношения ветеринарного колпака, ограничивавшего рост в высоту. В одежде он был скромен и нарядов броских, обращающих на себя внимание роскошью или каким-нибудь неожиданным фасоном, не носил, за модой практически не гнался и не однажды приобретал довольно приличные костюмы универсального в смысле моды покроя в магазинах держаных вещей, справедливо находя это целесообразным и с личной точки зрения, и с точки зрения общественной экономии. Не терпя праздности и поглощенный с утра до вечера житейской суетой, освященной некоторой внутренней значительностью, Владимир Петрович день заканчивал рано и уже вскоре после девяти часов вечера всячески стремился ко сну. Охоту, азартные игры, скачки и собственно верховую езду он не любил, хотя мог больной лошади и даже здоровой оказать массу всевозможных услуг.

Надо заметить, что скорее всего врачом Владимир Петрович был замечательным, но животные об этом сказать не могли, а работу свою он облекал в форму такого молчаливого услужения бессловесным тварям, что хозяева исцеленных зверей никак не решались воздать должное его искусству. В подтверждение сказанного можно привести случай с утробной водянкой. В Парголово, на улице Жданова никак не могла растелиться старая черная корова, которой в пору было не под быка идти, а под нож. Полночи приглашенные хозяйкой солдаты из стоявшей сравнительно недалеко у шоссе зенитной батареи, уже не раз оказывавшие разного рода ценные услуги, таскали оравшую, как паролод в тумане, корову по полу слева, таскали за голову появившегося и даже дышавшего телянка. Голова вышла, а дальше ни в какую! Бывает. Редко, но бывает. Промучившись подночи, послали за

Владимиром Петровичем в Озерки. Он прибыл и установил редчайший случай — теленок в утробном состоянии заболел водянкой, разбух и выйти смог лишь благодаря немалому искусству и сообразительности Владимира Петровича. Теленка, естественно, спасти не удалось, но поначалу ни злополучная роженица, ни ее хозяйка не могли поверить в свое счастье... А уже минут через двадцать ему пришлось слушать совершенно несправедливые упреки в том, что теленок не был спасен, что корова теперь не скоро придет в себя, что к началу отела Владимир Петрович мог бы сам догадаться и приехать, а главное, что не предотвратил и не предсказал этой самой водянки заранее, хотя месяц назад к черной корове был приглашаем...

Другой лекарь тебе палец йодом помажет, а ты уходишь от него переполненный по гроб жизни благодарностью, чуть ли не за спасенную жизнь, за возвращенное здоровье и как бы гарантированное место в царствии небесном, а другой... да что о других говорить, их почти и не осталось, и Владимир Петрович вовсе, может быть, из последних.

«Как? — воскликнет читатель. — Как? И этот человек способен на жестокость? И это его поступки, его подвиги идут под рубрику, по праву принадлежащую едва ли не всем генералиссимусам, за вычетом Антона Ульриха, фельдмаршалам и сотрудникам явных и тайных организаций, предпочитающих прижизненной славе славу посмертную?»

Да, ни величия души, ни размаха живого ума, сколько ни приглядывайся к Владимиру Петровичу, не различишь, и то сказать, вся жестокость на свете происходит от мелкого люда... Знающие могут возразить и сказать множество примеров того, как злодействовали и обрекали людей на неслыханные муки и лютые смерти вершители судеб, вызывавшие восхищение современников, те самые, кто никогда по великости своих злодеяний не будет отнесен к мелкому люду... Что тут можно сказать? Если для утверждения своей великости никак не обойтись без мучительства, смертей и казней, то пусть сам читатель решит, поднимается ли в этих случаях палач и мучитель до некоторого величия или, напротив, само величие приспособляется к палачу, до него опускается... Решай, читатель, кто тебе по сердцу, с кем тебе по дороге.

Обращаясь назад, мы застанем Владимира Петровича стоящим с сильно бьющимся сердцем и прерывающимся

вдруг дыханием, ввергнутым на какие-то недолгие мгновения именно в то самое состояние, в каком он пребывал тридцать лет назад почти два года кряду. Это был признанный им самим отзвук самозабвенной страсти, имя которой любовь.

Они замерли все трое, стараясь не спугнуть очарования этой минуты преждевременными речами.

Серая домашняя кошка вышла из-за куста шиповника, огляделась и с хозяйской деловитостью потрусилась невесомой походкой по кремнистой прогулочной дорожке в сторону замерших на пьедесталах львов, лишь поравнявшись с Владимиром Петровичем, смотревшим на Марию Адольфовну и улыбавшимся, перешла на галоп и в несколько прыжков оказалась на широкой спинке каменной скамьи. Недолгое юношеское предвкушение жизни еще в ранние лета Владимира Петровича было окрашено тревогой, связанной со столь неудачным социальным происхождением, тускло и робко прошли последующие годы; дожив до семидесяти, он так и не успел полюбить эту жизнь, полную интриг и ловушек, расставленных для каждого из нас на пути к могиле. Нет чтобы сбросить все, что мучит и угнетает, нет чтобы хоть за минуту до конца закрыть глаза на сумятицу и неразбериху этого мира и полной грудью вдохнуть неземную радость. Он еще никогда не был так близок к тихим радостям домашнего уюта и покоя, воплощенная мечта уже была готова поднять его на своих сладостных крылах, однако... пробужденные вмиг воспоминания коснулись всех струн его души, но ни одна не отозвалась тотчас же желанием счастья, больше того, природа не взывала его к женитьбе, и тусклые ее звуки едва касались сердца и уже не приводили в движение уснувшие чувства. Природа беззвучно подсказывала ему, что сил осталось лишь на то, чтобы поддержать жизнь, а счастье... Что счастье?..

...Они заговорили, перебивая друг друга, но бурная вспышка, обещавшая бесконечные рассказы и расспросы, ни рассказами, ни расспросами не разрешилась, поскольку, в сущности, никто не знал, о чем говорить.

Речи хлынули потоком, но, к немалому удивлению всех троих, через совсем небольшой промежуток времени поток стал иссякать, а минут через тридцать уже струился так же неторопливо, неся на своих волнах множество случайного сора, как водится в пору половодья, когда вышедшая из привычных ограничений река от полноты чувств чего только не подхватит из всякой плаваю-

щей дряни, до которой случится дотянуться нечаянным водам.

В какой-нибудь час они рассказали друг другу почти все, что могли рассказать. Не могла же Мария Адольфовна вот так сразу обрушиться на Владимира Петровича рассказ о событии, быть может, самом ярком и значительном в истекшие годы, о том, как сотрудники материального склада вместе с отрядом вооруженной охраны провожали на заслуженный отдых работника вооруженной охраны, шестидесятилетнего стрелка, служившего долгие годы примером в труде и общественной жизни. И дело совсем не в том, что слог у Марии Адольфовны недостаточно красочный, просто она даже сама удивилась, как быстро кончился ее рассказ об этих долгих и утомительных годах приуральской жизни. Не могла она вот так вот сказать о том, как именно ее вкус, а еще в большей мере ее немалый авторитет помогли вырваться из захолустной безвестности даровитому ныне художнику Аркадию Михайловичу Р. Два года, живя в общежитии, писал он картину «Штурм» красками и маслом. Центральное место в картине занимал невиданных размеров красноезвездный танк, которого одного было бы достаточно, чтобы сокрушить все остальные танки на свете, над танком развевалось победоносное знамя, а за ним летели солдаты, почти не касаясь брезентовыми сапогами образца 1941 года брустверов вражеских окопов, солдаты с лицами обитателей железнодорожного общежития. На глазах Марии Адольфовны девятнадцатилетний Аркадий Михайлович Р. преодолел ограничительные рамки гиперболического реализма и поднял кистью художника материал и тему картины до высот эпического гротеска. Вокруг картины «Штурм» не утихали страсти. Комендант общежития довольно быстро уловил веяния времени и понял, что глубинное понимание искусства состоит в умении запрещать. Он сказал, что в комнате отдыха никогда не будет висеть эта насмешка над нашей Победой. Причина же подлинная была в другом: один из убежавших немцев, хотя и был изображен со спины, был неотличимо похож на коменданта. Немец заваливался направо и, должно быть, лишился в этом бою если не жизни, то, как минимум, правой ноги...

Присвоение власти, ему не принадлежащей, было маленькой слабостью коменданта общежития, а может быть, и характерной для эпохи чертой, заимствованной комендантом у персон такого полета, таких высот, куда ему с

его деревянной ногой было и не взлететь пикогда в жизни. Пребывавшие в разного рода зависимости от него обитатели общежития робели защищать картину «Штурм», только Мария Адольфовна нашлась и сказала, что Аркадий израсходовал почти все краски, что были выписаны на культурно-воспитательную работу в общежитии, и если картина не будет висеть на видном месте, то отчитаться в израсходованных красках будет невозможно. Доводы подействовали на коменданта, и он уступил. А буквально через год выписанный из Москвы настоящий художник, расписывавший клуб железнодорожников, увидев «Штурм», пригласил Аркадия Р. к себе в помощники, а потом и вовсе увез в Москву и вывел на большую дорогу монументальной живописи...

Владимир Петрович сидел на скамейке, подвинув к Марии Адольфовне свое лицо, с той самой улыбочкой, которой, видно, сносу нет, той самой, за которую, не ведая того, расплачивался и по сей день, он рассматривал большое рыхлое лицо своей бывшей невесты сквозь выпуклые стекляшки круглых очков. Стекляшки на очках были покрыты такой сеткой царапинок и мутных пятнышек, что и зрячий-то через них ни шиша не увидит. А Владимир Петрович рассматривал Марию Адольфовну досконально, даже головой двигал и почти ничего не слышал, потому что, когда Мария Адольфовна сказала, что наведывается теперь к Алеше Тебенькову уже не первый раз и живет чуть ли не четвертый месяц в гостях, скоро уж и домой ехать пора, он вдруг высказался:

— Нехорошо, Маша, что ты так далеко уехала, надо тебе в Ленинград переезжать.

Потом он стал рассказывать про свои болезни, спрашивать про болезни Марии Адольфовны, подробно рассказал, при какой болезни какая нужна диета. В этом месте разговора приняла живейшее участие Клавдия Степановна, лишь улыбавшаяся до этой поры. Сошлись на том, что кефир хоть и простая вещь, но всегда хорош, только что не от радикулита. Владимир Петрович привел несколько очень удачных цитат из Ильи Ильича Мечникова.

Позднее состоялся визит Владимира Петровича к Тебеньковым, и он в шесть вечера говорил о том, что на ночь есть вредно. Спрашивал, есть ли в винегрете постное масло, и, узнав, что таковое там имеется, печально улыбнулся, очень печально. Со скорбным выражением лица съел винегрет. Когда приступал к рыбе, которая

тоже оказалась жаренной на постном масле, рассказал о вреде жареной пищи. Рыбу тоже съел, но чай пил принципиально без сахара.

Визит Владимира Петровича счастливо совпал с прибытием под родительский кров обоих сыновей: старший сбежал со стройки в какую-то выдуманную командировку, чтобы отдохнуть от холостой жизни, младший, в очередной раз поругавшись со своей юной женой, примчался отдохнуть от жизни супружеской.

Дети потом еще долго играли во Владимира Петровича, третируя мать постным маслом, разговорами о диете и вспоминая услышанное от Владимира Петровича: «Очень вам кланяюсь...»

Визит Владимира Петровича оставил след и в памяти Клавдии Степановны, более того, именно во время этого визита Клавдия Степановна, пораженная внезапно явившейся ей мыслью, побледнела и ничем более не выдала своего волнения. Сначала ей самой нужно было свыкнуться с явившейся мыслью, а потом уже приручить к ней и Марию Адольфовну.

В домашних разговорах, непрерывно шедших между двумя женщинами, подолгу остававшимися вдвоем, все больше и больше места стали занимать вопросы брака. Клавдия Степановна не однажды говорила о том, что к браку, замужеству и женитьбе нынче относятся совсем не так, как в прошлые времена, с чем Мария Адольфовна спешила согласиться. Клавдия Степановна привела немало примеров даже вовсе фиктивных браков, где супруги соединяются только на бумаге, как бы в глазах государства, а в действительности ничего подобного не происходит. Мария Адольфовна слушала эти рассказы примерно с таким же ужасом и искренним состраданием, как рассказы о столкновении трамваев или об упавшем в Фонтанку троллейбусе. Каково же было удивление Марии Адольфовны, когда она сначала почувствовала, а потом и вовсе поняла, что Клавдия Степановна как бы совершенно снисходительно взирает и даже почти что проповедует легкомысленное отношение нынешней публики к вопросам супружества и брака. Она даже не поверила своему наблюдению, но Клавдия Степановна была настолько определена, что для сомнений уже не оставалось места.

— Клава, я знаю, сколько трудно вам было сохранить семью, — сказала Мария Адольфовна, делая ударение

на «е» в слове семья. — А нынче семья только для удовольствия, кончилось удовольствие, кончилась семья.

— Конечно, мы люди другого поколения, — спешила оправдаться Клавдия Степановна, — а нынче смотрят на все это значительно проще.

— Не надо смотреть значительно проще, — убежденно сказала Мария Адольфовна. — Проще, чем у нас в общезнании, нигде не бывает, это скверно, так плохо...

Немалые усилия, потраченные Клавдией Степановной на попытку то ли расшатать консервативно настроенную Марию Адольфовну, то ли привить ей зеленые побеги современной морали, оказались совершенно излишними. То, к чему Клавдия Степановна так долго, трудно и безуспешно подбиралась, решилось само собой.

Когда Мария Адольфовна рассказывала Тебеньковым свою историю с Владимиром Петровичем, не находя, впрочем, убедительного или даже сколько-нибудь подробного объяснения своему отказу от руки и сердца Владимира Петровича, она сама назвала его несколько раз «вечный жених». Действительно, потерпев сокрушительное поражение в соискании руки Марии Адольфовны, Владимир Петрович более подобных попыток не повторял и женат ни разу не был.

Однажды под праздник Мария Адольфовна вдруг сказала сама: «Надо жениха позвать...», что говорит о ней не только как о человеке, способном к состраданию и деятельному сочувствию, но и как о человеке с юмором, а в семьдесят лет человека с юмором встретишь реже, чем с добротным сердцем или хорошим кровавым давлением.

И вот уже без обиняков, но па всякий случай как бы между прочим во время мытья посуды после завтрака Клавдия Степановна бросила вскользь давно уже вызревавшую в ней мысль:

— Мария Адольфовна, вам надо с Владимиром Петровичем зарегистрироваться...

Мария Адольфовна безмолвно сметала крошки со стола специальной гнutoй щеточкой на плоский прямоугольный подносик.

Нетерпение Клавдии Степановны было так велико, что она даже не смогла выдержать подобающую случаю паузу, на худой конец, хотя бы подкрепить сказанное соответствующим выражением лица или позой глубокой задумчивости; она повторила свое предложение с азартом непринужденности.

— Да не кричите, — строго сказала Мария Адольфовна, хотя Клавдия Степановна, видит бог, и не собиралась кричать.

Не думая о прошлом и предоставив будущее воле провидения, Мария Адольфовна умела сосредоточиться на каждом предстоящем деле, поступая согласно разумению и правде, не ведая о том, что прекрасное безумие и есть прекрасная жизнь, как уверяют люди, надо полагать, отведавшие и того и другого.

Подозревая в молчании Марии Адольфовны зреющий отказ, Клавдия Степановна, стремившаяся всегда по мере сил направить судьбу по верному руслу, стала подробно и очень убедительно разъяснять вопрос с пропиской.

Факт регистрации даст возможность прописаться у Владимира Петровича, а жить, разумеется, у Тебеньковых. Формальные строгости, существующие на этот счет, можно вовсе не принимать во внимание, потому что вот уже два года младший живет у жены, прописан здесь, и ни одному человеку в голову не приходит задавать на этот счет какие-либо вопросы. Единственная, совершенно единственная сложность — да и можно ли ее считать сложностью? — это участие в выборах, в голосовании. Здесь выявляют граждан и вносят в списки по месту прописки, но и это не обязательно, поскольку, достаточно взять открепительный талон, и можно вовсе не голосовать, не причиняя, таким образом, никаких беспокойств тем, кто призван судьбой и долгом обеспечивать изумительный процент участников голосования повсеместно. Тут же Клавдия Степановна пояснила, что за талоном этим даже ездить не обязательно, его с удовольствием выдадут Владимиру Петровичу по первому же требованию.

— Вы устали... Ну сколько можно — общежитие и общежитие? Что вам этот Кунгур, наконец? Хорошо, а заболете? — Клавдия Степановна даже сама удивилась очевидности и несокрушимости всех резонов за переезд в Ленинград.

— У нас хорошая больница, железнодорожная, — наконец произнесла Мария Адольфовна, тяготясь невозможностью вступить в разговор по существу и понимая необходимость хоть что-то сказать.

Всю жизнь совершая поступки лишь сообразно своему представлению о должном и невозможном, Мария Адольфовна совершенно бессознательно получала в наг-

раду покой, душевное равновесие и согласие с самой собой... Предложение же Клавдии Степановны, не такое уж и неожиданное, отозвалось неуловимым беспокойством, разговор даже чем-то был неприятен, но протест, всегда готовый вырваться наружу легко и просто, как клич «Стойте! Кто идет?!», на этот раз не находил себе опоры, и потому ничего не оставалось, как уйти в себя, но и уйдя в себя, она не нашла там привычного покоя и согласия.

Та энергия, энтузиазм, даже страсть, с которыми за дело взялась Клавдия Степановна, как бы отодвигали саму Марию Адольфовну не только от необходимости думать о себе, не только от необходимости самой совершать поступки, принимать решения, произносить слова, проявлять инициативу, то есть быть самой кузнецом своего счастья, чужие энтузиазм и энергия как бы снимали с Марии Адольфовны ответственность и вину за все последствия и даже за качество того счастья, которое будет воздвигнуто чужой волей и в значительной мере чужими руками, хотя бы и с молчаливого согласия ошастливленной.

Прежде чем выразить свое согласие, Марии Адольфовне нужно было найти ответ на самый главный вопрос: не обернется ли вся эта затея для Тебеньковых какой-нибудь неприятностью, досадой, стеснением и не поставит ли ее, человека, привыкшего к независимости, в положение неудобное и непривычное.

Как известно, одной из высших форм, одним из высших свидетельств не только любви, но и симпатии, расположения, уважения, доверия, даже прежде всего доверия, в современной жизни служит согласие на прописку кого-либо на свою жилплощадь. Каждый из нас, не говоря о крупных и видных специалистах по современной семье, назовет немало примеров того, как супруги, пройдя все стадии испытания чувств, вплоть до венчания в загсе, не спешат тем не менее прописывать друг друга на свою жилплощадь, а прописав, иной раз долго и искренне в этом раскаиваются.

Мария Адольфовна отчетливо понимала, что с этой стороны Клавдия Степановна ничем не рискует, и приведенный в исполнение замысел никаким бременем ни на кого не обрушится.

Ни Владимир Петрович, ни Алексей Андреевич, посвященные в созревший план, не высказали никакого сомнения в его реальности и необходимости. Да и кому

бы в голову пришло щепетильничать, когда именно эту пору можно будет назвать порогом эпохи, давшей небывалый толчок и небывалый повсеместный рассвет обывательского творчества самых разнообразных поступков мелкоуголовного характера. Эпоха, над которой еще предстоит задуматься, последствия которой еще предстоит осмыслить, делала лишь первые энергичные шаги. Живя всю жизнь под чужую дудку, Владимир Петрович научился, как и все мы, вытанцовывать самые что ни на есть фальшивые пассажи, а Алексею Андреевичу, имевшему дело с экономикой, обретающей все более и более романтический характер, удивляться невинной приписке Марии Адольфовны к Владимиру Петровичу и в голову не пришло.

Эпоха требовала все больше и больше блеска, шума и величия, чтобы скрыть бурно пробудившуюся к жизни самодеятельность нетерпеливых, не веривших ни одной секунды в приближение всеобщего благоденствия и положивших немалые усилия своих оборотистых душ на благо своих близких, дальних, родных и милых. Прodelки вельмож, призванных в ту пору к общественному служению, уже заполняют страницы и тома иных хроник, нам же необходимо отметить, что именно в это время авторитет родства, а стало быть, и семьи необычайно возрос. Немалое значение в этой связи стали придавать и самому акту вступления в брак.

Дворцы бракосочетаний еще только вызревали в умах ответственных мужей, а уже комнатки в исполкомах, где чохом вершились записи актов гражданского состояния, украсились четким расписанием времени, когда записывают рождение, когда бракосочетание, а когда и, так сказать, последнее гражданское состояние. Само время породило и поставило в повестку дня вопрос о торжественной регистрации бракосочетаний. Идя навстречу пожеланиям большинства новобрачных украсить свадебный стол хорошей пищей да и самим приодеться по возможности в импортное, словно по волшебству, открылись специальные магазины, куда, кроме родных и знакомых работников этих магазинов, впускались по специальным талонам новобрачные и самые приближенные к ним лица. Талоны выдавались при подаче заявлений.

Продовольственный салон в ту пору размещался на Литейном проспекте, в помещении неказистом, ныне занятом безалкогольным кафе «Гном», и имевшее место его посещение навряд ли представляет исторический инте-

рес, куда интересней было бы побывать в роскошном гастрономе «Стрела» в «Доме помещика» на Измайловском проспекте, где сегодня вершится таинство распределения продуктов для свадебных торжеств. Куда более важным моментом предлагаемой семейной хроники является поход будущих супругов в сопровождении неперенной Клавдии Степановны в загс Выборгского района, где были поданы соответствующие заявления и дело приобрело характер государственного события.

Тайные, скрытые от глаз механизмы, а может быть, просто причуды человеческой природы порождали в ту эпоху самые неожиданные поступки, изумлявшие своей откровенной странностью.

Мария Адольфовна, как ни крути, тоже человек своего времени, и потому немало удивила Клавдию Степановну тем, что не только с неожиданной легкостью согласилась на то, чтобы расписаться с Владимиром Петровичем, но даже несколько торопила совершение этого акта.

Тайный механизм женского сердца! В какой свадебной истории ты не придашь событиям тот неожиданный, непредсказуемый, волнующий ход, без которого и сама свадьба, да и сама жизнь были бы пресны и ординарны, как женщина без загадки, без тайны, без тревожащей душу способности взглянуть и на привычный предмет особым образом!

Ни Владимир Петрович, ни Клавдия Степановна не были, разумеется, посвящены Марией Адольфовной в тайную причуду, заставлявшую ее торопить события.

Все дело в возрасте. И вовсе не в уходящем неведомо куда времени, истекающем стремительно и непрерывно, а в том, что Мария Адольфовна и Владимир Петрович были ровесниками, но... совсем непродолжительное время, всего лишь три месяца! Да, да...

Вступаете ли вы в Вооруженные Силы, идете ли на прием к врачу или фиксируете свое новое гражданское состояние, государство интересуется в этом случае вашим возрастом лишь в округленно взятом количестве прожитых лет, во многих анкетках есть даже такая графа — «полных лет»... Чем полных?.. Мария Адольфовна была при строгом рассмотрении вопроса ровно на девять месяцев старше Владимира Петровича, и, зная, что придется заполнять анкетку и все указывать, ей хотелось, чтобы в графе «возраст» или «полных лет» и у жениха и у невесты стояли одинаково круглые цифры — 70. Имея день рождения на яблочный спас, в начале августа, Ма-

рия Адольфовна хотела шагнуть своим не утратившим, слава богу, твердости и выправки шагом под венец непременно со своим ровесником, для чего все надо было оформить до шестого августа.

Заявления были поданы первого июля, и по всем статьям, даже с учетом месячного испытательного срока, отпускаемого государством для проверки вспыхнувшего чувства и серьезного осмысления предстоящего шага, даже со всеми проволочками, можно было расписаться до шестого августа.

Принимавшая заявления бесполоая барышня лет тридцати двух — тридцати шести почти без интонации разъяснила невозможность ни поторопить, ни ускорить день регистрации, она говорила, привычно глядя куда-то в окно, где шли по тротуару оживленного проспекта, изобилующего заводами и фабриками, молодые, средних лет и солидные мужчины, в известной части, разумеется, неженатые. Сюда же, в тесные ее апартаменты с неумолкающим динамиком городской радиотрансляционной сети, они заходили или как женихи, в сопровождении сверкающих торжеством невест, или как свершившиеся отцы, неся на своих мужественных руках пожизненные оковы отцовских забот, или как убитые горем вдовцы, еще не оправившиеся от потрясения и потому не замечающие, что жизнь не кончилась, земля не опустела, как это показалось им накануне...

Суть же разъяснения была проста: регистрация браков временно сокращена в связи с переоборудованием специального помещения для торжественной регистрации. «Вам же лучше будет...» — как-то подчеркнуто отделяя себя от грядущих радостей новобрачных, без интонации сказала регистраторша. «Нам нужно сейчас, а не лучше!» — строго сказала Мария Адольфовна, пытаясь увидеть глаза государственного человека.

Государственная барышня обернулась, окинула взор нетерпеливую невесту, тень горькой усмешки чуть искривила ее давно нецелованные губы, и она проговорила как о давно известном: «Вас же будет уже депутат регистрировать, а у меня пойдут только рождения и смерти. Помещение готовится, идет ремонт. Вот видите? — барышня откровенно помахала исписанными страницами амбарной книги. — Все переносят на август, и никто еще не возмущался. Удивительный народ — вам же делают лучше, а вы еще и не хотите...» Барышня пожала плечами и посмотрела на Владимира Петровича с большой на-

деждой: «Записывать вас на... десятое августа или еще подумаете?» — явно давая понять, что с такой невестой лично она гарантировать ему супружеское счастье не может. И добавила: «Если надо так быстро, можно регистрироваться по месту прописки невесты...»

Клавдия Степановна извиняюще улыбнулась, Мария Адольфовна округлила глаза и буркнула что-то невнятное, скорее всего по-польски.

Владимир Петрович, не видевший никаких опасностей в назначении регистрации на десятое августа, тем не менее понимал, что надо стоять за своих. Подавив понятное каждому мужчине в подобных обстоятельствах волнение, он овладел собой и, торжественно поименовав полным именем и фамилией свою невесту и себя самого как бы в третьем лице, объявил о желании вступить в брак немедленно, заслужив при этом улыбку ободрения от Клавдии Степановны. Живость и непринужденность, которых так не хватало регистраторше, пробудившиеся было на почве нормального житейского любопытства, вдруг оставили ее, и она, не поднимая глаз, погрузилась в то привычное рабочее состояние, в котором важно и строго исполняла свое жизненное предназначение, одинаково чуждая серьезному и смешному.

Нельзя сказать, чтобы регистрация браков под звуки городской радиотрансляции была для достигшей расцвета всех своих сил и свойств регистраторши делом служебным, лишь слегка окрашенным привкусом личной досады. Непрестанное наблюдение граждан в минуты значительных житейских напряжений сделали ее удивительно зоркой, даже будущие счастливые семьи не казались ей похожими друг на друга; по неуловимым штрихам, чертам, черточкам, теням под глазами, брошенным взглядам в сторону, опущенным ресницам с поразительной пронзительностью она отмечала про себя неразличимые для счастливых черты грядущих катастроф и потрясений, и некоторая ее сухость, строгость и сдержанность объяснялись, быть может, тем, что в этом же рабочем столе лежал штамп, отмечающий в паспорте факт прекращения брака. Куда больше оживления и участия вызывали у земной помощницы Гименея странные браки, каковых происходит чуть ли не каждую неделю немало: заходили расписываться как бы между прочим, прихватив «свидетелей» чуть не здесь же в коридоре из неиссякаемой очереди в бюро по жилобмену, заходили с авоськами и портфелями, в уличных сапогах, заходили втроем, когда неве-

домый устроитель семьи лишь готовился покинуть материнское чрево, приходили слегка «под мухой», будто жёнились на спор, непрестанно хохоча; особенно острые ощущения, памятные на целый день, а иногда и больше, оставляли причудливые соединения в браке людей, совершенно несходных, очевидно несходных статью, возрастом, манерой... И хотя регистрация старичков, как наш случай, не была уж такой особенной редкостью, но все-таки принадлежала к тем обстоятельствам наблюдаемой со стороны жизни, которые придавали ее собственному существованию остроту и тревогу. Именно поэтому оставшаяся по собственной воле безымянной, сотрудница загса вдруг почувствовала искреннее, сердечное желание сделать все так, чтобы этим старичкам не пришлось еще один месяц — много ли их осталось? — жить не так, как они для себя придумали. Неожиданно ее взгляд упал на открытую страницу регистрационной книги, и она увидела пустую строку, куда можно было вписать регистрацию на завтра. Однако желанию Владимира Петровича зарегистрироваться немедленно не суждено было сбыться. Кстати, до сих пор умнейшими наблюдателями человеческой жизни так и не решен вопрос: что хуже — вовсе несбывшееся желание или желание, сбывающееся немедленно, едва возникнув? Помехой же на пути немедленного решения вопроса оказалась Клавдия Степановна, она решила пустить в ход все свое немалое обаяние, всю свою лучезарность, всю многолетнюю, практикой подтвержденную способность обращать к себе людей нужной стороной — это-то и сгубило дело.

«Извините... вас зовут?..» — Клавдия Степановна так непринужденно улыбнулась, а голос звучал так легко и открыто, что ни одному человеку в мире не пришло бы в голову, что этот голос и эта улыбка могут усложнить жизнь, омрачить ее или отяготить невозможными просьбами, такая улыбка и такой голос могут только украсить жизнь... «Вас зовут?..» — повторила Клавдия Степановна, предположив, что ее не расслышали. «Это не имеет значения», — сухо сказала регистраторша и захлопнула книгу, куда могла бы лечь строкой если не счастья, то хотя бы сравнительного благополучия запись про Марию Адольфовну и Владимира Петровича; ее слова и жесты опережали мысль и были движимы внезапно вспыхнувшим чувством неприязни к этой красивой, благополучной, поблескивающей колечками, одетой, прибранной женщине, пахнущей непростыми духами, и вовсе не потому,

что надушилась, отправляясь по важному делу, просто сама ее одежда, волосы, кожа уже впитали в себя неистребимый запах уверенности и довольства... «Это ей нужно, ей, — едва увидев улыбку Клавдии Степановны, решила регистраторша. — Все есть, так еще что-то придумала... Старишков венчает, ишь, что ей понадобилось!..»

«Вы же прекрасно видите, я очень хочу вам помочь, я понимаю все... я все понимаю, но помочь не могу...» — Голос регистраторши подобрел, в нем зазвучали теплые человеческие тона.

Все трое переглянулись, пожали плечами и двинулись к выходу. Ничего не оставалось, как ждать десятое августа.

Весь визит вместе с подачей заявления, оформлением промтоварного и продовольственного талона и беседой занял ровно четыре минуты.

«Следующий!» — крикнула в открытую Владимиром Петровичем дверь регистраторша, устоявшая перед искушением нарушить правила и установленный для всех порядок.

Клавдия Степановна была крайне смущена, цветы, взращенные в тайниках ее души и вытащенные на свет божий, уже не производили того волнующего впечатления ни на окружающих, ни на нее саму.

10 августа, в четверг, в одиннадцать часов утра Мария Адольфовна и Владимир Петрович сидели в свежотремонтированной и оборудованной мягкими креслами аванзале, предварявшей скромный, но вполне опрятный и строгий зальчик торжественной регистрации. Три группы молодых людей в окружении приятелей и немногочисленной родни не обращали никакого внимания на стариков, по-видимому поджидавших своих внуков.

За плотно закрытой двустворчатой дверью слышался марш Мендельсона...

Клавдия Степановна и призванная второй свидетельницей, со стороны жениха, соседка его, Екатерина Рафаиловна, в свое время даже имевшая виды на Владимира Петровича, оживленно разговаривали. Клавдия Степановна, демонстрируя незаурядную выдержку, даже умудрилась смеяться, шутить, как и полагается на пороге радостного события. Владимир Петрович подробно и с горьким пафосом торопливо рассказывал Марии Адольфовне какой-то фильм, виденный у соседей по телевизору, суть

рассказа сводилась к тому, что идти в кинотеатр и смотреть за деньги такую ерунду было бы обидно, а вот так, между прочим, посмотреть у соседей по телевизору, так вроде и ничего, и картина все-таки с познавательной точки зрения интересная, игра актеров хороша, песня красива и очень красивая любовь интеллигентной женщины и простого рабочего... Мария Адольфовна слушала безучастно, еще не решив для себя, в какую сторону она двинется, когда призовут войти в торжественный зал, где уже в третий раз за утро прозвучит марш Мендельсона.

Затая, рассчитанная на деловую регистрацию в тесной исполкомовской комнатухе, явно не выдерживала ни всей этой публичности, ни шума, ни звона, ни громких голосов. Словно пробуждаясь, Мария Адольфовна смотрела на все предприятие трезвыми глазами и не думала больше о будущей спокойной жизни.

Наконец, дверь в главную залу была распахнута, и с ее порога знакомая уже регистраторша громкогласно объявила: «Мария Адольфовна Сварецкая и Владимир Петрович Гусаров приглашаются пройти в зал для торжественной регистрации брака!» Клавдия Степановна лишь сдержанно кивнула, Владимир Петрович со своими ущербными очками служительницу не узнал, только Мария Адольфовна подступила к ней вплотную с вопросом: «Вы говорили, что будет депутат?» Регистраторша, совершенно справедливо считая неуместными любые разговоры не по существу, плавным жестом руки указала путь следования к полированному столу с подготовленными уже документами, за которым стояла юная и миловидная депутатка райсовета с красной лентой, украшенной гербом республики, через плечо. Депутат искренне и приветливо улыбалась.

Торжественные звуки марша вырвались из незаметно включенного магнитофона, придавая моменту волнующую значительность.

Мария Адольфовна и Владимир Петрович стояли перед столом, как провинившиеся дед и бабка, вызванные в школу к завучу, а может, и к самому директору начальной школы для серьезного разговора об отставании внука по природоведению и дисциплине.

Незаметным укоризненным кивком головы Клавдия Степановна дала понять, что музыку прокручивать до конца не обязательно. Депутат мгновенно уловила этот сигнал и почти незаметным движением руки, как бы желая опереться на стол, снизу стола выключила музыку.

Когда вышли из зала, где получили паспорта со штампами и расписались в книге, Клавдия Степановна предложила всем поехать к ней закусить, напирая на то, что ничего особенного не затевается, но посидеть надо.

Екатерина Рафаиловна, почитая предложение разумным, вопросительно посмотрела на Владимира Петровича.

— Вы поезжайте, а я никак не могу, — торопливо проговорил Владимир Петрович. — Мне к часу надо в амбулаторию. Только-только поспеть осталось времени. Номерок у меня взят...

Владимир Петрович вынул из пухлого бумажника, набитого рецептами, какими-то счетами и даже вырезками из газет, бумажный амбулаторный номерок, внимательно его на глазах у всех рассмотрел и снова спрятал в бумажник. После этого распрощался и поспешил на трамвайную остановку, зная по опыту, как редко в эту пору, после бурной утренней развозки, ходят трамваи.

Когда приехали домой вдвоем, Екатерина Рафаиловна куда-то тоже заспешила, Мария Адольфовна, вешая пальто на распялку, буркнула себе под нос, полагая, что ее никто не слышит:

«Хоть бы цветочки купил...»

И это все?! Все, что может сказать в решающую минуту своей жизни старая женщина, когда жизнь в последний, быть может, раз отвратила от нее свое лицо? И только эти три слова в упрек жизни, заряженной на всякую минуту дерзостью и оскорблением? Ни стоны, ни гнева, ни слез?.. И где? на земле, взрастившей не одну революцию, а целых три, на земле, где у памятника основателю города прозвучало гневное — «Ужо!» — брошенное безумным Евгением.

Нет! в Кунгур! в Кунгур! гряди же, Мария Адольфовна, как невеста Ливанская, на предуготовленное тебе ложе на кладбище станции Кунгур, где ждет тебя покой, которым нет никакой возможности насладиться.

А что же обещанная жестокость? Неужели напрасно, неужели без результата унижала, давила, сокрушала и оскорбляла пани Сварецку эта неповторимая, огромная, полная песен, прогресса и достижений жизнь, безудержно устремленная к сиятельнейшему будущему, летящая без оглядки на стыд, без почтительности к юности, без жалости к зрелости, без уважения к сединам? Неисправимая, нестигаемая, неумолимая Мария Адольфовна заку-

сила удила и в минуту, быть может, последнего унижения не смирилась перед скупостью, перед жадностью жизни на добрый жест, на знак внимания. И нет прощения, нет извинения ни замороженному до ненужности, ни загнанному в угол, если из своего угла он мог протянуть руку с цветами, а ведь не протянул!

...Но разве это свадьба? Пусть игра! Игра, продиктованная роскошной и неумемной фантазией мироустройства, обращающего мелочную гнусность в правило и порядок. Игра? Но другой у нас нет, и не вина Марии Адольфовны, что она могла играть лишь по правилам чести.

Мария Адольфовна уедет в Кунгур. В общежитии ее место будет тут же освобождено от подселенной выпускницы Пермского техникума связи. После небольших формальностей, на которые и уйдет-то всего неделька, ей выдают на почте пенсию аж почти за полгода!

Хорошо и Владимиру Петровичу, вкусившему наконец свою несбыточную мечту в самом полном, то есть идеальном смысле. В оставшиеся уже восемь месяцев жизни на двойных тетрадных листах в линейку он отправит четыре письма в Кунгур. Он проживет не только на бумаге, но и в сердце своем бурную, легкую, слегка пьянящую и свободную пору счастья, не отягощенную и не униженную ничем земным. И здесь остается лишь пожалеть, что чувствам этим суждено было пробудиться и расцвести лишь после отъезда Марии Адольфовны, быть может, и несколько торопливого. Помнится, именно в предпоследнем письме Владимир Петрович от всей полноты чувств излагал план жизни соединенных сердец, и план этот имел черты практические и вполне исполнимые.

Пройдут века, и навряд ли в точности будет отыскано место Марии Адольфовны и Владимира Петровича в крутом, грозном и отчасти кровавом прологе грядущей цивилизации, а пока бегством в могилу они норовят ускользнуть от неминуемого светлого будущего.

Позвольте проститься с вами откровенно, читатель, так же откровенно, как и познакомились, без церемоний, мы же люди жестокого века, ведь это мы оскорбляем стариков нищетой и бесправием... и свято храним эту нашу маленькую семейную тайну.

Хорошо Марии Адольфовне, она старая и скоро умрет, а нам с вами жить...

Ленинград, 1972, 1988 гг.

НОЧНОЙ ДОЗОР

*Ноктюрн на два голоса при участии
стрелка ВОХР товарища Полуболотова*

Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал, и что, бывало, ни скажет, то именно так и было...

Н. В. ГОГОЛЬ.

«Вечер накануне Ивана Купала»

Не дай бог, если мы заразимся болезнью боязни правды.

И. СТАЛИН.

Собр. соч. Т. XII, с. 9.

I

«Я белые ночи до ужаса люблю...»

II

...Ну что за чудо этот ночной свет, что изливается на всю землю разом, на все дома, мосты, арки, купола, шпили, да так, что не падает от них тени, отчего каждое творение рук человеческих вступает в справедливое соревнование с подобными себе, не обманывая зрения ни солнечными блестками, ни летучей мишурой лунного сияния.

Зависнув над собственным отражением в бесчисленных водах своих рек и каналов, словно по волшебству ставшая вдруг невесомой, вся громада города, кажется, вот-вот качнется от легкого ночного ветерка, залетевшего в каменные дебри с уснувшего в плоских берегах залива, качнется, задрожит мелко-мелко, смешаются, размоются, как в затуманенном слезой глазу, граненые черты окаменевшей истории, и все растает в необъятном пространстве сошедшего на землю неба...

...И понесут свои беззвучные воды обе Невы, три Невки, несчетные Фонтанки, Мойки, Пряжки, Смоленки, Карповки, Таракановки, разом утратившие свои имена и прозвания, мимо низменных пустынных берегов, мимо плоских островов, высшей точкой своей удаленных всего на три метра над уровнем моря... Долго и тихо будет бежать вода, не возмущенная ни веслом, ни впитом, не проткнутая увесистым якорем, не выкинутая на берег волной от строптивного катера... А потом, глядишь, и снова зашумит камыш у мелководных протоков, поднимутся снова ели по краям коварных болот, подернутых густой рыжей ржавчиной, раскинутся пустоши и откроются умытому слезой взору дальние холмы, отступившие чуть не на край горизонта, чтобы просторней было могучей и беспокойной реке искать себе удобное ложе в рыхлой болотистой равнине...

Что за чудо эта светлая необъятная тишина, утопившая в бездонной своей глубине грохот, звон, клеток, скрипы, лязги и натужный гул неугомонного города; тишина затопила все улицы, дворы, властно разлилась по пустынным площадям, обнаженным проспектам, затаилась в полумраке подворотен... И не будь этих подмигивающих друг дружке желтым глазом светофоров, не прошуми лилким шелестом по умытому асфальту редкая машина, не рассынься скрипучим стоном стая чаек над неподвижной водой, и город будет казаться уже не затаившимся, не спящим, а мертвым...

Но летят сквозь ночь, едва касаясь неподвижной воды, огромные призраки-корабли, стремительно пронзая игольное ушко разведенных мостов. Ни души на просторных пустынных палубах, ни души на крыльях ходовых мостиков, лишь по стеклам рубки скользнет отражение проносящихся мимо дворцов, и не разглядеть ни человеческого лица, ни фигуры... только лязгнет вдруг железная дверь с круглым, словно тюремный «волчок», оконцем, шагнет через комингс полусонный дневальный по камбузу, да и плеснет в черную воду, прижатую крутым корабельным бортом к каменной набережной, какую-нибудь дрянь из ведра и снова захлопнет железную дверь, откуда вырвалось на мгновение шумное дыхание корабельных недр...

Задрожит на всколыхнувшейся, да так и не очнувшейся от сна воде образ прибрежных дворцов, поплывет, словно став на мгновение мягким, распластанный по воде шпиль, увенчанный кружевным корабликом... и у друго-

го берега качнулся низвергнутый под приземистые бастиионы бывшей тюрьмы ангел на золотом штыке... минута, и снова в непроглядную бездну вод под крепостными стенами указывает золотой перст...

Что за смысл в этом указании?..

А этот апгел, что вознесен в поднебесье и достает распахнутым крылом прозрачные розовеющие облака, куда он зовет? что обещает?..

В тихую белую ночь и зверью, некогда изгнанному из своих родных пределов, кажется, что затянувшееся недо-разумение закончилось и пришла пора вернуться назад, в края своих полузабытых предков, в края изрядно пострадавшие, почти неузнаваемые, но неотразимо влекущие к себе.

Торопливая цепочка диких уток, шурша трепещущими крыльями в плотном полусонном воздухе, стремительно проносится над рекой: словно отчаянные разведчики, посланные взглянуть, не освободились ли от нелепых камней сытные болотины, привольные лагуны и тихие узкие ерики; нет-нет да и забредет обманутый тишиной и пустынностью улиц бродяга-лось и уставится в свое великолепное отражение в хрустальной витрине универмага; в такую ночь и плутовка-лиса, уставшая бежать от расползающегося во все края города, выведет из заброшенной канализационной трубы, где устроила гнездо, свое доверчивое потомство, лис-горожан в первом поколении, покажет им небо, даст вдохнуть ветерка с легким запахом дальнего леса, что-то пообещает и попросит запастись терпением... И не вспугнет их гулкий грохот, разнесшийся вдруг окрест, то лесной великан, красавец черный дятел ворвался противу всех правил в чуждые ему пределы, уперся литым хвостом, как неколебимый конь под медным всадником, в подсохший ствол и бьет своим увесистым носом, бьет тревогу, осыпая шелухой коры и мелкой щепкой немногих сошедшихся внизу зевак, разглядывающих кто первый раз в жизни, а кто и последний диковинного красавца, прилетевшего спасать задыхающуюся в городском угаре сосну...

...Дымчатая пелепа тонких напросвет облаков огромным покрывалом раскинута над городом на ночь. Не хватило только на самый край, где город кончается и где светится у горизонта золотистым заревом широкая чистая полоса неба. И кажется, что воздух там промытый, свежий, и нет там, наверное, ни пылинки, ни копоты... И

верится, что оттуда придет новый день, и будет он чище, светлей, чем все дни, что до сих пор сходили на землю. От уверенности этой в душе покой и не хочется торопить время....

III

«...Вот я и говорю... Хорошо в такую ночь на обыск идти или на изъятие!

Случись мне сейчас доставлять кого-нибудь, так я бы, наверно, и машину отпустил, а прошелся бы пешочком по улицам... Под трамвай бросится? Да не ходят же трамваи!.. Убежит? А куда ему бежать? Никуда не убежит... Ну что, что инструкция? Всю жизнь в инструкции не загниешь. Разве вся наша жизнь какой-нибудь инструкцией предусмотрена? Или белая почь опять же... Ну-ка, спрячь ее, отмени, запрети! Не упрячешь.

Знаю, все предусмотрено: «путь следования», «способ доставки», «предупредительные меры»...

А меня кто предусмотрел? Кто мою жизнь сочинил, кто выдумал? Может быть, и предусматривалась, так только пегласно, да и сейчас делают вид, что ничего интересного, ничего поучительного в моей жизни не было... Да и как ее усмотреть, если на виду она не лежит и даже главной своей частью как раз и расположена за зримыми пределами...

Может быть, кто-нибудь сейчас от своей жизни отказывается, что-нибудь таит, а я своей жизни не стесняюсь, жил-то не для себя, был, можно сказать, солдатом, как у нас говорили, отточенным штыком... Наверное, и у меня какие-нибудь недостатки были. Возможно. Но вопиющих недостатков не было, побегов лично у меня не было, представьте себе! От меня всегда можно было ждать добросовестных действий и грамотных поступков, и поэтому могу сказать с чистой совестью: хотите хвалите, хотите журите, а от эпохи своей меня не оторвешь! Была задача — слиться с эпохой, и я с ней слился! А эпоха была прекрасная, каждый день приносил на алтарь новые успехи благодаря сознательному отношению кадров к своему делу. И я свой долг исполнял до самозабвения самого себя и своей семьи и не задавал вопросы, когда меня употребляли на разные дела, и на труднейшие и на простые. Да, приходилось расчищать тухлятину, расчищать дорогу новому миру, чтобы люди могли спокойно веселиться и

рукоплескать вождям. Время было такое — себя забыть, с эпохой слиться! Сейчас многое не хотят вспоминать, а тогда вопрос стоял четко: взбесившиеся псы капитализма не могут пережить наших триумфальных успехов и пытаются разорвать на части самых лучших из лучших людей нашей земли. А для напоминания о прожитом мною времени, ставшем уже достоянием еще ненаписанной истории, подчеркиваю только один момент. Когда на шахтах и рудниках, на стройках и во дворах фабрик, в цехах и на верфях, не говоря уже про учреждения, люди собирались все вместе и в едином строю все, как один, поднимали руки, голосуя, допустим, за смертный приговор троцкистско-зиновьевским агентам фашизма, разве они просто крови хотели? Девчата эти симпатичные, пионеры тем более или пентюхи какие-нибудь деревенские, нет, этого они не хотели, они хотели слиться с эпохой, сливались и творили историю... Все вместе, своими собственными руками... Говорят теперь, что кое-кто ошибался, допускаю, а вот то, что народ ошибался, уж, извини, за такие взгляды и сегодня никто не помилует... Когда Андрей Януарьевич требовал, чтобы за каждый волос вождей преступные элементы отвечали головой, он находил всенародную поддержку, не помню, чтобы кто-то ему возражал или спорил! Это сейчас — улыбочки, ухмылочки, анекдотики...

Вообще-то ты сколько уже на этой фабрике?.. Три года? Смотри-ка, и уже в праздничное дежурство назначают... Верно, предпраздничное, завтра еще тридцатое, но все равно выходной... Дорожи. Тебя из резерва поставили? Я знаю. Должен был Телюкин дежурить, с гнильцой человек... Я знаю, многие упираются, отказываются под разными предлогами, лишь бы в праздничное дежурство не залететь, а я так с охотой. И не для того, чтобы ночь там или день в директорском кабинете посидеть при телефонах и красной папке. Уж чего-чего, а кабинетов повидал, и пошире повидал, и вид из окна не на захламленный этот садик да заводской забор, а, можно сказать, на главные площади Северной Пальмиры. Из Смольного выводил... Что ни говори — целая жизнь за плечами...

Обратил внимание, какая здесь мебель, в директорском-то кабинете?

Я только устроился сюда, первый год работал, взял отпуск за свой счет, на участке надо было повозиться, а за свой счет только с резолюцией директора, зашел к Ни-

колаю Ильичу подписать, посмотрел на эту мебель, только что не ахнул. Спросил еще тогда между прочим: «Не знаете, Николай Ильич, как в ваш кабинет эта мебель попала?» Он говорит, что она вроде тут еще чуть ли не с довоенных времен... А я как раз в довоенные времена ее и описывал. На набережной, почти напротив Академии художеств, домик такой, на вид ничего особенного. Только в домике этом на втором этаже была казенная квартира, как говорилось, генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга, а в последующие времена, надо думать для аллегории, жили там начальники ленинградской милиции. А мебель так эта там и стояла. Вот как раз в предвоенное время был я в группе, хозяин этой квартиры оказался элементом, если память не подводит, из правотроцкистского центра, так что убрали его с полной конфискацией. Все эти предметы я описывал: и бюро вот это с бронзовыми египетскими головками, тогда они еще на всех углах были... А сейчас уже вон сколько не хватает. Диван этот самый, с деревянной гнутой спинкой и лимонная обивочка, столик... Кресел шесть было, все шесть в хорошем состоянии, сейчас только два вижу... И что меня еще в то время восхитило, так это рояль из карельской березы! Кабинеты карельской березы встречались, Ленинград, конечно, город богатый, но чтобы прямо рояль, это видеть пришлось первый раз в жизни... Николай Ильич поинтересовался, почему я про мебель спрашиваю, я ответил уклончиво, дескать, очень красивая, рояль в особенности, каждый день такое не увидишь...

Сколько поучительных историй хранится под этой сине-вохровской тужуркой! Бури прошел, ураганы, можно сказать, и уцелел, и это особенно ценно... Оглянусь, бывало, и сам не понимаю — как уцелел?

А до того, как сюда пришел, я в тюрьме побывал, в ДПЗ меня наши устроили, старшим контролером по этажу... Ну что там? Режим знакомый, посты по табелям, вообще-то дело нехитрое, а ведь не смог, ушел. И знаешь отчего? Контингент... Не тот нынче контингент, с прежним не сравнишь. Раньше народ все больше положительный, тихий, несколько пришибленный, глаза таращат да воздух, как рыбы, хватают... Правда, писать любили, куда только ни писали, ну первое дело, конечно, Сталину, это все тут же и оставалось, а в другие адреса *хоть* и редко, а доходило, потом, конечно, обратно возвращалось для ответа... Да... Если раньше ну один из пяти был опасный, так теперь они чуть не все такие... Он у тебя

даже в карцере что хочет творит и чуть что: «Прокурора зови! Зови, гад, прокурора!» А ты ему только пять суток накинешь, это если подследственный, ну а если осужденный, можно и до десяти, и все!.. Что творят? Да что хотят. Первое дело, это в карцере лампочку как-нибудь повредить. Как лампочка погасла, так вызываю из хозобслуги, а тот ему и покурить подсунет, и новости... Какой уж тут режим? В последнее время по внутренней охране и собак завели, дали собачек на усиление, а все равно... Спрашивали меня, когда уходил, почему не остаюсь, почему перехожу даже с потерей небольшой в деньгах. Ответ один — ухудшение контингента. Пильдина знаешь? Тоже из ДПЗ ушел, нет, работать стало несравненно тяжелей...

Нет, лишнего не скажу, и не потому что подписка или там, как говорится, честь мудира, просто не было и нет у меня в привычке лишнее говорить, поэтому, видишь, жив и здоров еще, не жалуясь, люблюсь сквозь прозрачные окна на умытый весенний город, в отставку вышел и при орденах, и с пенсией, хотя и не по своей инициативе, а все-таки не так, как Пильдин... Знаешь Пильдина? В транспортный его пристроили... А Катеринича с шестого поста? Их-то поперли, ого-го! Горели ребята. Как раз тогда вышла директива не считать службу в органах особой привилегией при назначении пенсии. Это были времена, я тебе скажу... Сначала даже несколько судов успели провести. Ты-то не помнишь, наверное, а начальника Новгородского управления судили, дали ему десять лет! За что, спрашивается? Он что, для своего удовольствия? Время было жесткое, и он был жесткий... Дали ему десять лет и сами задумались, поняли все-таки, что так можно очень даже далеко зайти. И потом уже пошло на тормозах, по-человечески, по-людски... Тогда много наших в вохру пошло. А директор-то наш, Николай Ильич, до сих пор на меня косится, так и не пойму, вспомнил или не вспомнил... Не признается, видно, боится ошибиться, а я его отлично помню по сорок девятому году. Он же вовсе не Николай, его же настоящее имя — Нарзан. Ордер по паспорту выписывается, а в паспорте он — Нарзан. Он же из беспризорников, у него вообще до детдома имени не было, а было такое название, наверное, откуда-нибудь с Кавказа в Питер запесло. Понятно, с таким именем жить не очень-то удобно, надо всем объяснять... Знаешь в Лесном Дом ученых? В парке, около Политехнического... Устраивали в этом Доме ученых свои встре-

чи, уж не знаю, что за городские начальники и что это были за вечера и встречи, только все они потом по 58-прим пошли. А этот самый Нарзан Иваныч, именуемый ныне Николаем Ильичом, был в этом Доме директором-распорядителем. Сначала его не трогали, а потом и он себя обнаружил...

Я ж действительно белые ночи до ужаса люблю, столько у меня всего с ними связано, а последнее время — воспоминания.

Ну что такое, с одной стороны, беляя, с другой — почь? Ошибка природы! А может, сон? Честное слово, сон. Иногда сижу и думаю: город спит и сам себя во сне видит. А оглянешься иной раз и думаешь, может, и жизнь вся сном была? Что от нее осталось?

Жизнь прожил, как по минному полю прошел, а кому рассказать? Себя не жалел, знаю, что риск был большой, а делу отдавался без вопросов... Ордена? А что ордена? Был у нас генерал Поддубко. Раз он меня прихватил с собой в подшефный детский дом, вот так же, под праздник, только на ноябрьскую. Он в орденах, при параде, а я гостинцы нес, яблок ящик, конфетки там, прянички, вафельки... А Поддубко был фигурой, у него к Лаврентию Павловичу прямой ход был, все это знали, а кто не знал, тот от самого генерала мог услышать, дружбой с Лаврентием Павловичем он гордился, да и кто бы не гордился?.. Так вот детдом, что вышло... Только он в большую ихнюю комнату вошел, они как на него набросятся, особенно мелюзга. На диван только что не повалили, на колени лезут, за погоны хватают, ну и за ордена, конечно! Орденов у него было порядочно. Крупные ордена. Мальчишки орут: «Это ему за танк дали!» А другие спорят: «Ленина» за танки не дают, это за самолеты!» И начинают его пытаться с пристрастием: сколько он танков подбил, да сколько сбил самолетов, форма-то с голубым, на летчиков похожа. И галдят так, что он и слова сказать не может, а дали бы ему слово, что бы он рассказывал? А ордена были только за конкретные задания, а не за выслугу да к годовщине, как нынче модно стало. Про какие «танки» и «самолеты» он теперь своим внукам рассказывает? Вот, выходит, и моя биография вроде тоже никому не нужна. А ведь прожил, как велели! Как велели, так и прожил. Только где они, те, кто велели? Я ведь без приказа, без указания, без команды, может, за всю жизнь ни одного шага не сделал, хвалили, награждали, в пример ставили, а теперь? Будто все в другой

жизни осталось... Разве можно вот так жизнь взять и оборвать, люди-то те же...

Пильдина возьми, машины начальству подает, а чего на людей кидается? Турнули без пенсии, это обидно, здесь любому посочувствуешь. Правду сказать, жесткий был служака, обычно его посылали, когда на транспорте надо было брать или из другого города доставить, из Лодейного Поля доставлял, из Киришей, из Луги. Не любит оп меня, никогда не здоровается, будто не знакомы. Знакомы, еще как знакомы. На этой самой фабрике в тридцать пятом году он в электроцехе работал, а больше по комсомольской части старался. Сын сапожника, образования кот наплакал, вот и ударился в комсомол. Думал, заметят. Заметили. Пришла на фабрику разрядка: двоих в межкраевую школу НКВД, Гороховая, 2. Место знаменитое. Подали двух кандидатов, второй не прошел, а Пильдина взяли. В 36-м взяли, а уже в 37-м по причине острой нехватки кадров досрочно выпустили, хотя курсы, вернее, школа, были двухгодичные. Понадобился народ для дела очень остро, вот и ограничились одним годом обучения. И в школе он отличился. Была там какая-то волейбольная команда, о ней и не слышал никто, а Пильдин, тут уж ничего не скажешь, играл классно, и в распасовочке, и у сетки. Команду сделал — гремела... Но где гремела? В наших кругах. Хоть люди и молодые, еще никому не известные, а как-никак бойцы незримого фронта, так что приходилось им играть просто со своими старшими товарищами с Литейного и с командами из воинских организаций. Народ молодой, азартный, разделяли они своих старших товарищей под орех. У команды — авторитет. Кто капитан? Капитан — Пильдин. Кстати, его и в Ленинграде оставили, и звание капитанское довольно быстро получил, из ихнего выпуска вообще первый, и еще до войны нацеливался на ответственные дела и выполнял их резко. Глушанина надо было, например, брать, секретаря Новгородского горкома. До войны Новгородской области не было, а у Глушанина этого с местным товарищем из НКВД были контры какие-то, то есть взаимная неприязнь, и поручить ему брать Глушанина как бы неэтично, подозрения на месть могли возникнуть, личные счеты... Нет, в Новгород не посылали. Не знаю, уж прибыл Глушанин или вызвали его в Ленинград на совещание, дело обычное, а у нас как раз был культпоход в Малый оперный, с женами, с буфетом, редкое даже по тем временам мероприятие... Во втором

аптракте вышли покурить прямо на площадь, тепло, каштаны цветут, стоим, курим, погода отличная, настроение... Подкатывает наша «эмочка», прихватили Пильдина — и вперед!, Оказывается, был уже и ордерок сделан, и в Смольном прямо с совещания ему этого новгородца и выдали.

Межиряевая школа, кстати, как раз рядом с Исаакиевской площадью была, так что на вечернюю прогулку ходили с песней вокруг германского посольства. Любимая у них была: «Стоим на страже...» Неловко с песней получилось... Текст помнишь?

Стоим на страже
Всегда, всегда!..
А если скажет
Страна труда —
Винтовку в руки,
В ремень упор...
Товарищ Блюхер,
Дашь «Отпор»!..

Песня лихая, маршировать легко, только летом как раз 37-го полетела вся военная головка, вместе с ней исчез и товарищ Блюхер, потом слышу через некоторое время опять поют. И «упор» остался, и «отпор» остался, а вместо «Блюхера» пели «дальневосточная, краснознаменная», даже еще лучше.

На Исаакиевской до самого начала войны у посольства флаг со свастикой висел. Я, к слову сказать, с графом Шуленбургом лично и за руку... Он ехал поездом из Финляндии в Москву, тогда же было, в 37-м. Назначают меня в гласную охрану, а гласная — значит в форме. Встречали его на Финляндском вокзале, нас всего четверо было, а сколько в негласной, я этого знать не мог. Выходит из вагона типичный такой немец, ни с кем не путаешь. Его встречают, мы — как полагается, «коробочкой», до него, ну как до тебя, даже ближе. А он хоть и граф, и солидный такой, а улыбается и со всеми за руку. И мне руку протягивает, улыбается и что-то еще говорит по-немецки. Я не понял, мы тогда усиленно эстонский, латышский и литовский учили, на немецкий нас не ориентировали. Мне потом пересказали слова Шуленбурга, оказывается, он пошутил. «Прогнали, — говорит, — графов, а теперь вон как охраняете». Ну я, чтобы дураком не выглядеть, улыбнулся, и оказалось очень даже уместно, Шуленбург, наверное, подумал, что я его и без переводчика понимаю. В сорок четвертом Гитлер повесил его на крюк

за подбородок. Знал бы, что Шуленбург еще в сорок первом предупреждал Сталина о готовящемся нападении и даже дату называл, висеть бы ему на крюке тремя годами раньше. Вот тебе и граф! Он же официально послом был в СССР, а себя при Гитлере пешкой не считал, имел свое мнение, жизнью рисковал, хотел войну с нами предотвратить, понимал, что Германия об нас зубы сломает, и пошел фактически на предательство, на государственную измену, с точки зрения Гитлера... На что он только рассчитывал, вот самоуверенность к чему приводит...

Меня в гласную часто брали, за габариты — рост пятый, размер пятьдесят четвертый, спина, как щит у «максима»...

А если к Пильдину вернуться, был у нас с ним один эпизодик, был... Давай-ка сейчас ты без меня здесь посиди у телефонов, на всякий случай я территорию обойду, а вернусь и расскажу, занятый эпизодик...»

IV

«На проспекте здесь, чуть подальше, в сторону Льва Толстого, к площади, сразу за столовкой — арка, а за аркой — мастерская, где шариковые ручки заправляют. Заходил? Ну!.. Обратил внимание, помещение небольшое и только один вход, с улицы, и витрина во всю стену, дверь и витрина, помещение метров 18—20 квадратных, не больше, и никаких тебе тылов... Вот за этой витриной на виду у всех прохожих мы с Пильдиным две ночи провели и один ясный день. Вот тебе и незримый фронт! Остапавливайся все, кому не лень, стой перед этой самой витриной и разглядывай... Разглядывали, только трудно сказать, понимал кто или нет, что они видели. Вообще-то большинство людей редко понимают то, что у них на глазах происходит, как любил говорить Казбек Иваныч: «Наш человек привык ушами видеть!» Да, за витриной этой картинка, конечно, странная, только мало ли странных картинок в наше время было...

Сорок восьмой год, июнь месяц, суббота. Поезд такой-то, вагон такой-то, место такое-то. Снять на станции Тосно и доставить: рост чуть ниже среднего, комплекция спортивная, возраст — 37, волосы слегка вьющиеся, нос правильный, губы, одежда и т. д. Впрочем, до волос вьющихся еще далеко было, не успели отрасти. Но вот особые приметы: кисти рук маленькие.

И правда, когда брали, я как раз обратил внимание, что это за примета «кисти рук маленькие». Оказался довольно крепкий молодой мужчина, сложение хорошее, правда, одежда на нем очень свободно висела, морда даже широкая, симпатичная, а кисти рук, как у девочки... Дали нам ЗИС. ЗИС-101 — отличнейшая машина, не то что «эмочка», в «эмке» сидишь торчком, как кот на боробах, а в ЗИСе — прямо как на диване... Примчались мы в Тосно часам к шести, на станцию, через полчаса примерно подошел поезд. Минуту он там стоит. Нет, вру! Нам его как раз остановили на минуточку. У него в Малой Вишере была первая остановка, но туда мы уже не успевали. Сняли мы этого, «кисти рук маленькие». Группа наша три человека: Хунт Вальдемар, эстонец, человек изумительно хладнокровный и сдержанный просто поразительно, как грузинский князь, вообще-то он по-русски не очень хорошо, вернее, не очень быстро понимал, отличный был парень, вторым номером был я и за старшего группы — Пильдин, он уже был в майорах, хотя у него шесть классов, а у меня почти оконченное среднее. Все идет спокойно, не предвещает никаких неожиданностей. Где-то около девяти вечера приезжаем в город, возьмем его во внутреннюю тюрьму, в политизолятор, а там его не принимают. Представляешь?! Не принимают. Здесь надо отдать должное, работы было много, страшно вспомнить, брали иногда по 500—700 человек за ночь, но все исключительно по закону, как полагается, порядок был! Был порядок исключительный. Если коммунист, то без санкции райкома не арестовывали, если райкомовский человек, то санкция обкома непременно. Не надо думать, что мы вот так сами по себе работали. Чтобы без санкции райкома арест? Или обыск без ордера? Да не было этого никогда. И не могло быть такого! А уж чтобы в изолятор кого-то без санкции и соответствующего документа... Только здесь случай оказался особый, можно даже сказать, исключительный. Ни санкции, ни постановления. Брали по звонку, по телефонному звонку, по личному указанию, оперативно. Пильдин рассчитывал, что к нашему возвращению все будет оформлено, а тут суббота... Трудно сказать, что там произошло, но бумаг нет, а у нас устное приказание, кому его предъявишь? Ну, Пильдин грудью на начальника тюрьмы, то есть изолятора, пошел: «Принимайте арестованного, лично отвечать будете!..» А тот тоже не из робкого десятка, да что ему майор, если он умел и с генералами на басах разговаривать: «Будете

горло драть, я вас сейчас приму! Как я его оформлю? Как он у меня будет проходить? Мне ж его на содержание ставить надо! Куда я его занесу?!» И все в таком духе. Поорали они друг на друга, понервничали. Мы сидим на Каляева в машине, выходит Пильдин как пес побитый, злой как собака. Можно было в дежурку сунуться, попросить, но дежурил Вакатимов, «хороший друг» Пильдина, терпеть его не мог, «волейбольным майором» называл, так что нечего было и мечтать. Шофер-то не из оперативки, не дежурный, его тоже, как и нас, схватили побыстрому, видит такое дело, попросил нас покинуть... Мы покинули, что делать. Оказались вчетвером попросту на панели. Пильдин еще полчаса побегал, попытался кого-то найти, куда-то звонить, но — дробь!.. Что делать? На той стороне, за Невой — Финляндский вокзал, на трамвае ехать с арестованным вроде неловко, потопали ногами через Литейный мост, 397 шагов, у меня мерено. Пильдин стал дежурному от транспортной милиции объяснять: поскольку снят задержанный с поезда Октябрьской дороги, а Финляндский вокзал тоже Октябрьской, он вроде обязан... А ушлый такой капитан попался, сразу понял, что-то тут не так, спрашивает: зачем же сюда вели, поместили бы на Литейном, и Кресты рядом, и на Лебедева... По-человечески можно было бы договориться, а Пильдин в амбицию пошел: «Я не обязан отчитываться, товарищ капитан!» Напирает на капитана. А тот ему: «У меня здесь гостиницы нет и нет комнаты отдыха, товарищ майор!» Напирает па майора. Зачем это все, ведь, уверен, можно было по-хорошему договориться. Так нет, снова мы оказались на улице.

Дело к ночи, хоть ночь и белая, и довольно тепло, но как-то не по себе. Хоть домой веди! Только приведи такого, будешь потом всю жизнь объяснительные писать... У меня портфель арестованного, у Вальдемара чемодан. Хороший чемодан, с кожаными ремнями... Арестованный и Пильдин налегке. А кругом граждане гуляют, молодежь, песни то там, то сям, речные трамвайчики по Неве... А мы как псы бездомные.

Пошли, говорю, на улицу Скороходова в Петроградский райотдел милиции, как-никак я там перед войной поработать успел, может, по старой дружбе пойдут навстречу. Но навстречу не пошли. Здесь это было, на бывшей Большой Монетной милиция была в доме церковного причта лицейской церкви. Напротив райкома дом этот самый. Там готовы были помочь искренне, но не смогли.

Все осторожные такие, пугливые, трясутся за свою шкуру, а в деле — в последнюю очередь. Видите ли, для нашего задержанного нужно отдельное помещение, нельзя же его в общую камеру, а у них в тот вечер все было забито, суббота... Думаю, связываться не хотели. А может, и еще что... Комитетчики вообще-то на милицию свысока поглядывали, сверху смотрели, ну и милиция тоже, бывало, любила посмотреть, как другой раз комитетчики кувыркаются...

Бредем по Кировскому проспекту почти бесцельно, и вот у дома 14 натыкаемся на дворника, и так проспект вычищен и прибран, последние пустые трамваи в парк Блохина и в парк Скороходова подбираются, а тут дворник с метлой и освком — лошадка райпищеторговская оказию оставила, а он тут как тут, в белом фартуке такой, солидный. Мало дворников-мужиков после войны было, все больше бабы, а этот с таким видом, будто ни войны, ни революции... Пильдин — раз ему удостоверение: задержан опасный преступник, немедленно предоставить помещение для содержания до понедельника. Этот и вопросов задавать не стал. Пошли они тут же вместе управдома поднимать, подняли, он и открыл им красный уголок жэковский. Этот самый, где сейчас шариковые ручки заправляют. Только что стол красным покрыт, а так — одно название «красный уголок»: два стула, две обоймы по три откидных сиденья из какого-нибудь клуба, из украшений — лозунг коротенький, плакат о подписке на заем и портрет товарища Кагановича. Но главное — окно во всю стену и прямо на тротуар, и некуда укрыться, ни занавесок, ни штор.

И то рады, хоть крыла наконец над головой и есть на что присесть, уже ноги гудели.

Арестованный всю дорогу молчал, ни единого слова не проронил, только когда расположились, говорит: «Дайте мне портфель, я есть хочу». Достает оттуда котлетки домашние, бутербродики и бутылку коньяку... Так мы под покровом белой ночи, как товарищ по несчастью, эту бутылочку и раздавили...

Что за птица арестованный? Ерундовая, в сущности, история.

Был, оказывается, у него роман не роман, но какие-то печки-лавочки с дочкой одного... в общем, фамилию называть не буду. Папаше это не понравилось, женишок где-то что-то ляпнул лишнее, дали ему как «язычнику» всего-то пять лет — и в Воркуту. При освобождении в со-

рок восьмом предупредили честно: появившись в Ленинграде, получишь еще пять. Ну а этот схитрить хотел, билет себе организовал транзитный через Ленинград, так что вроде бы он и был в Ленинграде и как бы не был. Списался с родней, чтобы она его на вокзале встретила-проводила, там между поездами три часа всего-то и было... Пока наши созванивались, ставили в известность, ждали решения, вот и получилось, что пришлось фактически поезд догонять, и ни тебе санкции на арест, ни ордера по-человечески выписать не смогли... Нехорошо, тут уж надо признаться. С другой стороны, билет у него был то ли в Пензу... нет, вру, в Инзу, под Саранск. Сам посуди, не оттуда же его потом на пересуд возвращать? Но что нехорошо, то нехорошо... Кто не работает, тот не ошибается, были ошибки, были...

Да, сидим мы, словно на витрине выставленные, комната маленькая, спрятаться, укрыться некуда, окно огромное, чистое... Останавливаются парочки, смотрят... Прохожие хоть и редкие, а все-таки появляются, суббота, и погода хорошая, белые ночи, гуляет народ. Ну что в нас такого?! Четыре мужика, в конце-то концов, на столе закуска, картинка вроде бы самая обыкновенная. Я заметил: сначала большинство смотрят, улыбаются, а потом быстренько-быстренько отходят, и по лицу будто мокрой тряпкой провели, улыбочка сходит. Он в штатском, мы в штатском, один дремлет, двое разговаривают, обыкновенное дело, а народ даже немножко шарахается. Или нервы у людей после войны в Ленинграде ни к черту стали? Пережил, конечно, народ много. В сорок восьмом году в городе еще пустовато было...

Ладно. Этот в уборную запросился, задержанный. Имеет право.

Я Пильдину говорю, здесь же рядом, на трамвайной остановке роскошный общественный галльон, на углу Горького и Кировского.

Кстати сказать, галльон знаменитый, овеянный легендой. Построен он был в виде виллы, с выкрутасами, с башенкой, со шпилями, кладочка узорчатая, черт знает что! Замок из немецкой сказки! А история, говорят, такая. На том месте, где мы сейчас сидим, был увеселительный сад, и принадлежал он хозяину Центрального рынка Александру. Богат он был до невозможности, ну если туберкулезную больницу со всем оборудованием городу подарил, на свои деньги, в порядке благотворительности, она и сейчас стоит, мы там флюорографию проходим...

Да знаешь ты ее, красный дом, последний на проспекте перед мостом через Малую Невку. Считался Александров миллионщиком. Вот про него и рассказывали, что приударил он за одной высокородной дамой, допустим, за баронессой! Та сначала ему хиханьки-хаханьки, надежду подавала, принимала, как говорится, ухаживания, а как до дела дошло — ни в какую! Уж не знаю, как он ее там добивался-уламывал, не купчишка лабазный, не в смазных сапогах, настоящий капиталист, манеры, автомобили, Европа!.. А та не дает, и все! Состоялся у них решительный разговор, она ему напрямую — мужик! Ты, говорит, мужик, а я — баронесса! И весь разговор! Ручку — пожалуйста, но только вот посюда, а дальше ни-ни... Утерся господин Александров. И что интересно, дамочка, говорят, не такая уж неприступная была и замужем бывала неоднократно, и от этого ему особенно обидно. Отомстил. Жила она в доме в начале проспекта, рядом с виттевским особняком. Окна ее квартиры выходили на угол Каменноостровского и Кронверкского по-тогдашнему. Обратился ухажер к городским властям: «Радея о народном здоровье, могу соорудить в саду Народного дома общественный туалет типа сортир на свои деньги». Отцы города с благодарностью принимают дар, предмет необходимый, и место бойкое. А проект потряс роскошью — замок не замок, терем не терем... А был этот «замок» точной копией загородной виллы этой самой баронессы, неприступной для везучего выходца из простого народа. Вот и любуйся, как любой житель города пользуется твоим гостеприимством!

Ну она, ясное дело, тут же съехала, квартиру поменяла, поселилась у Николаевского моста, мост Лейтенанта Шмидта. А он и там галльон под окнами! Правда, попроще. Она, бедная, на другую сторону Васильевского шарахнулась, к Тучкову мосту, а он и там «виллу общего пользования» ей под окна...

К чему рассказываю?

Соловьев после войны в Ленинграде пропасть была. Даже в садике у Александринского театра имени Пушкина, это же прямо напротив елисеевского магазина, на Невском! А здесь, в саду Нардома, для них просто был рай. И вода рядом — Кронверка, и кусты...

Поют, перекликаются, красотища!

Ночью любой звук становится особенным, вес у него другой, чем днем, и оттого, что ночью звук редкость, за-

думываешься над ним, смысл в нем ищешь. Возьми воробья, ерундовая птица, днем они верещат, разве слушаешь, а вот под утро они такой концерт зададут... Я иногда с большим интересом слушаю, слушаю и задумываюсь над жизнью тех, у кого свой голос и коротенький, и не очень интересный, а вот как вместе сойдутся, как вместе заголосят, так и любого соловья забьют. Сила! Соловей тоже, я тебе скажу, птица не фасонистая: спинка с ржавчинкой, пестринка на груди, чуть волнистая, правда, будто рябь по воде от легкого ветерка, носик остренький, тельце веретенцем — вот и вся птица! Очень скромная птица, потому что цену себе знает. Большинство певцов ищут себе место повозвышенной, тот же скворец, он тебе на пеньке или на изгороди никогда петь не будет, даже синица, иволгу возьми, на дерево взлетит да еще на самые норовит верхние ветки, а этот на кустике, на сучке каком-нибудь неприметном пристроится, а то и вовсе на пеньке, а ему и не надо вверх, его и так и слушают и слышат... А запоет — будто небо раздвигается, будто земля шире становится... Слышал я южного соловья, ну и что? У нашего северного голос литой, крепкий, чистый, а как щелком пойдет, так словно гвоздики ледяные тебе в душу забивает, ей-богу, дыхание останавливается, будто это не в его груди, а в твоей ночная прохлада и песня клочечет... Красота!

Да... А заведение это со шпилем и башенками только до часа работало, на ночь закрывалось, но мы подошли вовремя, начало второго уже было, старуха в клеенчатом таком фартуке уборку делала... Нас пустила, я документ показал, все культурно, честь честью...

А соловей для меня к этому времени был птицей особенной. Меня же в разные дела употребляли, хоронить тоже приходилось. Собственно, не то чтобы хоронить, закапывали. Гробы?... А зачем им гробы нужны? Вообще-то не нужно вам этого знать. А закапывали не так чтобы далеко от города, сказать, так другой и не поверит, что, в общем-то, так близко.

Место, я тебе скажу, соловьиное.

Сначала идет взгорок с поселком, а потом просторнейшие поля, и упираются эти поля в гряду уже настоящих холмов, покрытых лесом. Место пустынное. На границе холмов и полей, в складке местности — ручей, над ручьем — тальник, ивняк, самое соловьиное место, лучше не придумаешь... Туда и выезжали. Работа не шумная,

мы им не мешаем, они нам. Это я про соловьев говорю. Бывал я в этих местах и зимой, и осенью, и летом в дождичек, но первый раз, это я отлично помню, дело было именно в конце мая. Я высказал, между прочим, восхищение пением соловья, а Гесиозский, он тогда за старшего был, сказал, что лично ему приятней пение иволги. Иволга действительно здорово поет, ничего не скажешь, но есть в ее голосе что-то не то чтобы печальное, а будто жалуется она, залетела сама не знает куда, все ей вроде кругом чужое и грустное, и нет у нее других чувств, кроме печали да жалобы. Думаю, если тропическую птицу, певунью какую-нибудь, к нам завезти да выпустить, так она приблизительно так и будет петь... жалостно. Мысли эти придержал при себе, не люблю перед начальством со своим мнением, да и не принято это было у нас. Так для себя решил: иволга — гость, а соловей — хозяин! Он у себя дома, ему ни плакать, ни жаловаться некому... Вот я! Все слышат?!

Что в соловье самое интересное? А? Никогда не знаешь, какое он следующее колечко вывернет, каким ключом пойдет... Стукнет с отсвистом, с оттягом, стукнет да вдруг словно сухие досочки просыплет: трам-та-та-там... тра-та-та-там... и сразу, без передыха, длинно так, тонко-тонко, таким свистом, что прямо через сердце проходит... И тянет из тебя душу, и тянет... Жутко делается... Ночь как-никак... С одной стороны, пусто, с другой стороны, спят, а он душу из тебя вытягивает, вытягивает... И когда вконец замучает, бросит, да как грохнет, как раскатится, это уже всерьез... И пошел, и пошел! Жизнь копейка! И с треском, и с посвистом, и с оттяжкой, и с надломом, и с горы, и в гору, и по кругу!.. Раз — и замолчал, собака... В самом неожиданном месте, гад, оборвет, чтобы тебя врасплох застать, словно сам решил послушать, бьется у тебя, к примеру, сердце или встало. И в молчании этом, в тишине между двумя выступлениями, для меня самая жуть. Хорошо, если дальнего соловья услышишь, а то будто в дыру какую валишься... Какие только мысли в эту минуту в голову не приходят... Тишина мертвая. Лопаты шваркают, топор по корням пройдет, будто кости рубит, и слышно только, как в ручье вода булькает, словно кто-то все время негромко горло полощет. И в тишине этой начинает казаться, что мы последние люди на земле: вернемся в город, а там никого, и вообще — никого, нигде, на всем белом свете, и дня не будет, будет только эта белая ночь без конца, и тишина... Такие вот

мысли залетали, особенно когда своих приходилось закапывать. По правилам не говорилось, разумеется, кто да что, не наше дело, но когда свои были, то обязательно так или иначе просачивалось. Были же и у нас нарушители, что греха таить, за то время, что я служил со всеми своими отъездами, состав у нас переменялся, и не один раз, в те времена высокая текучесть была, да и не только у нас, и в исполкоме, и в горкоме тоже. Возьми Гесиозского... Была у него присуха, зазноба как бы, знаменитая проститутка Дублицкая, гражданочка ничем не опроченнная, ни в чем таком не замеченная, она нам его и сдала. Он ее подружек прямо с улицы к себе таскал, арестом пугал, да еще дрался. Так что бытовые моменты его сильно компрометировали в нравственном отношении, я имею в виду, и в моральном. Похвастаться он перед ней раз захотел под пьяную руку, что награжден звездой эмира Бухарского в 20-м году. И тут интересное совпадение произошло: квартирка Дублицкой была рядом с Карповкой, как раз в доме эмира Бухарского, вход через второй двор с колоннами. Так по совпадению больших и малых моментов сомкнулась для него цепь, под тяжестью которой он должен был погибнуть. И погиб.

Что еще хочу о соловьях сказать?

Он же и в дождь поет, и в туман. Не слышал соловья в тумане? Поет одна птица, понимаешь умом, что одна, а звук со всех сторон, кругом белым-бело, и не знаешь, может, ты уже и не на этом свете, может, это уже тебя самого закапывают... Кто там в раю поет? Соловей или кто? Шучу.

Да, еще небольшой такой уж штришок к картине, маленький разговорчик в заведении с башенками и шпилем; там внутри сидячие места, открытые спереди, перегородки только боковые. Надевает арестованный штаны и вдруг говорит: «Да, в уединении есть неизъяснимая прелесть». Высказывание двусмысленное в его положении. Я пасторожился. Самые неожиданные люди это из одиночного содержания, вот уж от кого можно чего угодно ждать, да и сами они не очень-то отдают себе отчет, на что способны, что в следующую минуту выкинут. Это вроде бы из зоны, но осторожность меня никогда не подводила.

Выходим. Я молчу. Тогда он говорит: «Постоим немного, пять лет соловьев не слышал». По инструкции, конечно, не полагается, но здесь я подумал, раздражать его не надо, лучше постоим немного...»

...1948 год. Звенит в ночной пустоте соловьиная трель над Кронверкской протокой, над парком Ленина, над площадью Революции, изготовившейся стать огромным партерным сквером в самом центре города... Навалены груды земли, прорыты траншеи, что-то корчуют, что-то высаживают, высятся пирамиды песка и гравия: то ли ищут на месте самой первой городской площади какие-то недостающие звенья для прочной и ясной исторической цепи, то ли опять закапывают что-то от глаз подальше...

Не осталось и следа от Троицкого собора, гремевшего своими колоколами славу Петровым победам, когда звонкая медь с иных, опустевших колоколен, перелитая в пушки, рвала с мясом и кровью эти победы из рук опрометчивых иноземцев. Отзвонили троицкие колокола и панихиду буйному нравом земному владыке, гнавшему кнутом и палкой врученный ему трусливыми боярами народ к какому-то одному ему ведомому счастью...

Гремят соловьи! Легкой, вольной трелью, веселым клеточком простучивают гранитные листы, глухие стены бастионов и куртин прославленной крепости, не сделавшей ни единого выстрела по врагу, но ставшей грозным оплотом власти в нескончаемой войне со своими неразумными подданными, и замирают, и не рвутся эхом наружу соловьиные трели, остаются в сырых опустевших казематах, хранящих тайну неизъяснимой печали, предсмертной тоски и пытки одиночеством и тишиной.

...Редкая крепость в Европе может похвастать тем, что под ее стенами полегло 100 тысяч человек, да не во время штурмов и осад, каковых за два с половиной века твердого стояния у моря не упомнит славная фортеция, а лишь за время постройки под непосредственным наблюдением и опекой главного досмотрщика над строительством и строителями, его величества государя императора Петра Алексеевича своею особою... 15 лет гнали сюда, волокли, свозили, вывозили рабочий люд со всех концов России, быстро исчерпав небогатые силы туземцев да неведомо каких пленных, если известно, что по сдаче Ниеншанца гарнизон был отправлен восвояси при оружии и с пулями во рту... Учиня Новый Амстердам на краю просторного отечества, запретил государь по всей империи возводить каменные строения, но быстрее, чем каналы, рылись ямы, куда сваливали отработанных строителей, быстрее, чем крепостные стены, росли холмы над костями

рабов, пока правительство, удрученное не гибельностью места, не отсутствием жилья и пищи для своих трудолюбивых подданных, а лишь медленностью исполнения великих замыслов, не убедилось, что вольным подрядом и наймом работы будут исполнены удобнее, скорее и надежней...

Где еще, какая история может похвастать тем, что столица империи стала местом ссылки ее подданных!

Ехали скрепя сердце, не смея послушаться, гащились, прикусив язык, как пленники в собственном отечестве, торговцы, ремесленники, дворяне... Высылали изнутри России в столицу на житье людей всяких званий, ремесел и художеств, а в первую голову тех, кто имел завод, промысел или торги. Беглецов из столицы отлавливали и водворяли на место... Сохранилось имя и последнего сосланного в столицу, правда, уже по собственному капризу. За призыв к буйству и непокорству, за устройство забастовки на Николаевском морском заводе был отловлен властями и приговорен к ссылке Александр Касторыч Скороходов, пожелавший, чтобы местом ссылки был Санкт-Петербург, только что поименованный Петроградом. Затерялась в полицейских архивах историческая каблограмма петроградского генерал-полицмейстера, пославшего милостивейшее свое благоволение в ответ на запрос отчаявшегося в бессилии николаевского коллеги: «...одним негодяем больше, одним — меньше, пусть едет...» Дело было в суровую военную пору, в сентябре 1914 года.

Много торжеств, пиров, гуляний, праздников и побед сотрясали зыбкую почву Троицкой площади и первых двинувшихся от нее улиц, бойкое место, окруженное домами царских любимцев, пока не обрела она нынешнее свое гордое имя и не погрузилась в покой и тишину, изредка нарушаемую раскатами салюта с петропавловского пляжа или какими-нибудь озорниками вроде тех, что вывесили, помнится, на Доме политкаторжан четырехметровый деревянный черный крест, чем были приведены в трепет и волнение дремавшие в непрестанной боевой готовности до тех пор войска внутреннего спокойствия со всеми своими минометами, пулеметами и безоткатной артиллерией... Много веселья пронеслось над низкой луговиной, много веселых звонов и криков ликования унеслось в поднебесье, а в землю вошла, да в ней и осталась брызгавшая на палача, а с палача наземь обильная кровь колесованных, четвертованных, развешанных па столбах с железными прутьями, на кругах, ловко приспособлен-

ных для *выставки* четвертованных тел и милостиво обезглавленных с первого маха.

Гремели колокола по неделям на маскарадах и празднествах, гремела и барабанная дробь, заглушая вопли наглядно подвергнутых наказанию. Не здесь ли новая столица начала счет своим многим казням, одну из первых осветив геометрической строгостью замысла, положенного в жизненный принцип города, Справедливо и милосердно, по жребию, лишь четверо из двенадцати отловленных злоумышленников, запаливших с целью грабежа двухэтажные бревенчатые лавки новенького Гостиного двора на берегу Кронверки, были подвергнуты развешиванию на четырех виселицах, тотчас же сноровисто и симметрично воздвигнутых по углам еще дымящегося пепелища...

А первым политическим узником Петропавловской крепости стал, как известно, цесаревич Алексей Петрович, сын императора Петра Великого, убитый по приговору Сената, утвержденному отцом, после допросов с пытками. В беспокойстве от смут, не утихших со смертью цесаревича, пошел Петр Великий и далее направлять отечество по единственно верному пути: под видом государственных преступников были обезглавлены Лопухин Авраам Федорович, дядя цесаревича, близкий Алексею священник Яков Пустынник, отрубили зачем-то головы и гофмаршалу, и камергеру, и дворецкому... Для какой-то эстетики отрубленные головы положили к телам под руку и по три дня выставляли для назидания и к сведению обывателей. На том не успокоились, отрезали потом у мертвых еще и руки, воздели на колеса, а головы возвысили на столбы. За умелость и мужество, проявленные в деле царевича Алексея, высоких правительственных награждений удостоились и Толстой, и Румянцев, и Ушаков, разумеется. Прошло сто лет. За это время два года в крепостном приделе просуществовало даже столь мерзопакостное учреждение, как Тайная канцелярия. К 70-м годам прошлого бурного века главную политическую тюрьму решили поставить на твердую ногу и оборудовали 72 одиночные камеры в Трубецком бастионе и 18 в Алексеевском равелине, наивно полагая, что девятью десятками одиночных камер можно поддерживать удовлетворительный порядок в столь обширном и густонаселенном государстве.

Горькая петербургская земля! Как трудно всходят на твоей тощей и зыбкой почве семена благородства и до-

броты в попечении о благе примостившейся к тебе России. То ли неудобной для благих семян оказалась вязкая и холодная почва, то ли сами огородники не больно-то и радели о добрых всходах...

Забредший на русский престол путями всемирного бездорожья император Петр III, внук обоих враждующих государей, Петра I и Карла XII, разом, предуготовленный к занятию шведского престола, оказался на престоле русском и даже мог бы сохраниться в памяти благодарных потомков как государь, уничтоживший застенки и Тайную канцелярию, ведь и указ подписал!.. Куда там! Претерпев преждевременную кончину от рук своих буйных поданных, не оплаканный ни августейшей фамилией, ни всем русским народом, процарствовав что-то с полгода, был немедленно забыт со всеми своими указами... Счастливо овдовевшая супруга его, государыня Екатерина II, пошла еще дальше, уничтожила пытку, правда, Александр I пытку еще раз уничтожил, да и позже отменяли ее не единожды... Вот с кнутом было не просто! Отмена кнута как наиболее простого и убедительного средства поддержания порядка и нравственности в 1817 году была поручена Тайному комитету под председательством самого графа Аракчеева. Отцы отечества долгие дни ломали головы над двумя каверзными вопросами: «Можно ли отменить кнут?» и, если — да, «Чем же его все-таки заменить?» Ломал пробитую при взятии Очакова голову князь Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович, генерал от инфантерии, пожалованный в министры юстиции и исповедовавший хорошо прижившийся закон «девять забей, десятого — поставь»; ломал голову и приبلудный сын сестры графа Строганова Новосильцев Николай Николаевич, готовивший переворот 11 марта, что крайне сблизило его с государем и позволило прославиться устройением Тайной канцелярии в Царстве Польском; сказал свое слово и князь Голицын Александр Николаевич, придворный венгренец, известный своим веселым нравом и смелыми забавами, по странной случайности превратившийся в главу православия и министра духовных дел и прибравший под свое легкое крыло все народное просвещение для удобства гонений на университеты и насаждения свирепой цензуры; не хватало умственной и нравственной силы ни у графа Тормосова, ни у князя Цинцианова, ни у сенатора Плотникова, чтобы настоящим образом двинуть вопрос о кнутах. Кнут, введенный Алексеем Михайловичем Тишайшим в ранг государственного инструмента Уложением 1649 года,

не дотянув каких-то четырех лет до двухсотлетнего юбилея, был окончательно отменен лишь в 1845 году.

А последняя большая кровь пролилась на площади в январе 1905 памятного года, когда спешно переброшенные по новенькому, весьма кстати построенному красавцу мосту солдатики хорошо отхлестали пулями шедших за милостью к царю жителей Петроградской стороны и Выборгской...

Гремят соловьи над тихой Кронверкской протокой, пад крутыми ее насыпными берегами, где в ста шагах от парадной площади еще не отыскано и не украшеноobeliskом с пятью профилями место злобной и неумелой казни, когда прелыми веревками было сдавлено горло пятерым безумцам, пожелавшим своему отечеству иной судьбы, иного блага, нежели из рук одного владыки, хотя бы и помазанного на царство самим господом богом!..

Бей, соловей, в глухие каменные стены, бей в мудреные крепостные ворота, бей в тюремный засов, замкнувший тысячи душ, одни от света земного, другие от света истины и добра! Бог даст, и от твоего свиста кто-то проснется, всколыхнется под тиной житейских забот, пробудится от серого сна чья-то душа в надежде сделать хотя бы только свою жизнь осмысленной, сильной и смелой, и устыдится своей немоты, своей робости, своей бесконечной охоты за мелкой выгодой, и сладкой болью отзовется на песню бесстрашной в неведении своей судьбы птицы, посланной в каменный город то ли нам в пример, то ли в укоризну...

Бей, соловей! Твоя ночь, твоя правда!..

VI

«...Вот я и говорю. Стоим мы с задержанным у сортира, чуть в сторонку отошли, как я уже сказал, слушаем соловьев. Что интересно, я в городе совершенно без страха их слушал.

«Не помню, чтобы до войны здесь так много соловьев было», — это я говорю.

А он говорит: «Кошек нет, вот и расплодилось. Гнездо у соловья низкое, в городе первый враг у него — кошка».

Действительно, за войну кошек в городе почти не осталось, соловьям раздолье. Ну что за зверь кошка! Мало

ей в городе крысы? Мышей мало? Нет, обязательно надо соловья сожрать!..

Не помню, как от кошек перешли к любви.

Чтобы не стоять дураком, говорю, что, в сущности, соловей очень небольшая птица, а вмещает в себя такое большое чувство любви и красиво его высказывает.

Арестованный говорит: «Предрассудки. Какая любовь, если у него через несколько дней дети будут. Это одно из устойчивых заблуждений считать соловьиною песню любовным призывом. Поразительное дело, птицы среди всех животных все время у нас на глазах, и слышим их, и видим, а судим о них неверно. Вот и живут в корне неверные воззрения...»

Интересный пошел разговор.

Я, чтобы не раздражать его, спокойно спрашиваю: «Вы, кажется, сомневаетесь в том, что соловей поет о любви?»

Задержанный на меня смотрит искоса, будто не со мной и разговаривает: «Странно люди устроены — один красиво соврет, а другие повторяют, повторяют, повторяют, и уж не приведи бог своими мозгами пошевелить!.. При чем здесь любовь? Это — сторожевая песня. Песня-предупреждение: здесь мой дом! моя семья! мое гнездо! Не подходи, будешь иметь дело со мной! Это клич!..»

«Кошек тоже предупреждает? Кличет, как вы говорите».

Тут уж арестованный на меня прямо посмотрел, и стал он в эту минуту, я тебе так скажу, рыхлым и безвольным, и отвечает словно поперхнувшись: «И кошек...»

«Давайте, — говорю, — возвращаться, как бы нам обоим побег не вменили». Шучу.

Он — руки за спину и на три шага вперед. А я их понимаю...

Когда мы еще на проспект вышли из красного уголка, так он сразу руки за спину и вперед на три шага. А я себя на мысли ловлю, как... какую ему команду подать, чтобы он по-человечески шел. Есть команда: «Руки!» Они сразу понимают и берут руки за спину. Но здесь-то улица, не политизолятор. И прохожие, из окон могут смотреть, из любого парадного выйти могут, не комендантский же час, в конце концов. А я нашелся! Только он со сложенными руками начал шагать, как я ему так, между прочим, бросаю: «Скромнее, гражданин, надо быть...» Он обернулся, не понимает. Вижу, действительно не пони-

мает. «Не надо, — говорю, — и своей особе такое внимание привлекать. Руки, — говорю, — сделайте «вольно».

Это, я тебе скажу, происходило не только с ним, тут действительно худого умысла нет. Нам объясняли это дело научно, называется «реактивное состояние», когда в определенных ситуациях организм как бы уже без контроля мысли сам реагирует по привычке. Я же еще реабилитацию застал, оформлял им справки для пособия, выдавали тем, кто отсидел, по три оклада из расчета заработка на момент ареста... Нет, срок значения не имел, хоть десять, хоть пятнадцать. Не поверишь, заходит старик, профессором был, после реабилитации, задаешь какой-нибудь совершенно ерундовый вопрос: ну место рождения... Он вскакивает и отвечает четко. «Сидите, — говоришь, — сидите». Улыбаешься. Он тоже улыбнется, а задашь следующий вопрос, ну, положим, прописка на день ареста, опять вскакивает и отвечает. Интересный такой старичок. За что посадили? Книжку написал о действиях английских коммандос, обобщил их опыт во второй мировой войне, ему и впаяли преклонение перед иностранщиной, а заодно и контрреволюционную пропаганду и агитацию, опять же 58 — десять. Вот тебе и научная работа, опыт, видишь ли, хотел перенять, чтобы у нас распространить. Всканивал, как на пружинке, а ведь, судя по справкам, тяжело больной человек. Так и у этого, «кисти рук маленькие»; все не нарочно, а по привычке. Идем по проспекту, чтобы ситуация выглядела естественно, решил о соловьях разговор продолжить. «Неосторожная, — говорю, — однако, птица соловей... Сидела бы потише, кормила бы детей, дом стерегла, может, и с кошками бы ужилась...» — «Двести лет уже в горах и соловьи и кошки. Не ужились, а живут, одни поют, другие мяукают, смотрят, где бы чем пожить, одни летают, другие крадутся...» В общем, идем хорошо, со стороны поглядеть, так будто два приятеля подзадержались где-то на дружеской вечеринке субботним вечером, на трамвай опоздали, зашли в галюнь, теперь по улице идут, беседуют — культурно и в глаза не бросается...

На следующее утро в магазин сходили, подкупили того-сего, домой позвонили из автомата, жить можно. Рынок рядом, я на рынок за сметками ходил, самое мое любимое кушанье с детства — это сметки. У нас белозерские бывают и псковские, с Чудского озера. Лично я псковские сильнее люблю, хотя белозерские тоже очень хоро-

шие. Белозерский снеток даже покрупней, пошагулистей и цветом чуть-чуть отличается, на вкус я их и с закрытыми глазами различу, если соли, конечно, не переложено. Солью вообще можно любую рыбу убить... А в псковском снетке, грамотно подвяленном, не только вкус, в нем дух какой-то особенный, он еще и водой пахнет, чистой-чистой водой... Снеток это не еда, это только деликатес. Семечки? Нет, брат! К снетку, конечно, пиво... И у пива тут особая задача и роль, оно нужно обязательно, чтобы можно было во все подробности этой крохотной рыбки войти. Вот для чего нужно пиво! Хороший снеток в пиве как бы раскрывается. Одно дело его насухо есть и совсем другое — с пивом!.. Если снеток чуть подсох, то он как бы туманом из тончайшего соляного пара покрывается, это ничего, и пиво этот туман сразу снимает, мгновенно, а сольца эта пиву остроту придает, молодит его, так они друг в дружку и проникают... Да, тут еще такая вещь, долго держать во рту снетка нельзя... Если ты с воблой пиво пьешь, к примеру, тут кусочек рыбки в рот положил и цеди, тяни пиво... Со снетком этого допускать нельзя. Он требует, чтобы его чуть-чуть в пиве подержал, дал ему вздохнуть и не тяни, пожуй чуть-чуть и глотай, как раз под второй глоток пива... А передержал снетка, и он уже не тот, он же нежный, размякнет и вкус теряет, уже не тот...

Со снетками повезло, псковских взял, а пиво тогда вообще не вопрос, три магазина рядом, а лучший в доме 26/28, где Киров жил, там внизу отличный гастрономчик, рижского взял, потом еще ходили добавлять... Хорошо. Как день пролетел, и не заметили.

Днем выводить тоже приходилось, я пиво надо принять во внимание... Водили днем вдвоем, в смысле сопровождения. Ясно уже было, что смирный, но, как говорится, береженого бог бережет.

В понедельник с утра пораньше смотался Пильдин в управление, бумажки все оформил, машину подогнал, все честь по чести, сдали его в политизолятор, и больше я его, как говорится, наяву не видел.

Кстати, интересные вещи он рассказывал. Оказывается, птицы-то в гнездах не живут, гнездо у них только для выведения потомства, а дальше они уже на воле живут... Люди считают гнездо птичьим домом только потому, что смотрят на птицу как бы собственными глазами. В дождь или от опасности птица в гнездо не летит, на ночь тоже в гнездо не прячется. У птицы своя жизнь. Ничего

ей этого не надо. А человек уж так устроен, если что-то не так, как у него, значит, неправильно. А она постель при себе носит, сунула клюв в перья и спит...

Я интересовался, откуда он все это знает? От сокамерника. Три месяца вместе баланду хлебали, большой знаток пернатых оказался!

Вообще-то я тоже довольно много образования получил на своей работе, каких только людей ни повидал, страшно вспомнить.

Разный народ, удивительно разный... Всех и не упомнишь, а вот одного, он помер потом прямо в изоляторе, даже до Особого совещания не дотянул, сердце отказало, того запомнил, хотя всего и беседовал с ним два-три раза, не больше, шутишь, профессор из университета, мне давали, в общем-то, народ, как правило, попроще... Профессор интересный, ненавидел то ли нашу науку, то ли культуру, отсюда и враждебная нашему строю деятельность, причем и в письменном виде и в устном, прямо, как говорится, с кафедры. У меня с ним разговор какой? Кто направлял? Чье задание выполнял? Сообщники? Где встречались? На что рассчитывали?.. С воли-то народ обычно немного огорошенный приходит, а этот как-то так не то чтобы с усмешечкой, но спокойно, будто не он мне, а я ему отвечать на вопросы должен. Прожженный оказался, он еще до войны успел посидеть, немного, правда, года три. Такой разговор. Я ему вопрос, а он мне: «Что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой?» Я его культурно попросил моей головы не касаться и отвечать на вопросы. Тогда он берет и произносит: «Лучше я вам расскажу о двух коровах, которые пришли в лавку и попросили фунт чаю». Ну это дело знакомое, симуляция под сумасшедшего. Я ему спокойно отвечаю: «Под сумасшедшего решил работать?» Тот как рассмеется и говорит: «А вы не производите впечатление человека начитанного. Извините». Оказывается, я в самую точку попал, профессор этот был какой-то знаменитый знаток писателя Гоголя, и слова эти про коров и чай, как потом Казбек Иванович разъяснил, из произведения «Записки сумасшедшего». Я у Гоголя читал другие произведения, пошел, взял «Записки...», решил Казбека Ивановича проверить... Да! Ну и писали раньше! Что хотели, то и писали. Не нравятся Гоголю французы, он так и пишет: «Глупый народ, французы, взял бы всех и перепорол розгами...» Я еще понимаю, про своих так, еще куда ни шло, а француз-то вроде и неудобно...

А самые интересные, содержательнейшие люди, от которых я больше всего впитал в смысле образования, это были отказчики. Были такие, кто с самого начала следствия шел в отказ: «Что докажете — мое, а на себя и на других говорить не буду...» Разъясняешь ему, разъясняешь самыми различными способами, что отказ от сотрудничества со следствием и непризнание вины это уже недоверие к органам, а недоверие к органам это уже позиция, враждебная социалистическому строю, вроде все ему вдолбишь, а он снова-здорово!.. Наш нарком как говорил? «Каждый советский человек — сотрудник НКВД!» А раз ты не хочешь сотрудничать с НКВД, что из этого следует? То-то и оно, они об этом почему-то не задумывались...

А ведь и формалистики у нас было до черта. Идешь на обыск, ну нашел у него под матрацем наган или пистолет, думаешь, в протокол записывается «пистолет ТТ»? Ничего подобного. «Тульский, конструкции Токарева, длина ствола 116 мм, четыре нареза, в магазине 8 патронов, гильзы бутылочной формы, пули оболоченные...» Кому это нужно? А допросы? Это же формалистика чистой воды. Когда Особое совещание ввели, так и не читали эти протоколы, а на нас давили. Ты закон от 1 декабря 1934 года помнишь? Нет?!. Отличный был закон, подписанный Калининым и Енукидзе. Был такой — Енукидзе. Кстати, у Калинина жена по этому закону на отсидку пошла, а у Енукидзе — племянник. По этому закону все дела по всяким вылазкам против Советской власти и лучших ее представителей должны были разбираться в течение десяти дней, не больше. Обвинительное заключение выдавалось подсудимому за сутки до суда. А если трезво посмотреть, то зачем ему заключение, если на следующий день уже заседание Особого совещания. Приговор по закону от 1 декабря 1934 года приводится в исполнение немедленно, потому что обжалованию не подлежит, а кассации запрещены законом... Для чего, спрашивается, нужны эти допросы до одурения? Это хороший закон, он формальности здорово упростил, иначе даже трудно представить, как бы мы такое количество народа переработали...

Но формализм вещь живучая. Завели моду — ночные допросы! Даже не знаю, откуда к нам эта мода пришла, но так уж пошло, если ночью кого-нибудь не выдернул, вроде получается, плохо работаешь. С одной стороны, протоколы не больно и нужны, а на допросы, с другой стороны, таскай... Я на ночные допросы как раз отказчиков

вызывал, вроде бы самых трудных, а на самом деле для меня как отдых, потому что известно — отказчик, если кому вдруг и захочется протокольчик посмотреть, пожалуйста, у меня чистая бумага с десятком вопросов... Комар носу не подточит. Только сидеть так ночью скучно, я с ними сразу устанавливал прямой и честный контакт, говорю: «Нам сидеть с тобой до пяти утра... То есть, я буду сидеть, а ты стоять. Но если захочешь сесть, пожалуйста, только что-нибудь рассказывай. Рассказывай что хочешь, можешь про свою жизнь, можешь про детство, про работу, про баб, про что угодно, книжки и кино интересные можешь рассказывать... Ни фамилий, ни адресов, ни дат — ничего не требую и писать не буду». Редко кто соглашался ночь молча выстоять. Знал же, что днем в камере спать не полагается. А так, слово за слово, одно-другое, глядишь, из Великой французской революции кое-что интересное почерпнешь, один стихи рассказывал всю ночь, сначала я слушал и смысл почти всегда улавливал, а потом уже устал и только удивлялся — как же это может человек в памяти такую прорву стихов держать. По горному делу интереснейшие лекции получил, по энергетике, и по электротехнике, и сетевое строительство, и тяговые подстанции, уж масляные выпрямители со ртутными никогда не спутаю, по гулу отличу, хотя ни тех ни других в глаза не видел. А возьми бухгалтерский учет... Интереснейшая вещь! Банковское дело, кредитное финансирование, чем стройбанк от промбанка отличается, картотеки, ссуды, пожалуйста... Это я от Кондрикова почерпнул. Не помнишь? Ну что ты! Это же фигура! Киров нашел его где-то в новгородском банке и сделал своим уполномоченным по Кольскому полуострову. Кондриков гремел! «Князь Кольский!» Смешно получилось, когда его брали... У него от Кандалакши до Мурманска были везде свои не то чтобы резиденции, а квартирки или домики, мотаться приходилось постоянно и в Апатитах, и в Мончегорске, и на Нивагэсе, и на Туломе... Был у него домишко какой-то прямо на станции в Зашейке. И бойкая там такая хозяйка была из финок. Дом всегда был в полном порядке и в полной готовности принять хозяина, да, как правило, с гостями. Она прямо из окна видела, как поезд какой подойдет, хоть и товарный, не идет ли ее повелитель. Раз смотрит, поезд подошел из Кандалакши как раз, идет к дому Василий Иванович и с ним еще нас пять человек. Она мигом, времени три минуты, и стол накрыт! И семужка, и кумжа, и хариус, и грибки, и зубатка, как

угадала, прямо из духовки... Дверь открывает, улыбается, лопочет что-то веселое по-своему... потом смотрит, на Кондрикове лица нет, мы молча по квартире расходимся, мы в форме тогда были, она все поняла и мигом — раз, тут же со стола убирать. Бандалетов из кандалакшского НКВД говорит ей, чтобы не трогала, чтобы оставила... Она как на него залопотала, злая как ведьма, все убрала, а Кондрикову водки стакан налила и семги дала заесть... Вообще-то не положено, только что тут сделаешь, случай все-таки особый, опять же женщина по-русски понимает, но очень слабо... Не помню уже, как он у нас шел, вроде по правотроцкистскому центру. Твердо держался мужик, в чистом виде отказник, ни одной фамилии за все время ни разу не назвал, а про банковское дело рассказывал здорово!

Ну судостроение — это мой особый интерес, флотская молодость, с одной стороны, а с другой — все-таки понимал куда больше, чем в других предметах... Или медицина. Здесь сложнее. Пока рассказывают, вроде все понимаю, а как сам потом попробую пересказать, хотя бы и дома, ничего не получается, сбиваюсь. Спросил у одного профессора: почему так? Говорит, нет изначальной подготовки, фундамента нет, анатомию и физиологию не знаю. Вполне может быть. Как у подследственного череп устроен, этого я действительно не знаю. Зато обратил внимание вот на что. Чем крупней специалист, тем понятней рассказывает. Я-то думал, что если уж профессор, то его понять трудновато будет, ничего подобного. Попытался мне раз объяснить один костолом из здравпункта деревообделочного завода, бывшего Мельцера, за Карповкой сразу, как у человека рука устроена. Очень у меня смутное представление осталось. А потом один из Института изучения мозга имени Бехтерева, из особняка великого князя на Петровской набережной, изумительно объяснил. Например, рука может быть совершенно здоровой, никаких повреждений, а если сигнал не проходит, то считай, что нет у тебя руки. Рука есть, подключена ко всем видам питания, кровь проходит нормально, с кровью получает все продукты обмена, продукты распада, шлаки все выносятся, а рука не работает только по одной причине, потому что от головного мозга нет сигнала. Смысла, оказывается, тогда в руке нет. А с виду здоровая... И как только перестает функционировать, так здоровая вполне рука начинает отсыхать, становится в организме как бы лишней, ненужной, и организм сам начинает ее снимать

со всех видов довольствия... Рука что! Проходил у нас немец, Вормс фамилия, крупнейший гинеколог, проходил по «Сызранскому мосту», в группе, они взрыв готовили или не готовили, кто теперь знает, но тогда, перед войной, как раз проходил по «Сызранскому мосту». Надо было его в Саратов этапировать, там процесс был шумный, показательный, писали о нем в газетах. Мой гинеколог тогда пятнадцатую годами отделался. Получаю приказ — снять с него предварительные, а он в отказ. Бородка такая кругленькая у него была, коротко стриженная, очки в полстекла, как полумесяц, на спинку опрокинутый... То же ночью его выдернул. Я сижу. Он стоит. Час простоял, второй пошел. Видит, что я его ни о чем не спрашиваю, а что-то пишу, тогда он меня спрашивает: «Что пишете?» Я ему чистосердечно признаюсь: «Пишу письмо сестре, четыре месяца не писал, а у нее с мужем не очень-то хорошо и трое детей». Сестер у меня было шестеро до войны. Он начинает нервничать. Тогда я ему снова говорю: «Можешь сесть, этот вот стул для тебя, и рассказывать все что угодно». В общем, разговорились, я ему объяснил напрямую, почему его ночью выдернул, а он мне рассказал, как там у баб все устроено, в смысле женщин. Всю эту скрытую от мужского пола механику он мне за три допроса преподнес в лучшем виде. Я ж до этого, можно сказать, дикий был человек, мало чем отличался от животного... А в этом вопросе культура не последнее дело. Он мне доступно объяснил, что у них, у баб, возникает и чего им надо... И что меня больше всего удивило, оказывается, у них все так же, как и у нас, только наоборот! Даже вообразить такое сначала не мог, а потом оказалось — факт!..

Я к женщине после этого, даже к жене своей, стал относиться с большим интересом и значительно осторожней, честное слово.

...Чем больше знаешь, тем жить интересней. В этом смысле моя работа много мне чего дала, а как подумаешь, что же от меня останется? Прожил жизнь рядом с теми, кто ушел неизвестно куда, и я с ними или за ними туда же уйду... Даже все мои обильные знания, может быть, и несколько растрепанные, употребить некуда.

Многие смотрят на мир разными со мной глазами, это ничего, я к этому привык. Раньше больше было так, кто одинаковыми глазами смотрел, теперь меньше. Может, так и надо?

Для чего на свет появился — догадываюсь. Для чего

жизнь прожил, чему служил — знаю. А для чего мне оставшаяся жизнь? В награду? Но разве старость может быть наградой? Может, для того, чтобы я богатым своим опытом поделился с грядущими поколениями?

Наша служба привлекает не блеском формы, к нам народ шел не то чтобы талантливый, а усердный и внутренне крепкий. И не всякий мог нашу работу выдержать. Помню, за три года до начала войны послали меня с группой в Архангельск на усиление, большая там раскрутка шла, ну и привлекали при арестах и обысках в качестве понятых актив из молодежи, тех, кого впоследствии можно было бы самих взять в органы. Был среди прочих у местных кадровиков на заметке комсомольский секретарь из архангельского драмтеатра. По профессии, правда, он актер, но явно с хорошей жилкой и с большой склонностью к организаторской работе. Все у него хорошо, на собраниях, на митингах выступал отлично, характеристики прекрасные, из беспризорников, вообще паренек перспективный. Держали его на примете, а тут как раз решили проверить, привлекли для первого раза понятым при аресте Серкачева, был такой начальник архангельского порта, седой такой дядька, в Архангельске человек знаменитый, партизанским движением там в свое время заправлял и орден Ленина у него был чуть ли не под седьмым номером. Приходим. Так и так, обыск, как полагается. Квартира большая, очень много книг, даже в коридоре полки. А самое канительное дело при обыске — это бумага, письма там, рукописи и книги. Барахло, вещи, это все перетряхнуть недолго, мебель сдвинул, повернул, простучал, это все пустяки. Отдушины там всякие, печки, заслонки тоже времени не забирают, но книги всю душу вымотают — каждую сними, перелистай, потряси... В общем, все идет нормально, приступаем к книгам. Здесь же две его дочери, барышни, можно сказать, комсомольского вида, и жена. Вдруг этот дядька седой как зарыдает, рыдает и ничего поделаться с собой не может, судорожно так рыдает. Девчонки тут же обе тоже в слезы, но эти тихонько в платочки уткнулись, и ладно, а того прямо трясет. Партизан называется! Хочет к нему жена подойти, а нельзя, она может или передать что-нибудь, или может иметь место элемент сговора, в общем, нельзя. Смотрю я на нашего комсомольца, стоит, к косяку прислонился, вижу, лицо все время вверх задирает, будто у него кровь носом пошла, подошел поближе, а он, оказывается, ревет как белуга, только беззвучно. Такой

боевой парень, и на тебе! Я его успокоил, поговорил по-человечески, вроде бы он успокоился, водички попил, утерся... Десять минут не прошло, и снова в слезы, да тут еще и с подвыванием каким-то. Нет, брат, видим, чекист из тебя ни рыба ни мясо. Иди-ка ты на хрен домой! Одно дело, знаешь, с трибуны да на собраниях громить и клеймить, это все умеют, а как выкорчевывать, тут надо и выдержку, и твердость, и еще кое-что.

А на собраниях и митингах бывали случаи тоже самые неожиданные. Проходил у нас после войны уже один мужичок — и смех и грех! Занюханный такой мужичок, наружности никакой, вот такого росточка, усы, как у хунвейбина, из молокан он, что ли, здоровался как-то чудно, войдет в помещение, хоть и к следователю, и с поклоном: «Здравствуйте, миряне!» А прозвище у него было «Тольятти». Откуда такое прозвище неожиданное, рассказываю. Было после войны злодейское покушение на вождя итальянских коммунистов товарища Пальмиро Тольятти. У нас прокатилась волна протестов и митингов... Сельская местность тоже была охвачена, даже в пригородной зоне. Устроили такой митинг то ли в Антропшино, то ли в Сусанино, ты не смотри, что Ленинград близко, в часе езды, а там такие деревеньки есть, такие мызы да пгосты, что народ попадаетея довольно ограниченный в смысле своего политического развития. И надо было, чтобы на митинге от разных слоев выступали, не только, скажем, партийные и комсомольцы, а вообще от народа. А какие в Антропшино слои? Какие в Сусанино слои? Такие слои, что можно было бы и не трогать. Нет, нашлась какая-то бойкая бабенка из исполкома, очень ей хотелось «от простого народа» выступление услышать. Услышала! Отловили этого мужичка, стали ему объяснять: «международная солидарность», «интернационализм», «преступная рука мирового империализма»... Все разъяснили. Выпихнули его на трибуну, что-то он там говорил, никто, разумеется, не помнит, только в конце как ахнул: «Да здравствует товарищ Троцкий, товарищ Ворошилов, товарищи Бухарин и Сталин!» Вот тебе и раз! Всех, кого помнил, и бухнул. Он, может, и газеты в руках не держал двадцать лет... Дела. Что не со зла, это понятно, он даже не знал, что двоих уже и в живых не было... От этого не проще, кому-то отвечать все равно надо, на митинге, хоть и в Антропшино, нельзя кричать здравицы злейшим врагам и убийцам. Кончился митинг уже кое-как, друг на друга не смотрят люди, думают об одном — кто первый

доложит, тот еще может открытаться. Стали этому типу объяснять, кто такие Троцкий да Бухарин и что они уже давно понесли заслуженную кару... «Не ведал, миряне, не ведал...» Не ведал! «Лукавый попутал, господь не уберег...» Как ни крути, а выходит, им самим надо голову подставлять или этого «мирянина» привлекать... Дали ему по минимуму за контрреволюционную агитацию десять лет. Спрашивают: «Приговор понятен?» А он свое: «Вся скверна с языков сходит, казни меня, судия праведный! Не суесловь! Беги соблазна...» Так с прозвищем на отсидку и пошел.

По агитации вообще самое легкое было загреметь. Проходил у нас по следствию один инженер, был на него сигнал, что во время командировки в Финляндию, ездил какое-то оборудование для Балтийского завода получать, встречался там с двоюродным братом. Родственника этого он в анкете не указал, иначе подумали бы еще, выпустить или не выпускать. Сигнал был верный, а, кроме сигнала, ничего нет. А он уперся и ни в какую: не был, не видел, не знаю... А раз так, тут уж надо докопаться. Я его приводил несколько раз к старшему следователю Секирову, одна фамилия уже производила впечатление, отличный такой мужик; прожженный человек, прямой, без всяких там хитростей, говорит ему ясно: «Подпишешь, не подпишешь — сидеть ты все равно будешь... Ну назови хоть одну фамилию, кто отсюда выходил без срока? Назови! У тебя есть такие знакомые?..» Тот говорит, что таких знакомых у него нет. «Так ты-то, мать-перемать, чем их лучше? Неужели у тебя не хватает ума не мучить меня? Я тебя выпущу — это же брак в моей работе, не понял? А то что ты враг, это у тебя на роже написано. И сидеть ты будешь!» И тут Секирову случай помог. Просыпается как-то утром этот инженер у себя в камере и сон рассказывает: приснилось ему, что он ходит по Финляндии без конвоя, что-то еще про магазины приснилось... А в камере у него «наседка» была. Тут же все это оформили как контрреволюционную агитацию, и поехал он лес валить на законных основаниях...

Говорят, интеллигенция вежливая. С одной стороны, доля правды в этом есть, а с другой — как посмотреть. Уголовный контингент, как я заметил, и внимательней, и стремится найти общий язык. А эти — нет. Вот с женихом, «руки маленькие», сколько возни было, я лично сколько раз выводил его и позволял немножко, тех же соловьев слушали, разве он спасибо сказал?

Или другой пример.

Мало кто знает, есть такая за Московским вокзалом, за товарной станцией, Константиноградская улица или переулок, а напротив, через дорогу, буквально пятнадцать метров пройти, дровяной склад Московского райжилуправления. Лежат там напиленные, нарубленные дрова, лежат годами, десятилетиями не менялись, почернели, посерели, потому что никто ими не пользуется, лежат они для отвода глаз. На дровяной двор есть железнодорожная ветка, подавали туда ночью вагоны, только не дрова привозили и не дрова вывозили. На Константиноградской была пересыльная тюрьма, даже не пересыльная, а такой как бы перевалочный пункт, днем ее заполняют, а ночью быстренько порогоняют через улицу на дровяной склад партию и грузят, потом уже в запломбированных красных вагонах отправляют на сортировочную станцию... Но главное — это доставить контингент на Константиноградскую. Доставляли на «воронках», трехточка, сзади дверь, железом обитая, сверху два отдушничка, а сразу за входом, слева и справа, два шкафчика, «стаканчики», считай, для особо опасных и приговоренных к смерти. Ну сколько за раз можно народу в одну машину взять? Ну двадцать человек, ну двадцать пять, если плотно, а случилось и по шестьдесят грузить. Раз вывели во двор партию перед погрузкой, смотрю — женщина пожилая, но очень красивая, лицо как у царицы, по виду крайне интеллигентная. Дело было в феврале, в конце месяца, день солнечный, и все таяло. Эх, думаю, хоть и недалняя дорога, с полчаса, да как же тебя, «царица», довезут, если как раз после предыдущего рейса я машину осматривал, нашел фляжку алюминиевую в таком виде, будто черт на ней плясал, пожевал, потом и выплюнул. Беру эту женщину первой, веду к машине, помогаю подняться и помещаю в «собачник», ну в шкафчик этот, с тем чтобы не задавили в давке... Как она заголосит! Как стала стучать, кричать что-то такое, хоть прямо на пересуд. Ладно, думаю, еще спасибо скажешь. Начинаем загрузку. Тут, как всегда, брайль, крики, стоны, нецензурные выражения, как-никак человека на человека приходилось иногда напихивать, и так под самую крышу. А они не знают, что дорога недалняя, что можно и потерпеть... Тоже, доложу тебе, работенка... Я машину сопровождал, так и разгружал на Константиноградской. Извлек я эту даму последней. Бледная, ни кровинки, воздух глотает, на меня не смотрит, вернее, смотрит, но вроде и не узнает... Ду-

маешь, спасибо услышал? Нет, не дождался. А с виду женщина интеллигентнейшая...

Уголовник никогда себя так не поведет, он даже малейшее внимание ценит: «Гражданин начальник, спасибо», «Гражданин начальник, большое спасибо...» — и при любых обстоятельствах чем-нибудь да отблагодарит. Вообще-то у них в зоне все есть, буквально все... И денег полно, и водка...

Что еще хочу сказать про интеллигенцию?

Народ в большинстве своем неосторожный и поэтому опасный. И в газетах, и в книгах, и по радио говорят, в какое время живем, какое у нас окружение, как внутренние враги только и ждут, где бы мы свою слабость обнаружили. Ни на минуту нельзя было терять ни чувство ответственности, ни осторожность. И ко всем счет был один. Вот тебе, пожалуйста, маршал авиации Ворожейко, боевой генерал, войну прошел, а после войны получил 25 лет, и жене его Александре Александровне тоже 25 лет впаяли. За что? Дело было после войны, умер кто-то из очень больших людей, очень, ну и похороны, как полагаются, торжественно, скорбно, с высокими почестями... А Ворожейко возьми и скажи: «Это что, вот когда Сталин умрет, вот это будут похороны!» Все. Хоть десять раз маршалом будь, а за такие слова никто тебя по головке не погладит. Никто в бога не верит, рано или поздно мог, конечно, и товарищ Сталин умереть, но зачем говорить об этом, да еще при людях? Нет, ты мне ответь, мог он от этого высказывания воздержаться? Мог или нет? Я это специально спрашиваю, а то любят теперь вину на других сваливать, кто-то там виноват... Да никто не виноват! Кто тебя за язык тянул? Для тех, кто любил товарища Сталина и не мыслил себе жизни без него, а это был весь наш народ, такое высказывание было оскорбительным, и отвечать за него надо было по всей строгости. Кого тут винить? Да, но маршал как-никак, и обошлись с ним по справедливости, буквально, как только умер товарищ Сталин, чуть не на следующий день его выпустили. Три года только и отсидел, это из двадцати пяти! Я тебе таких примеров, когда люди сами виноваты, сколько хочешь могу привести. И далеко ходить не надо. Вон видишь наискосок особняк графа Витте, премьер-министром был при царе, министром финансов. Говорят, это он виновную монополию в России ввел, до него кто хотел, тот и гнал, и для себя и на продажу. Но речь о другом. Был в его особняке устроен Институт охраны здоровья детей и

подростков, а во время выборов, естественно, агитпункт. И вот комендант этого особняка увидел, как к резной грушевого дерева двери, чуть ли не лаком покрытой прибили гвоздиками фанерку — «Избирательный участок по выборам народных судей и народных заседателей», номер и т. д. Увидел это дело комендант и в истерику: «Какой дурак повесил?! Убрать немедленно!» Сам же дощечку эту фанерную и сорвал. А заведующий избирательным участком был очень серьезный товарищ из профсоюза. И пришлось коменданту отвечать сразу по двум статьям: и за клевету на советские профсоюзы, и за попытку сорвать избирательную кампанию по выборам народных судей и народных заседателей.

Была с Витте еще одна история, в фармакологическом институте, аптекарей готовят. Не помню, с пятого или с четвертого курса паренек, бледненький такой и вида жидковатого, прочитал два тома воспоминаний Витте... Три тома, говоришь? Он два прочитал, третий том не фигурировал. И вот под впечатлением от прочитанного стал он хорошо отзываться о Витте, а время было суровое, 50-й год. Обвинили его в пропаганде монархических идей. Так он еще спорить стал. На Витте покушение в этом самом доме было произведено, бомбу ему в трубу дымовую бросили, так обвиняемый пытался доказать, что покушение провела как раз монархическая организация «Союз русского народа» за то, что Витте был за ограничение царской власти. Следовательно спокойно так ему говорит: «Поподробнее о Витте расскажите». Тот рассказывает, как Витте Великий сибирский железнодорожный путь строил, привел для сравнения цифры по Турксибу и ввернул — 85 процентов действующих сегодня железных дорог построено при царе. Следовательно рассказ этот записал, дал прочесть, попросил расписаться... тот и расписался под своим приговором. «Если при царе так много железных дорог построено, то, значит, самодержавие лучше социализма?» А это уже агитация. Это уже пропаганда. Ну и что из того, что факт? Факт сам по себе ничего не значит. Важно, в чьих он руках и какому делу служит. Если бы этот факт служил укреплению социализма, мы бы его нашли в трудах товарища Сталина, в речах товарища Кагановича, других вождей, а так получается, что это факт из арсенала наших врагов, явных и скрытых. Есть факты, а есть «фактики»... Это тебе только по одному особняку графа Витте пройтись, так историй не на один вечер хватит, а если про Дом политкаторжан вспомнить? Кто-то из

наших прикинул, что из 142 квартир были выявлены и обезврежены 134... Сам помню, как за ночь по пять машин на этот дом в наряд выходило... «Эмочки», легковые...»

VII

Низменное положение бывшей столицы империи лишает жаждущих сполна и разом лицезреть ее грандиозность и великолепие с той удобной и возвышенной точки, на какую наравне с Парижем и Москвой и Санкт-Петербургом с полным основанием мог бы рассчитывать. Приспособленный к обозрению как бы снизу, город стремится подавить созерцателя не столько необычайной высотой шпилей и вознесенных к небу громадных куполов, не столько обилием и величию колонн, тесанных из цельного камня, литых из меди и чугуна, сложенных из мрамора, гранита, мягкого пудожского камня или какого-нибудь диковинного афганского лазурита, и даже не звоном медных колесниц в подоблачной выси, способным остановить дыхание у зазевавшегося путника...

Летят над городом кони, лишь на мгновение касаясь невесомыми копытами величественных арок над темными площадями или фронтона мельпоменова храма, чтобы оттолкнуться от поднятых в поднебесье камней и продолжить свой вечный полет...

Не зря расставлены по городу копи, смиренные державными всадниками или замершие в сильных руках нагих атлетов, не смущенных ни морозом, ни дождем, ни ветром. Вздрузданные, укрощенные копи на мосту, некогда стоявшем на границе города, — приветный знак входящему в столицу из архангельских, вологодских и ярославских краев!..

Много красот и символов собрала столица под своим тусклым небом...

Нет, сердце истинного знатока и ценителя прекрасного и в иных городах, и в иных далях найдет немало колонн, немало парящих в недосыгаемой вышине ангелов. Арки, шпили, дворцы, соборы щедро изукрасили множество горделивых столиц, только где еще, кроме разве что тысячелетнего Рима, вы окажетесь в плену удивительных по тонкости замысла и верности исполнения каменных ассамблей, составленных из причудливых сочетаний пышных дворцов, безбрежных площадей, бессчетных мостов, обелисков, скверов, искусно соединенных разнородных

зданий и зданий, сходных как близнецы, зеркально отражающих друг друга по разные стороны одной улицы...

Тем удивительней и загадочней, что в самом сердце города, бывшем и пуповиной его, и первым рынком, и первым портом в изначальные годы, образовалось пустынное пространство, унылое, как безлюдная сцена с недостроенной декорацией, именуемое площадью Революции. Устроенный на площади необъятный сквер не притягивает горожан ни обилием света, ни чистым ветром, свободно летящим сюда с Невы, ни простором, ни уединением... Одной стороной площадь выходит прямо на набережную перед огромным мостом, в семь прыжков перекрывающим Неву в самой широкой ее части, с двух других сторон оббегают площадь летящие с крутизны моста трамваи, и лишь четвертой стороной ложится площадь к подножию двух огромных зданий, вытянутых в одну линию, как бы продолжающих друг друга и в замысле как бы предумышленных к соединению, да вот уже тридцать с лишним лет так и оставшихся разъединенными проемом, ничем не заполненным.

Обращенные фасадом к площади два исполинских здания символизируют собой разноглазие двух эпох, а равно и паралич административной воли, решимости в приведении их к единству: весь открытый ветру и свету, из прямых линий и строгих плоскостей, отринув мишуру украшений, не обремененный подробностями, геометрически ясный фасад Дома политкаторжан, как ласточкиными гнездами, облеплен балконами на верхних этажах, а на этажах пониже слиты балконы в трибуны-террасы, будто знал рисовальщик, как станут тосковать обитатели этого дома в замкнутом пространстве своего заслуженного мук и каторгой жилища, без сознания возможности в любую минуту шагнуть на балкон и бросить в толпящийся внизу, жаждущий света и правды народ живое, яростное слово, зовущее на борьбу, на подвиг, на самопожертвование... Иное дело дом рядом, как указано в новейших путеводителях — «дом повышенной монументальности», замысленный и осуществленный где-то в середине истекающего столетия. Изукрасив фасад великим множеством псевдогреческих колонн, выстроенных в два ряда, и даже поставив один ряд над другим, смелый мастер бросил вызов древним умельцам, способным соорудить, к примеру, один Парфенон, но водрузить его на второй такой же уже не способным. На подновленном языке древних греков торжество новейшей эпохи провозглащает величественный

портик из множества колонн — предполагавшийся центр так и не приведенных к единству разноликих зданий. Вознесенный на громадный и по-своему тоже величественный параллелепипед, портик, украшенный пилястрами, карнизами-архитравами, окнами полуциркульными и привычно прямоугольными, где в духе повышенной монументальности вместо переплета вставлены довольно красивые такие колонны, метра по два высотой. А вот фронтона у портика нет, вернее, есть, но неожиданно скромный, плоский, в форме новенькой бескозырки, каковую вы получаете от старшины со склада и начинаете, вертя в руках, размышлять, где и что следует приподнять, а что опустить, чтобы линия, бегающая белым кантом по краю, оставляла по себе впечатление приподнявшейся и замершей на голове волны... А может быть, этот плоский пустынный фронтон напомнит кому-то бритую голову новобранца?.. А может, он всего лишь арена, на которую так и не вышли наши гипсовые современники, неся в руках знаки гражданской и боевой доблести? Несметные числом колонны, покрывающие фасад дома, отделяют один от другого крошечные полубалкончики, на которые при желании и двумя ногами не ступишь, а до соседа, отгороженного величавыми выпуклостями, не докричишься и при пожаре. Впрочем, жильцам «дома повышенной монументальности» и нравы полагается иметь монументальные, исключаяющие порывистые поступки, быть может, и дозволенные для некоторых лиц в настоящем, но предосудительные с точки зрения будущего. Эпоха монументальности кончилась прежде, чем Дом политкаторжан в соответствии с монументальностью замысла должен был утратить свое исконное лицо и стать симметричным отражением левой части сооружения, упирающегося еще двадцатью восьмью колоннами в бывшую Большую Дворянскую улицу, ставшую в пору строительства дома для политкаторжан 1-й улицей Крестьянской бедноты, а в пору строительства «дома повышенной монументальности» переименованную в улицу имени Куйбышева Валериана Владимировича.

Так и остались эти два здания стоять рядом да не вместе, поскольку торцовая сторона дома для политкаторжан обращена к своему монументальному соседу некоторого рода округлостью, каковую легко принять за сжатый семипалый кулак или по числу этажей — за семиярусную боевую рубку какого-нибудь бронепалубного крейсера времен Октябрьской революции.,,

В портике, вознесенном над площадью, впрочем, как и в кубе, на котором он покоится, разместился проекторочный институт, не сумевший довести до ума свои собственные хоромы и теперь рассылающий в ближние и дальние края чертежи для дальнейшего устройства не занятых еще или уже очищенных от старых построек мест...

Как это случилось, что площадь в центре города, прославленного гармоническими ансамблями строений, оказалась ареной столь наглядной двусмысленности?

Впрочем, давно пора оставить опасную привычку задавать вопросы истории, если ответ, того гляди, придется держать самому.

Видно, на роду было написано этой низменной плоской земле, затоплявшейся в каждое порядочное наводнение и служившей боевым предпольем грозной Петропавловской крепости, быть обширной ареной исторических причуд.

Только никто за полтора столетия так и не собрался атаковать грозную крепость ни с моря, ни тем более с суши, но государство, особенно твердое в неукоснительном исполнении бессмысленных предписаний, бережно сохраняло от обустройства и заселения гласис крепости, обширное и пустынное пространство на подступах к рвам, окружавшим Кронверк с Петербургской стороны. Центр города давно уже перекочевал за реку, в Адмиралтейскую часть, и жители успели прозвать опустевшее и продуваемое ветрами место Сахарой, а государь, чья дорога на излюбленные Елагины острова лежала сквозь означенную пустыню, никак не мог охватить ее своим государственным умом. Зато когда монарший взор в середине прошлого столетия то ли провидением, то ли кем из близких, кативших с государем в месчетный раз сквозь пыль и запустенье, был обращен на крепостное предполье, давным-давно утратившее свой фортификационный смысл, государь тут же высочайше повелел об устройстве на всем гигантском пустыре парка. Монаршие распоряжения исполнялись в ту пору резво и точно. Был порядок при Николае II И уже череа год по шоссированным аллеям парка прогуливались и прокатывались самые именитые и достойные горожане, первое время даже по преимуществу аристократия. Но вскоре *порядочные* люди как-то отвернулись и уступили это место под тюремными стенами усердно посещавшему парк народу.

За трамвайными путями, убежав с площади, спря-

тался за деревьями и высокими кустами сирени причудливый, как дорогая игрушка, исполненный в самом модном для начала века стиле особняк любимой балерины великого князя. Сам же великий князь, поддерживая тесные узы не только с Терпсихорой, но и с Евтерпой, почти обессмертил свое имя, подарив простому люду замечательную песню «Умер, бедняга, в больнице военной...» и оставив людям более тонкого вкуса и чувств романс «Растворил я окно...» Его помпезный особняк, последнее в столице строение триста лет царствовавшей фамилии, по праву занят Институтом по изучению мозга и прячется за Домом политкаторжан, неподалеку от заключенной в кирпичный футляр избытки основателя города и в семи минутах неторопливой ходьбы до особняка известной балерины...

Другой угол площади упирается в парк, где за прозрачными кулисами высоких деревьев едва виднеется памятная всем арена, где белой ночью, под утро 13 июля была сыграна без зрителей одна из самых знаменитых трагедий, потрясшая души современников и погрузившая отечество на многие годы в молчаливое оцепенение.

Могучая как крепость кирпичная подкова заняла нынче Кронверкский плац, где в соответствии с вдохновенно сочиненной и предписанной к исполнению самим государем процедурой были подвергнуты гражданской казни и пельмованию 97 офицеров, дерзнувших усомниться в том, что цари поставляются от Бога, и возжелавших сообщить незыблемый смысл словам «законность» и «справедливость». Изможденные полугодовым заточением, страшно изменившиеся, но без трепета и даже с торжеством шли они к своей судьбе в виду осевших и полуобвалившихся земляных валов, так никогда и не понадобившихся полубастионов, на которых теперь заканчивалось строительство помоста с двумя столбами и перекладиной для пятерых, милосердно избавленных государем от четвертования, как того требовало Особое совещание, и приговоренных только лишь к повешению. Они видели, как какой-то молодец, ухватившись за петлю почти готовой виселицы, повис, пробуя крепость веревки, с которой всего через час после казни снимут облаченных при жизни в белые саваны покойников, а придушенная Россия будет болтаться еще невесть сколько... Государь, открывая новую эпоху в истории мелочного деспотизма, чувствуя себя наследником и продолжателем не знавшего мелочей Петра, не только начертал план расположения войск во время

казни, но и предписал, кого и когда выводить, кому за кем идти, по сколько конвойных на преступника определить, кому приговор читать да сколько колен похода бить для вящей строгости, когда все уже будут на местах...

Дымились костры, готовые принять и обратить в пепел покрытые славой мундиры героев, спасших отечество от иноземного посягательства да не сумевших уберечь от доморощенного тирана...

В утренний час не было зрителей у этой, быть может, самой пышной из всех казней, что знала и помнила Троицкая площадь и ее окрестности. Лишь богопомазанный устроитель зверского спектакля не спал в Царском Селе, получая каждые полчаса от запаренных скачкой гонцов сведения о том, как идет премьера...

VIII

«...Исполнителя я только в Новгороде видел, вечно пьяный ходил...»

IX

Издревле в память о пролитой крови, в память о подвиге человеческого духа, презревшего деспотизм частной жизни, ставил народ кресты, часовни, храмы...

Вот и здесь, между бывшим Кронверкским плацем и площадью Революции, тогда все еще Троицкой, в 1906 году, надо думать, по недосмотру лиц, призванных сберегать душевный покой самодержавных правителей, поднялся храм, храм милосердия, госпиталь, геометрическим рисунком двух своих корпусов повторивший расположение выстроенных в два кара армейских и гвардейских офицеров, приговоренных к ссылке и каторге.

Притупилось недремное око и духовных пастырей, если с высокой стены госпиталя смотрит на нас Владимирская богоматерь, смотрит карими глазами княгини Волконской по прихоти юного Кузьмы из Хвалынска, отринувшего тысячелетний византийский канон, предписывавший светлоокой изображать заступницу за род человеческий.

Смотрит Владимирская богоматерь в умилении сердца, укрытая копотью и пылью от глаз борзых холопов, готовых свою безмозглую преданность чему угодно и кому угодно, свой единственный капитал, поддержать и приумножить доносом и на саму Богородицу...

«...Из всех арестов, обысков мало что запомнилось. Думаешь, это все неповторимые картины?.. Ничего подобного, все одинаково. Берешь управхоза, дворника, они же проходят как понятые, поплешь узнать, дома ли представляющий интерес гражданин или гражданочка, потом уже с этим же управхозом идешь, на него люди открывают спокойней, хоть и ночь... Были, конечно, и неприятные случаи, стрелялись люди. Звоним: «Откройте!» — а там выстрел. С одной стороны, конечно, брак в работе, а если с другой посмотреть... Ну был бы он ни в чем не виноват, зачем стреляться? Ко мне постучись хоть ночью, хоть утром, я же не буду стреляться и ты не будешь... В коммунальных квартирах работать было трудней, особенно в больших; приходим, а пужного человека нет. Что делать? Звонит старший дежурному по управлению, по оперативной связи, так и так... А что тот может сказать, войди в его, дежурного, положение! Только одно и гавкнет: «Вляпались, вот и сидите, ждите!» Это уже называется — засада. Один раз мы так в засаде два дня просидели, а дельце-то чепуховое, библиотекарьшу какую-то брали. Тогда порядок был какой? По всем библиотекам рассылают списки: такие-то и такие-то книги или таких-то писателей из обращения убрать, изъять, сдать по акту или уничтожить. Срок давали 24 часа, потом добавили, но больше 72 часов, то есть трех суток, все равно не давали. Трое суток — куда ж больше-то! То, что на полках стоит, это просто, сняли и ликвидировали, а то, что на руках, что выдано?.. Тут, конечно, побегать надо. Вот и бегали, как зайцы, иногда за одну ночь нужно было множество людей обежать и все собрать. А народ какой? Он взял книжку в библиотеке и поехал с ней в отпуск или в командировку, в вагончике чтобы не скучать. На дачу летом с собой тоже библиотечные книги вывозят... А то, бывало, и в больнице человек, а книга у него дома. Так надо было его в больнице найти, разыскать, умолить, чтобы ключ дал да объяснил, где искать... Один даст, а другой еще подумает... Если срок установленный прошел, а книги, внесенные в список, не заактивированы, то привлекали библиотечных работников строго. Вот мы такую завещующую и ждали два дня, она моталась куда-то на Сиверскую или в Вырицу, пыталась найти какие-то журналы, а мы сидели в засаде и ждали. Тоска зеленая. Чтобы ты понял трудность положения, я тебе скажу, что по натуре

и человек общительный и не злой. Я делал все культурно, вежливо, никогда ничего себе не позволял, я знаю, может, другие и вели себя недостойно, но это другие... Так вот общение у нас, у сотрудников, между собой как бы не поощрялось, не приветствовалось, думаю, что и на верхних этажах так же. Приказали, выполнил, доложил. И не маши языком. Ну не молча служили, живые же люди, но разговоры тоже были с оглядкой, ну рыбалка, это сколько угодно, футбол, это пожалуйста, «Динамо» тогда отлично играло, и кино, кому какие артисты больше нравятся, тут даже споры были, кому Самойлов, кому Абрикосов, одни за Лемешева, другие за Козловского, это все равно как одни за «Локомотив», большие костоломы были, а другие за «Пищевик». Разговоров таких на два дня сидения носом к носу, знаешь, как-то маловато, а молча сидеть тоже вроде бы и неловко. Когда люди вместе соберутся и молчат, это первый признак вражды или тупости, нормального человека корежит, если молча вот так сидеть. Вот и решай задачу: с одной стороны, немногословие, сдержанность — это у нас поощрялось, а с другой стороны, и дураком деревенским неотесанным тоже выглядеть не хочется... Не любил я этих засад, будь они прокляты, вот как раз из-за этих молчанок или, еще хуже, разговоров каких-то неестественных...

С телефоном был смешной случай. Вдруг по нашему телефону оперативного дежурного какие-то девчонки стали названивать. Я сидел помощником дежурного. Звонок. Я спокойно отвечаю: «Здесь Сережи нет, вы ошиблись». Опять звонок. «А разве вы не Сережа?» — «Нет, не Сережа, девочки, вы мешаете работать». Хиханьки и какой-то дурацкий разговор вроде того: «Усы у вас есть?» Я терпеливо их переспросил, куда они звонят, по какому телефону, они называют наш. Тогда я им говорю, что забудьте этот номер раз и навсегда и никогда больше сюда не звоните. А они говорят: «А как же мы услышим тогда ваш голос?» А голос у меня действительно красивый, не они первые заметили. Я и пою прилично, в самодеятельности у нас украинские песни лучше меня никто не мог... «Солнце низенько, вечер близенько...» Иногда и на «бис» пел, особенно дуэт у нас был, Тоня Вилкова из секретной части, заведующая секретным депопроизводством, коронный номер: «Ты ж мене пидманула, ты ж мене пидвела...» Но, возвращаясь к телефону... Опять девочки звонят и продолжают высказываться о моем голосе. Я им тогда уже строго говорю или прекратите эти

звонки, или сниму у вас телефон. Прошло часа два, не больше, опять звонят, адрес у меня уже к этому времени был, послал «эмочку» за ними, привезли. Велел их в коридоре посадить. Сидят. Вышел специально на них посмотреть. Лица нет, бледные, от страха даже плакать не могут. Да, думаю, ваше счастье, что я не Казбек Иванович, от него бы вы так легко не отделались... Ничего с ними делать не стал. Подписал через три часа им пропуска и выставил на улицу. Даже разговаривать не стал. Был у Казбека Ивановича такой прием по профилактике. У нас же не только это... но и профилактика была. Вызываем человека, никаких ему обвинений, ничего не доказываем, а просто по-человечески говорим: «Вам, товарищ, нужно быть скромнее вот в такой-то и в такой-то области. Мы вас предупреждаем и надеемся, что разговор первый и последний. Можете быть свободны». Я заметил, что Казбек Иванович приглашает на профилактику, а часто даже не разговаривает. Продержит в коридоре часа четыре-пять и отпустит. Один раз я его так, между прочим спросил: «Опять не успели по профилактике побеседовать, рабочего дня прямо-таки не хватает.» «Нет, — говорит Казбек Иванович, — у меня такой метод. Что я ему могу сказать на беседе? Очень мало: не болтай, не мешай работать такому-то, не дискредитируй такого-то, отстань от жены такого-то... Все! А представь-ка, сколько у него самого мыслей, чувств и подозрений, пока он четыре часа у меня в коридоре простоят или даже просидит? Он же всю жизнь свою переберет по косточкам, он же все вспомнит, тысячу раз покается, столько всего передумает, что я ему и за десять бесед не расскажу. И что самое главное, он уходит и понятия не имеет, что я знаю, а чего я не знаю. Он уходит обязательно с предположением, что я знаю все! Для этого я его и вызывал». Удивительный был человек Казбек Иванович, резкий, крутой, никого не жалел и себя не жалел, и очень умный. Когда за ночь по 50—200 человек брали, обязательно вечером совещание, инструкция; все хорошо проводили эти инструкции, и начальники отделов, и замы, а Казбек Иванович лучше всех, после его макачки крылья вырастали... И простым умел быть, и веселым, на одном празднике пил вино из туфли Нади Власенковой, а туфелька у Надюши — сорокового размера лодочка... Да, Казбек Иванович, Казбек Иванович, прост-то прост, а цену себе знал.

Рассказать, как дневали и почевали в управлении, как по неделям меня дома не видели?.. Начнешь рассказы-

вать, только и оглядывайся, как бы лишнего чего не сказать. Ведь не только мы, но и те, кто на свободу выходил, тоже подписку давали о неразглашении. Ничего разглашать нельзя, все запрещалось, и про ход следствия, и про режим в лагерях, и о транспортировке, и вообще... Я думаю, что пересуд по 58-й, когда один срок кончался и тут же второй подкидывали, как раз и делался главным образом для неразглашения. Если выжил и вышел, разве удержится человек, чтобы лишнее не сболтнуть. Может быть, «лишнее» как раз и есть самое главное в его жизни и в моей, вот и получается, что на нашу с ним жизнь разом один крест поставлен. Он — враг, преступник, а я? Мне-то почему надо свою жизнь от людей таить?

Возьми Валентина. Мать его была крестной моей жены. Кончил резиנותехнический техникум и был в 35-м году взят в НКВД, дневал и ночевал в «большом доме», на повышение пошел на Сахалин, там до подполковника дорос. Слышишь, подполковник!.. Рюмин с подполковника на замминистра пошел, так-то... Приехал с Сахалина тихо-тихо, ни погон, ни пенсии, пошел на «Красный треугольник» помощником мастера, потом мастером сделали, умер, кажется, уже заместителем начальника участка. Что о Валентине можно сказать? Человек честный и холодный, старательный, добросовестный и несколько ограниченный... Сколько раз я к нему подъезжал, так и не раскололся. Даже мне ничего не сказал. От врагов должен быть секрет, это я понимаю, а нам-то что ж друг от друга таиться, мы же одна семья, все свои... Или вот ордена. Сейчас у нас какой, шестьдесят шестой, так? А несколько лет назад была затея — ордена отобрать. Выходит, зря их давали? Нет, зря у нас ничего не дают! На персональную пенсию тоже наши стали подавать, из райкома такой формальный, бездушный ответ: «...служба в органах не дает привилегий...» Всю жизнь давала, всю жизнь были почетом окружены и любовью всего народа, а как пенсия — так «не является...» Скажи, справедливо, а? Помню, комендант был в «большом доме» до войны, четыре ордена Красного Знамени было, длинная такая фамилия еврейская. Полной фамилией любил расписываться, а квитанция о приведении в исполнение вроде квитанции подписки на газету или журнал, небольшая, и места для подписи мало, не больно-то разбежишься, так он умел всю свою фамилию до последней буквы уместить. Много таких квитанций подписал, потом и ему подписали... Что ж он, не знал, что работа его бес-

следно не проходит, что сам он тоже на краю, по лезвию ходит, рискует... и после всего этого — «не дает привилегий»!..

В целом я судьбой своей доволен, пусть чинов не хватал, в скромном звании прослужил, зато жив...

Говорят — каждый труд почетен. Говорить-то говорят, а слышал ты когда-нибудь, чтобы песня была, ну хотя бы о конвоире, о конвойной службе? Когда канал Москва—Волга строили, там даже лучшие композиторы конкурс проводили на «Марш каналармейцев», а вот о конвоирах опять ни слова. И стихов о них детки на праздник не рассказывают, и в театре постановок нет. Хотя одну пьесу про перековку в лагерях на Беломорканале помню, на жизнь не похоже, но в воспитательном смысле очень полезная, руководство ее сильно поддерживало, во всех театрах шла...

Я за театральной жизнью не очень внимательно слежу, больше все с ребятами то в ТЮЗ, то на оперу пойдешь, то «Щелкунчика» посмотришь, сильнее всего мне «Спящая красавица» нравится, три раза смотрел... А вот за одной фамилией режиссера, Жулак фамилия, очень внимательно слежу. Он у нас работал. Года четыре во внутренней охране был, потом недолго на оперативной работе, и все время в самодеятельности, постановки к праздникам, сценки смешные, так и пошел-пошел, в театральный институт поступил или пристроили, уж не знаю, но отучился, все как полагается... Встретил я его, был такой плюгавого вида и морда, как у злого мопса, и смеялся не как люди, а как воробей охрипший: хри-хри-хри... А тут гляжу: веселый, счастливый, пальто нараспашку, прямо на улице руки раскидывает: «Здравствуй, друг!» — и смеется так, что прохожие оглядываются, для них и смеется... Я как-никак боевой штык, мне завтра, может быть, с врагом лицом к лицу опять встречаться, и незачем совершенно на шумной улице вот так вот на себя внимание обращать. Во мне хоть и более ста восьмидесяти сантиметров, но я умею быть незаметным. Но это к слову. «Ну, как вы там?!» — Жулак интересуется. Здравсте!.. Что значит «как там»? Или он вправду ждет, что я ему сейчас оперативную обстановку буду докладывать, или мероприятия «по режиму», или кадровые новости? Я его спрашиваю: «Уточни — где там и что тебя конкретно интересует?» Смеется. «Меня, — говорит, — вспоминаете?» Здесь разговор другой, конечно, говорю, следим внимательно... Он на цыпочки поднялся и

мне прямо в ухо: «Пасете, значит?» — и опять смеется. «Брось, — говорю, — про свои успехи расскажи». Шекспира постановку делал, то ли «Сон в летнюю ночь», то ли «Двенадцатая ночь». Я его спросил на подначку, из нашей жизни ничего не хочет поставить? «Нет, — говорит, — у меня дарование комедийное». Да, пожалуй, с комедийным дарованием надо что-нибудь из колхозной жизни или про ученых. Потом он еще «Ночной переполох» ставил, спектакль. Наши обратили внимание, что ему нравятся названия, где слово «ночь» присутствует, словно память о тех временах, о молодости своей, когда ночью самая-то работа и была».

XI

«...Ты за окно посмотри... Нет, белая ночь для чего-то людям нарочно дана, может быть, это еще до конца и не понято.

Я своего первого как раз в белую ночь, в конце апреля доставлял. Работы было много, с транспортом тогда еще туго было, и кадров не хватало, дело прошлое...

Арест как проводится? Все зависит от личности, которую нужно арестовать, и от того, что можно найти у этой личности при аресте. Если он живет в какой-нибудь комнатухе, то два человека вполне достаточно. Ну понятой еще. Если апартаменты или дача, дворец где-то, там целая бригада работает. Тут бригада не понадобится.

Самый мой первый, даже фамилию помню, все помню до мельчайших подробностей, хоть сейчас с завязанными глазами пройду весь маршрут... Фамилия? Не суть важно, все у него было, была и фамилия у него, в свое время даже довольно известная в своих кругах. Шатен, рост средний, глаза стального цвета, глазницы глубокие, фигура склонна к полноте, возможен темно-синий костюм, пиджак двубортный, из характерных примет — подергивание правым плечом, жест такой, будто птица ему на плечо села, а он хочет ее толчком плеча согнать. Лицо круглое, подбородок скошенный, рот прямой, губы узкие... И так далее. А ведь сорок лет почти прошло! С трепетом приступал к самостоятельному заданию и ответственно. Волновался, конечно. Вообще-то мне как бы не по чину было идти старшим на арест, но, я говорил, народу не хватало, и хотел все сделать самым лучшим образом...

Времени было в обрез, а я все-таки вырвался днем и успел маршрутик пробежать.

Что запомнилось? Днем, когда маршрут смотрел, около дома 61 на канале Грибоедова сильно гороховым супом пахло. А когда уже ночью его вел, на этом же месте, у дома 61, вдруг грибного супа сильный такой запах... И оба раза подумал: «Вот она — мирная жизнь, люди суп варят, а я по приказу, с оружием на врага иду...»

Адрес такой: Большая Подъяческая, дом 9, вход с улицы, но неказистый, справа от подворотни, которая прямо посреди дома, небольшая дверь, вот тебе и парадный подъезд. Вошел, сразу направо три ступеньки вниз, дверь в дворницкую, потом площадка, поворот налево, и сразу начинается довольно широкая лестница. На лестничной площадке два окна во двор, подоконники низкие. Мотаю на ус, бывало, что в окно делались попытки... От дома до Подъяческого моста через капал 125 шагов, потом направо до Кокушина моста две подворотни, дворников я предупредил, чтобы были ворота закрыты, от Кокушина моста до Сенного одна подворотня, от Сенного до Демидова тоже одна... Вполне приличный маршрут, вести можно. Самый опасный участок — это от канала до Мойки, от Демидова моста, считай, до Мойки 440 шагов и семь подворотен, два сквозных парадных подъезда и четыре двойных двора, один, с выходом на Столярный переулок, особенно нехороший. Ладно, вижу, что тебе неинтересно. Короче. Приходим. Третий этаж, этажи высокие, квартира старая, звонок интересный, сейчас таких не осталось, латунный такой набалдашничек в латунной такой луночке, за набалдашничек потянешь, в квартире молоточком по колокольчику... А еще были «Прошу повернуть!», металлические, вроде велосипедных. Два этих типа звонков самые распространенные в городе были, хотя приходилось частенько и стучать. Стучать я не любил, другое дело звонок, культурно, аккуратно, и нет лишнего шума.

Звоню. Открыли быстро, хотя была уже половина второго ночи. Ночь не белая еще, конечно, но светло. Открывает мужчина, роста небольшого, на голове платок носовой уголками подвязан, склонная к полноте фигура или не склонная, не поймешь, морда вытянутая, трусы, майка, на ногах валенки со срезанными верхами... Голова, оказалось, после бритья платочком завернута, в трех местах порезался. Смотрю на него и ничего не понимаю, зацепиться не за что. Неужели квартирой ошибся, пере-

путал от волнения? А то, что, кроме этого типа, еще в квартире полно народу, может быть, к дверям сейчас припали, в голову не приходит. Салажонок... Это мне сейчас смешно, а тогда не до смеху. Стыдно. Хлопнет сейчас меня дверью по роже, и что тогда? А сердце подсказывает: нет, не ошибся... нет, не ошибся... На всякий случай спрашиваю: «Такой-то и такой здесь проживает?» Он молча показывает рукой на дверь, где за матовым стеклом с морозными наведенными узорами и цветами, красивый такой узор, свет горит... А квартира интересная: прихожая вроде залы, а из нее шесть дверей, и никакого коридора нет. Открываю, вхожу. Комната большая, но пустынная, кровать железная, этажерка с остатками пищи, на двух стульях чертежная доска положена вместо стола. Полное впечатление, что хозяин выехал, и совсем недавно. У меня душа упала. Опоздал! Пусто! Нет никого... А ведь только что был: койка помята, жильем пахнет, окурки, бутылки пустые, все на месте, а человека нет!.. Хорошо ты, братишка, службу самостоятельную начинаешь, бегать и бегать тебе еще на поводке... Но тут входит этот самый, с платочком на голове, дверь прикрыл и объявляет: я такой-то и такой... Представляешь! Вот как судьба иногда поворачивается! Ну жилище такое, что обыск проводить одно удовольствие. Пока он одевался, мы уже все бумажки заполнили, протокольчик подбили. «Оружие есть?» — «Нет». — «Литература есть?» — «Нет». — «Письма, деньги, ценные бумаги?!» — «Нет, нет, нет...»

Только на этом впечатления не кончились.

Одевается мой крестник, смотрю — глазам не верю: костюм темно-синий, пиджак двубортный, фигура склонная к полноте... И рост, действительно, средний. Когда я там на лестнице со своей высоты на него смотрел, конечно, он мелкогато выглядел, а тут, когда я на стуле сидел, над столом его чертежным согнувшись над своим протокольчиком, смотрю — рост средний! Оделся он, и вдруг плечом — раз-раз, будто, действительно, птица ему на плечо села, и он ее согнать хочет. А для меня это как расписка, как последний знак — тот самый! Не сомневайся, брат, шагай смело! Полный вперед!

Выходим.

Направо, за Садовой, пожарная каланча, налево, за каналом, Исаакий, золотой шатер. Он хотел направо, на Садовую, а я его пускаю по каналу, у меня уже намерено. Набережная чем лучше? Пути отхода вдвое подре-

заются, проходных дворов, парадных перекрестков, переулков вдвое меньше, чем на любой улице. А как он увидел, что я его и через Подъяческий мост не перевезу, а по этой стороне пускаю, потому что на той стороне хоть и короче, а подворотен больше, он поворачивает ко мне лицо, а морда, как у покойника: «Отход подрезаешь?» Я ему за это тоже нервно: «Не разговаривать!», — а сам удивляюсь. Разговорились. И что ж оказалось! Оказался из наших... Не совсем из наших, но из прокуратуры... Почему он и побрился, оказывается, заранее, и в комнате пусто было, и семья от него как-то очень уж вовремя ушла. Явно человек готовился... В воду? Зачем ему в воду? Не смей. Это сейчас — вода, а тогда вдоль всей набережной барки с дровами, плашкоуты с кирпичом, садки рыбные, лодки, плоты какие-то, черт знает что, так что свободной воды и посередке-то было немного, не то что у берега...

Иду как-никак за старшего, волнуясь. Со мной всего один вертухай из деревенских. В смысле физической силы вроде и ничего, а в смысле соображения, тут уж только на себя вся надежда.

Топаем по каналу, сзади вертухай подковками по белым пудожским плиткам чиркает, а мы рядом, вроде как приятели или коллеги, как оказалось, только уж он-то поопытней меня был, куда там!..

Плечом, знаешь, отчего дергал? Пуля у него в плече была, испытывал неудобство. Говорил, что пуля лично от атамана Григорьева. Я припомнил, что кто-то у нас рассказывал, как метко стрелял Григорьев, ну и ввернул ему. Он мне возразил: «Стрелял бы без промаха, так и пожил бы подольше...» И рассказал, как Николая Алексеевича Григорьева лично свалил с одного выстрела Махно Нестор Иванович в отместку за Максюту...

Вышли к Певческому мосту, остановились покурить, дослушать его хотел, он мне еще два случая поучительных привел, как доставлять без эксцессов. Он в штатском, мы в штатском, стоим, беседуем. Мост, вода, тут уже совсем светло, хоть и ночь... Может, и Пушкин с Онегиным на этом месте стояли, теперь мы стоим...

Молодость... Пора первых впечатлений. Все в жизни важным кажется, все новое, все запоминается. Этого первого я часто потом вспоминал, не потому, что первый, не такой уж он, в конце-то концов, и первый, по правде-то говоря, первый мой, самый первый, застрелился, когда мы

позвонили, а вот советы этого, с плечом простреленным, дельными оказались. И одно как бы жизненное наблюдение, рассуждение, тоже до сих пор вспоминаю, к специфике нашей не относится, можно и рассказать.

Он был старше меня, опытней, видит, что салажонок не в себе, напряжен, решил обстановку разрядить. «Я, — говорит, — тоже сначала боялся палец с курка убрать, а потом бабахнул раз сдуру, чуть ногу себе не прострелил, да еще губы семь суток получил. После этого помнил и успокоился. Теряешься отчего? Людей-то вон какая прорвища, и все разные, у всех свое на уме. Каждый со своей повадкой, физиономией, скрытыми мыслями, до которых другой раз так и не докопаешься... Как тут не растеряться!» Я с ним согласился. «А вот пожил, посмотрел, побеседовал с людьми и так, и на допросах и понял, что не такое уж пугающее в людях разнообразие. Не так уж они друг от друга и отличаются. Из чего все инструкции исходят, наставления, методики? Да из того, что подавляющее число людей в одинаковых ситуациях ведут себя похоже...» Заметил — не одинаково, а «похоже». Это он меня от шаблона предостерегал. «А тех, — говорит, — которые действительно на других не похожи, к которым общий подход не годится, их за версту видать, это раз, и по пальцам пересчитать, это два. В массе своей каждый человек есть хочет, спать хочет, жить хочет... Вот и соображай!»

Тогда я еще понять не мог, какой ключик передал мне мой первенький. В общем, был я тогда еще под впечатлением от человеческого многообразия, а со временем слова его всплыли у меня в памяти... Верно он подметил: каждый человек хочет есть, спать и жить...

А вот и конец этой истории с одним неизвестным. Докурили, это уже на Певческом мосту, я его спрашиваю: «Смешно получается, вроде я вас доставляю, а вы меня еще и натаскиваете. А?» Тогда он мне и открылся. «Я, — говорит, — когда увидел, что машины нет, что поведут меня, мелькнула мысль: прихлопнет меня эта оглобля с детским личиком... Без понятых пришли...»

Тут я себя хлопнул по лбу, мать честная! От нервного напряжения так лопухнулся. Салага и есть салага!

Заняли тут же во двор Певческой капеллы, нашли укромное место, я планшетку достал, он сам за понятого расписался. Посмеялись, конечно, а потом уже серьезно потопали... Сдал я его без сучка, без задоринки, и больше наяву, как у нас говорится, не встречал. Интересный

человек, образование высшее. А многие скрывали, даже справками запасались, что у них пять-шесть классов всего. А ребята потянут, разматают, глядишь — высшее. И чего скрывать? Все таятся, таятся, а потом удивляются, что к ним так строго. Я еще понимаю, мне свое неполное нечего выставлять... Кстати, у Пильдина, если эту школу межкраевую не считать, шесть классов всего, а смотри-ка, я пропуска проверяю на ногах да, как бобик, территорию по три раза обегая, а он сидит в кабинете с тремя телефонами, и это с шестью классами. Кто-то у него в кадрах есть, я даже точно знаю кто...»

XII

«...Как в органы попал? Да по-смешному, и опять же белая ночь, крестная моя!

Нельзя сказать, что я судьбой к концу двадцатых годов был обласканный, но и в обиде не был. Родом я из Порожкино, ходил пацаном на заработки в Ораниенбаум, там все больше в порту перехватить какую-нибудь работенку удавалось или на станции. Порт и станция там на одной территории. Так к флоту и прибился. А какой в ту пору флот? Даже Балтийское пароходство чуть не каждый год вывески меняло и не было сильным звеном в системе нашего водного транспорта. К слову сказать, на Каспии или в Архангельске еще хуже было. Не освободился флот еще от пережитков прошлого. А главных пережитков было два: пароходы и береговая служба. На «Рылеев» я на первый пришел, бывший «Инва», 1863 года постройки, дидвейту 64 тонны, освещение неросиновое, скорость считалась восемь узлов, только кто и когда на «Рылеев» эти восемь узлов видел? Стоял он на Гутуевском острове, на правый борт завалившись, и вспоминал, как еще недавно в Ладоге тонул... Да что «Рылеев»!.. Когда в 31-м году у нас новейшие лесовозы пошли собственной постройки, тоже никакой конкуренции составить не могли... Паспортная скорость была восемь да восемь с половиной узлов, а кто, кроме «Мирныча», эти восемь с половиной показывал? Пароходы новые, а грех старый, мощности машинам не хватало, поверхности нагрева котлов маленькие, приходилось, чтобы план выгонять, на форсированных режимах ходить, котлы и прогорали, не выдерживали. Вот тут и началось — вредительство! Новые корабли, а со старыми иностранны-

ми тягаться не могли. Основной фрахт иностранцы забирали, а мы окусывались. Такой флот. А особенно страшно было плавать на танкерах. Даже капитаны толком не знали правил перевозки нефтепродуктов, температуру вспышки нефти определяли по Брекену да на глазок, а нефть, я тебе скажу, это еще тот груз!.. Особенно легкая, это — самая огнеопасная, вроде бензина, а курили, где кто хотел. А главное, шли под нее и второй и даже третьей категории суда. Что делали? Первой категории нет наливного судна под легкую нефть, а везти надо, раз-два, перевели из второй категории в первую галошу какую-нибудь, которая уже и своим ходом идти не может, и потопали под уздцы — на буксире, значит. Регистр? Да какой регистр, если они даже за корпусами, за котлами смотрели с пятого на десятое. Наливному судну для безопасности напрессовка второй палубы нужна обязательно, кто за этим смотрел? Да никто!

Были и отсталые слои моряков, не хватало же ни матросов, ни кочегаров, особенно механиков, машинных специалистов. Меня, к примеру, дважды списывали на берег за отказ от работы. Я для себя так тогда решил: тонуть — ладно, здоровый, выкручусь, а гореть — здесь здоровье не поможет. Как меня на танкер — я в отказ. И не один я такой. Матросы по пять — семь судов за год меняли. От хорошей жизни, что ли? Когда плот развяжется, прыгаешь с бревна на бревно, только прыгнул — оно вниз, ты на другое — оно тоже вниз... Так и мы с парохода на пароход.

Я и на «Декрете» был, и на «Франце Меринге», и на «Софье Ковалевской», пароходики, надо сказать, изношенные до невозможности... Что я мог видеть? Кубрик, трюм, машина, палуба. Многого не увидишь, а были и легендарные успехи, и легендарная борьба, и факты, до сих пор составляющие украшение. Как «Ермака» после ремонта встречали!.. А каждый новый лесовоз!.. А как гремели «Красин», «Ян Рудзутак», «Смольный»... Все было. Уходят люди, и все забывается...

Тяжелое было положение на флоте, если уж с «морских кладбищ» суда стаскивали и пытались ремонтировать, если вместо кордиффа наш донецкий уголь пошел, и дороже и хуже, если вместо смазки — черт знает что... А с другой стороны, нездоровая бесхозяйственность тоже была налицо. Стали, как говорится, вскакивать гнилые прыщи на теле советского торгового флота. Среди плавсостава наметился у многих определенный уход в кабак.

Пошли разговоры о том, что техническое состояние флота якобы вообще не позволяет выполнять план перевозок без угрозы судам и экипажам.

Позиция эта, конечно, капитулянтская, по ней ударили таким лозунгом: когда техническое состояние судов не очень хорошее, когда материальная база старая, тогда возрастает роль социалистической дисциплины. А на ряде судов и на отдельных участках береговой службы развал дисциплины имел место, я сам видел. Навалились всерьез на дисциплину и ответственность, тут и вскрылось, что главная причина аварийности, невыполнения плана перевозок и ремонта прежде всего в разболтанности личного состава и серьезной вине командного состава. С двух сторон и взялись... Никто углублять преступную практику, конечно, не позволит. В общем, борьба пошла, как тогда говорилось, «кто кого».

Я дожидаться, пока история ответит на этот вопрос, не стал, и как только место подвернулось, ушел на берег. Пост у нас был у Толбухина маяка, вахты, дежурства. Механизмов никаких таких нет, — значит, и вредительству развернуться негде... Жить можно.

Любил я белой ночью вахту стоять, может, самое лучшее, самое светлое время во всей моей жизни...

Дело прошлое, я, с одной стороны, крестьянин, конечно, а ведь, с другой стороны, у меня папаша чайную держал деревенскую. Плохонькая, маленькая, грязная, тесная, в пол-избы, а что делать? Сестер шесть штук, а земли — собака ляжет, хвоста не протянет... А всех накорми, всем приданое... Сначала, помню, зимой корзины плели, непосредственно в Петроград отец возил, брали их там здорово, специально для бумаг корзины, крупные и помельче, для учреждений. Потом коровенку вторую прикупили, потом третью. В поле девки какие работницы, но отец их гоняя, ходили за бороной и за плугом, бывало, как миленькие, а на покос так не с грабельками, а с косой... Я последний был, сестры меня «барином» дразнили, отец сильно баловал. Детство вообще-то большая радость, только с детства у меня к крестьянскому обиходу сердце не лежало, я больше склонялся, если так выразиться, к пролетариату. В чайной отцовской только на людей ожесточился. Я мальчишка совсем, а на моих глазах сестер щиплют, тискают, отец будто и не видит, а я только что не в драку, даже кусаться насобачился... Уж наелся я «лакейского отродья» на всю жизнь. Нас, может, и раскулачили бы, не за такое «богатство» двадцать

четыре часа давали, да Надюха к этому времени в суде секретарем работала и жила потихоньку с помощником прокурора Барсовым Андреем Ильичом, человек он был очень цельный и собранный, он здорово потом поднялся. Приходит он раз в суд, а Надюха лежит вот так вот, голову на руки, и льет слезы на какие-то протоколы. Барсов к ней: «Наденька, Наденька, что случилось?..» Струхнул. А та сквозь слезы: «Раскулачивают...» Чайную нашу прихлопнули, а самих трогать не стали, обошлось. Когда Андрей Ильич в Ленинград перевелся, Надька еще, бывало, к нему наезжала...»

ХIII

«...Я заметил, что белой ночью все неустройство жизни будто замирает, наружу не прет, прячется, не видно его, покой и на людей и на природу сходит... В белую ночь даже дождик, ветер сильный, циклоны разные — большая редкость. А погодка питерская, сам знаешь!.. Или взять тишину... Может быть, самая мудрая вещь на свете. Я тогда богом немного увлекался, влюблен был в одну монашенку, так от тишины этой чего только не напридумываешь. Раз показалось, если затаю дыхание, услышу, как от земли к небу молитвы разных людей тянутся, тех, у кого в силу ограниченности сознания уже нет надежды на милость и справедливость на земле. Мелкая волна хлюпает у прибрежных камней, и в этом плеске слышу бабки-покойницы молитву, она подолгу на коврике у киота на коленях стояла и тоже хлюпала своим мокрым ртом слова молитвы. Сколько раз я ни пытался слова разобрать, ничего понять не мог, кроме «господи, помилуй...» Дразнил я ее, что непонятно говорит и милости ей не будет. Она зыркнет глазом и пальцем в меня: «Все бог слышит, все слышит!..» Раз, помню, на вахте подумал, что в такую ночь, наверное, отпускает бог из чистилища души праведников, чтобы могли они взглянуть на оставленный ими мир и утешиться: нет праведникам места на земле, их место в царствии небесном, и представлял себе, как в умилении и снорби неизреченной возвращаются эти души на первых солнечных лучах в свою небесную обитель ожидать Страшный суд..

Или чайку возьми. Глупейшая, пустяковая птица, в сравнение даже с воробьем не идет, а ночью и она в какую-то другую жизнь погружена, не вздорничает, стоят

оли на камнях, как мраморные слоники на полочке. Взлетит вдруг одна, сделает кружок-другой, поскрипит что-то свое и снова на камень... Помню раз, привык уж к этим ночным их коротеньким полетам, а тут вдруг одна снялась и пошла, и пошла, все выше, выше... Чайка только на перелете высоко идет, а так у них полеты вроде куриных, а тут — вверх, вверх! и кричит, кричит!.. Ну, думаю, душа чья-то уходит... Только подумал, в этот миг она разом вся красной стала, словно сердце у нее лопнуло, и летит она, кровью облитая, криком исходит — и все вверх, вверх, вверх... Ух ты, черт, не по себе стало... А товарки стоят себе, не шелохнутся, сбизонились, носы подтянули... Поднял к глазам бинокль, а она уже вся белая. Да такая белая, будто внутри ее свет вспыхнул, и стала она вся прозрачная, как святая душа, белизной светится... Чувствую, как у меня под форменкой колыхнулось что-то, словно сам я вырвался откуда-то и лечу, лечу, и нет мне ни запрета, ни помех, хочу — к солнцу, а захочу — так и еще дальше! Повел биноклем в сторону, в одну, в другую... Вот и судьба моя! Этак кабельтовых в шести-семи что-то на воде болтается. То видно, то не видно. Ветерок легкий прошел, волны нет, а словно дрожь на воде, будто зябко ей... Вроде пропало... Стал опять свою чайку вверху искать, сколько глаза не пялил, как сгнула. На воду смотрю, вроде опять что-то такое... Голова не голова, может, и топляк, дело обычное. У нас двойки тут стояли. Я Фролову говорю, мы вместе в ту ночь дневалили, схожу, говорю, посмотрю одно дельце. Пошел на двойке, даже поплутал немножко, створы взял приблизительно, а тут снова ветерок, да чуть уже порывистый... Нашел! Небольшой такой буюк. Потянул. Веревка тянется, шнур шведский. Длинная веревка. Мотал, мотал, потяжелело. Вытянул. На веревку пять банок привязано. Банки знакомые, цинковые, запаяны, а в них деревянные бочонки, эстонская контрабанда. Чудесный спирт. Короче, четыре банки я в угольную яму пристроил, а одну понес и доложил. Так и так, обнаружена контрабанда. Доложили выше. Ждали поздравления и благодарности от трудового народа, как тогда говорилось. А оттуда, от лица руководящих товарищей спрашивают: «Где еще четыре банки?»

Оказывается, это они сами, сукины дети, устроили контрольное затопление, проверку нашему посту.

Вызвали меня, и началось. Я стою, только слушаю. Пока из мати в мать меня крестили, было время огля-

деться и обдумать, сообразить. «Оборвались», — говорю. «Что оборвалось?!» — орут. «Контрольный ваш груз оборвался», — говорю.

Приумолкли. Задумались. Закурили. Стали при мне договариваться, как активировать пропажу. Друг на дружку вскидываются. Тут один на меня уставился. Пизгун фамилия, человек с большим прошлым. Смотрел, смотрел и говорит: «Как же тебе, сукину сыну, удалось веревочку порвать?» «Зацепилась, — говорю, — за какой-либо предмет на дне...» «Нет, — говорит, — я про другое тебя спрашиваю, ты мне детские глазки свои не топорщ! Этой веревочкой можно барки чалить, как тебе порвать ее удалось?» «Вот так», — говорю и показываю руками рывок. «А мы сейчас проверим, как это ты руками такие веревочки рвешь!»

Я не из робкого десятка, а слегка от страха вспотел. Все на меня уставились, а Пизгун за веревкой пошел, принес моток шведского шнура. «Она?» «Она», — говорю. Я и сейчас еще не слабак, а тогда и моложе был, и росту во мне хорошо, кулаком, как говорится, мог гвозди забивать, а сдрейфил. Потянул веревочку руками, а ее тяни не тяни, и вдвоем не осилишь. «На рывок надо, как тогда...»

Стали смотреть, к чему привязать. А к чему в кабинете привяжешь? К несгораемому шкафу не привяжешь, к столу не привяжешь. Печка в углу стояла, за нее не зацепишься... Придумал один к дверной ручке привязать. Ручка мощная, то ли бронза, то ли чугун, дом старинный, дача бывшая, богатая. Ручка вполне солидная. Привязали. Стоят, на меня смотрят. Нет, думаю, меня зарупь за двадцать не возьмешь! «Зря, — говорю, — человеку не верите...» И рванул. От души рванул, себя не пожалел. Можешь себе представить, с одного рывка оторвал ручку вместе со значительной частью двери. Филенку снес начисто. Они онемели, а я смотрю как ни в чем не бывало и говорю для иронии: «Надо бы к чему крепче привязать...»

Что поднялось!..

Думаешь, дело тем и кончилось? Если бы! К угольной яме подойти боюсь. Богатство такое под боком, а хожу как ангел трезвый и нервничаю. Спать не могу. Как аврал угольный, только доглядывай... Как бункеровка, так сердце обмирает...

Все решилось простым способом.

Подошел ко мне этот, который решил веревку испытать, Пизгун, и говорит так, будто мы с ним пайщики: «Мне надо две банки, остальное не интересует. Не пожалеешь. Видишь пожарный ящик с песком?» — «Ну вижу». — «Завтра утром, раненько-раненько я оттуда достану две банки. Две, понял?» Повернулся и ушел.

Стал я соображать. Попробуй к ящику, меня повяжут. Нехорошо. Не выполню просьбу, тоже плохо. Я не жадный. И спирт этот, что мне торговать? Но, с другой стороны, голову в петлю совать не хочется... Отозвал Фролова, говорю, так и так, есть припасец, но за мной — глаза. Надо перепрятать. Идешь в долю. Две баночки я сам перепрятал, а на оставшиеся Фролова навел. В назначенный час были они в ящике с песком. Никто Фролова не останавливал. Мог бы и сам все сделать, только осторожность меня никогда не подводила. А крохоборить в таких делах нельзя. Месяц прошел, я уже стал думать, что меня на пушку словили. Нет, вызывают в этот самый кабинет, где я дверь порушил, и спрашивают, как я отношусь к службе в органах. Я отвечаю: «Как к высокому долгу и почетной обязанности каждого гражданина».

Стали спрашивать.

«Главный лозунг периода реконструкции?»

Отвечаю четко: «Наступление по всему фронту».

«Что есть смерть для наступления?»

Отвечаю: «Огульное продвижение вперед есть смерть для наступления».

«Что такое репрессии в области социалистического строительства?»

И об этом во всех газетах полно. «Репрессии в области социалистического строительства являются элементом наступления, но вспомогательным».

И последний вопрос помню: «Где живет и подвизается наша партия?»

А я как раз знал! «Наша партия живет и подвизается в самой гуще жизни, подвергаясь влиянию окружающей среды».

«Чьи слова?»

Впору пионера спрашивать... «Слова товарища Сталина».

Переглянулись, головами покивали, полистали личное дело мое тоненькое, и не подмигни мне товарищ Пизгун, я бы, честное слово, никакой связи с ящиком с песком не нашел бы...

Вот так и началась у меня новая судьба, новые странствия. Я же и на Севере был, и на Дальнем Востоке, хоть и немного, встречи были с разными людьми и множество неожиданных случаев. Может быть, и не ящик даже с песком свою роль сыграл. Я за год до того, прежде чем на пост перейти, на берег, рейсом на Игарку ходил. В Питере безработица, так для порядка вывезли городских, полицейских бывших, проституток и привлеченных за принадлежность к дворянству. Там они все и остались. А рейс был по-своему незабываемый...

Вообще с моей биографии свободно можно роман писать.

Воробьи-то, воробьи-то расчивикались... Э-э... Да скоро и трамваи пойдут. Слово за слово, и ночь пролетела.

Мне чем нравится под праздники дежурить? Под праздник всегда после зимы окна моют, и здесь, на фабрике, и в управлении. А занавески, заметил, не вешают. В стирке они еще, что ли? Только всегда дня три-четыре стоят окна вымытые и без занавесок. Лучшей красоты не знаю, чем хорошо вымытое окно! Будто не в стене, а в душе у тебя чисто и прозрачно. Через чистое стекло и жизнь за окном и ясной кажется и веселой...

Нет, что ни говори, есть в ленинградских ночах что-то исключительное, мечта какая-то над городом разлита... Тишина. Будто и не было ничего худого, ни мрачного, будто все еще впереди, будто жизнь только еще начинается, и облака, смотри, тоненькие, как бумага, лягут на землю, как чистые листы, садись и пиши жизнь набе-ло... Для чего белая ночь дана? Чтобы подумать, чтобы понять, что делаем, куда идем... Сиди и думай, не в потемках ночных, не в комнатах прокуренных, а вот так— в тишине и засветло, когда все кругом видно и день только еще наступит...

Это что ж, смена уже снизу звонит? Никак у нас часы с тобой поотстали? Смотри-ка, и вправду стоят!..»

Ленинград, 1988 г.

СОДЕРЖАНИЕ

КАПИТАН ДИКШТЕЙН	5
МАЛЕНЬКАЯ СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА	140
НОЧНОЙ ДОЗОР	178

Михаил Николаевич Кураев

КАПИТАН ДИКШТЕЙН

Повести

Зав. редакцией *Л. И. Вуколов*
Редактор *В. В. Короленков*
Мл. редактор *С. А. Гуськова*
Художник *Л. Е. Безрученков*
Художественный редактор *А. П. Ерасов*
Технический редактор *Л. И. Некрасова*
Корректор *Р. А. Трушкина*

ИБ № 2957

Сдано в набор 18.04.89.	Подп. в печать 29.12.89.	Формат 84×108 ¹ / ₃₂ .
Вумага тип. 2.	Гарнитура обыкновенная.	Печать высокая.
Усл. печ. л. 12,60,	Усл. кр.-отг. 12,60.	Уч.-изд. л. 13,83.
Тираж 100 000 экз.	Заказ 240.	Цена 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство ВЦСПС Профиздат,
101000, Москва, ул. Кирова, 13.

1-я типография Профиздата, 109044, Москва, Крутицкий вал, 18.